

Надежда Кремнёва

# Дорога к мельнице

Москва

МАСКА

2015

**УДК 882**  
**ББК 84 (2Рос-Рус) 6**  
**К79**

**К79**    **Надежда Кремнёва**  
«Дорога к мельнице»  
М.: ООО «ИПЦ „Маска“», 2015 — 332 с.  
**ISBN 978-5-91146-ИСБ-Н**

**УДК 882**  
**ББК 84 (2Рос-Рус) 6**  
**К79**

**ISBN 978-5-91146-ИСБ-Н**

**© Надежда Кремнёва, 2015**

# **РАССКАЗЫ**

# Чистая радость

Фотокарточка, 3x4, ну да, княжна Тараканова в своей тмутаракани, камера три на четыре, «ах, попалась, птичка, стой», стою и блуждаю в мыслях. А что ещё остаётся, кроме крысиного писка и тухлой воды?

Ловись, птичка, мала и велика, псющка, психеюшка, лови момент! Покуда ловишься — не поймаешься.

Но не спят доглядчики, пальчики загибают, все пёрышки мои наперечёт, все связки голосовые, «спой, светик, а мы тебя слушать станем, да икоркой закусывать». Эх, мне бы вашу бутылочку с узким горлышком, чтоб скользнуть в неё, запечататься и по морям, по волнам, где никто не достанет!

Напрасные хитромудрости — пока пою, не одна, стерегут и эти и тот, у кого всю жизнь чего-то прошу. Не вслух, а про себя, потому как не знаю, ни где могилка его, ни детки, коих он раскидал, сеятель пустынный.

Страшно мне петь и страшно молчать. Но закрою глаза, и нет меня.

Год трубадур, единичка, девяточка, девяточка, единичка, читай хоть справа налево, хоть наоборот, дуй, как в трубу, вылетай в любой конец, везде тебе будут рады — никому ты не нужен. Скажут: «живи» и заживёшь, не помирать же. Скажут: «такая у тебя судьба, туда тебе и дорога», ну и пойдёшь по холодку, авось согреешься.

И горочка есть, откуда всё видно, как на ладони. Тем хороша, что долго взбираться надо. Упыхаешься — и не до катанья, дух бы перевести. Но это старость, а молодость на подъём легка.

Ах, как здорово лететь с горочки! И саночки резвые, и глаза у Санички синие, с ветерком, пробирают насквозь! Ничего, что снег набился в валенки, зуб на зуб не попадает, зато губы горят, а это — к целованью, к любви до гроба!

Со всякими Саничка не церемонится, а перед нею робеет. У Санички шалька пуховая, шапка меховая, ботиночки на сливочной подошве. Ходит Саничка вкрадчиво, говорит с умыслом и рукам волю даёт. А княжна, хоть и умница, любит, чтоб с ней игрались. Он и играет: то к сердцу прижмёт, то на пол швырнёт. Она и довольна. Смешно ей дурочкой представляться да дурака валять, благо сам на ногах не стоит, вечно пьяненький. Денег у Санички мало, всегда в обрез, а душа пропадающая, заложенная-перезаложённая, кто рублём поманит, за тем и пойдёт.

Княжна не поит, она гордая. Бьётся с ней Саничка год, бьётся два, то измором берёт, то наскоком. Все ядра поистошил. Трусами его коников полцарства усеяно. Жирная земля стала, а ничего на ней не растёт, из заморья зерно везут, будущих деток кормить. А народятся да повырастут, научат их не сеять-жать, а кланяться, не дома строить, а пакгаузы, чтоб было куда дары складывать. Саничке это побоку, а ей поперёк сердца. Но на весь мир не наработаешься, ртов много, а она одна. И Саничка у неё разъединственный, других таких в целом свете нет.

Тело у Санички тёмное, угорье. Ночью он ею командует, днём она верховодит. Кто кого погубит, пока неизвестно. Ходит Саничка тучею, тень на княжну бросает. Уж и под венец сводил и всех девок вокруг перепортил, а она как чужая. Не жалеет себя, его пожалеет?

Гони ты паскудника, советует ей Няня Родионовна. Слезы из глаз, «не могу», княжна отвечает. Дак не любишь его, не отстаёт старая. Княжна ножкой топает: «за то и люблю».

Саничка дружков назвал, пир закатил, пьёт за неё и лучшие куски ей подкладывает. А она ни к чему не придрагивается. Саничка и спел, и сплясал, и руку над свечкой сжёг, чтоб показать, какой он на всё способный. Нет, сидит в горе своём, как в гробу хрустальном.

Стали дружки потешаться над Саничкой, подкаблучником обзывать. Он и взыграл. Что скажете, то с ней и сделаю, говорит. Тут все всполошились и давай наперебой предлагать испытания. А княжна молчит и краем рта улыбается: дескать, всего ждала от тебя, ан нет, удивил наконец.

Выслушал он советчиков и пошёл к ней. Долго шёл, хоть комнатка три на четыре, летняя кухня внаём. Трудно шёл, как сквозь заросли продирался. Поднялась и она навстречу, радуется чему-то. А с него пот градом льёт, все очи размыло, синяя краска на рубашку белую капает. Развернулся и приложился своим ожогом к её щеке. И отлетела княжна. Лежит на подушках, и так ей спокойно, словно навек отмучалась.

Гости бочком в дверь, а Саничка уже катается по полу, о какой-то любви кричит, какого-то уважения требует. Переступила через него, зачем-то взяла ночник с оранжевым абажуром и отправилась к маме, что ещё живая и ждёт её с нетерпением.

Вот идёт княжна по ночному городу и видит: март стоит. Чёрный пристальный бородатый, в нагольном тулупе: из-под правой полы дует ветер со снегом, из-под левой — ветер с дождём. И она идёт, босиком, в ситцевом платице, и шнур за ней волочится, а не холодно ей и плакать не хочется, всё как надо. Не бойсь, красавица, говорит дядька март, я только с виду сердитый, а так ничего, терпеть можно. И на том спасибо, кивнула, и шлёп, шлёп...

Жила-была хорошая девушка. Синеблузница, профсоюзница, улыбка во всё лицо. Такие на собраниях

выступают, женихов на фронт провожают, про них песни поют. Больше всего на свете девушка любила товарища Сталина и своего папку, врага народа. Папка до призыва в Свирьлаг стрелочником работал и одну дочку растил, мать с черкесом сбежала. Папкин помощник спяну стрелку повернул не туда, и случилось крушение, два маневровых вагона пострадали. Пришлось папке, как старшему, сознаваться в покушении на товарища Сталина. Тот про городишко их задрипаный и слыхом не слыхал и мимо ехать не собирался, но чего не подпишешь, когда добрые люди просят. А просили долго и больно. Короче, папка, где надо, крестик поставил.

На девушкиной работе сразу отреагировали. Собрались в актовом зале и попросили виновницу торжества подняться на сцену и чистосердечно сказать, с кем она пойдёт по жизни: с лучшим другом всех профсоюзников или с номером 896. И она выбрала лучшего. За это представитель НКВД сводил её в ресторан и сделал матерью. Ребёночка она оставила в роддоме, так как представитель оказался женат и вообще ничего такого не помнил. Через три года мальчика взяли на воспитание тоже добрые люди, прокурор и его жена, и дали ему новое имя. День выписки из детдома стал днём Саничкиного рождения.

В четырнадцать лет Саничке стукнуло семнадцать. Бегал быстрее всех, прыгал дальше и выше и улыбался до ушей. И девочка, что сидела с ним за одной партией, нравилась ему не так, как его лопухим одноклассникам. Задурил он её и взял, то ли лаской, то ли силой. С тех пор и была при нём по мере надобности. Потому что были и другие, много других. Он их называл «таракашечками».

Стал Саничка пятиборцем. Выступал за родную республику. Разумеется, как юниор. Шёл ему о ту пору двадцать второй годок.

Утром встанет, побреется, наденет папин костюм и в школу. Урока два посидит и на свиданку, а там с друзьями распишет пульку или ещё чего сотворит. Во всём слушался сердца. Ну, и вошло в привычку.

Поступил в институт — бросил. Устроился на работу — бросил. Трижды восстанавливался на первом курсе, дважды — на втором, восемь раз менял работу. Наконец, отовсюду прогнали. И девочка, что сидела с ним за одной партой, тоже выставила за дверь.

Запил Саничка с горя. И раньше попивал, за компанию с папой. Тот раков любил и пиво, а Саничка водочку уважал. Но это так, шутковали.

Теперь принимал сурово. Без выходных, не отрывая головы от подушки. Мать тайком от отца плачет, пустые бутылки сдаёт, полные приносит. Жаль ей сыночка, мучается.

Что было потом, Саничке не сказали. А самому не до этого было — чертей гонял. Маленьких таких, как таракашечки. Набилось их в его комнату видимо-невидимо, хоть ногами топчи, хоть криком кричи. И черненькие, и беленькие, и рыженькие. По телу бегают, щиплются, грязными лапами душу изо рта тянут, как зуб больной.

А водочка вдруг поступать перестала. Начал Саничка подушку кусать, головой об стенку биться, выть от бешенства, что встать не может, пожар в себе залить. Товарищи, сродственники, соседи, пришедшие на похороны прокурорской жены, прямо изрыдались: надо же, как переживает, наши бы детки так.

Сорок дней провалялся и встал. Сначала на грудку, потом на локотки, а там и на четвереньки. Заново всю эволюцию отмахал. Говорить научился, соображать. Тогда и узнал, что нет матери и отец ему не отец.

Нанялся Саничка сторожем на завод, там же и в тренеры выбился. Пил понемножку, винцо всякое, чтобы до дому на своих двоих добредать. На том и уравновесился.

Дважды их сводила судьба. В первый раз по ошибке. Он тогда десятый класс кончал, она во второй переходила. Маленькая была, но серьёзная, на переменках книжки читала, когда другие хороводы водили. В серёдку поставят кого-нибудь, а сами кругом ходят и припевают:

Таракан, таракан,  
тарака-щечка,  
мы тебя пои-ли,  
мы тебя корми-ли,  
на ноги поставили,  
танцевать заставили.  
Танцуй, танцуй,  
выбирай, кого захочешь.

Тот, кто в серёдке, таракашечка то есть, и выбирает. Так и топчутся, пока переменка не кончится.

А в конце года в торжественной обстановке отличникам вручали похвальные листы и книжки с красивыми надписями: «За отличную учёбу и примерное поведение...» и, конечно, имя-фамилия и незабываемая дата. Букеты первоклашкам преподносили выпускники, такая была традиция. Один из них, самый весёлый, сунул ей ветку сирени. Она его и запомнила.

Во второй раз судьба не ошиблась — свела с ними счёты. Восемь плюс девять, что у нас получается? Правильно, столько и было. В Москве училась, на инженера, к маме на каникулы приехала. Сильная была, смелая, не побоялась пьяному руку подать, довести до дома. А начал взбираться по лестнице, как по отвесной скале, напомнила про сирень, он от радости и свалился в её объятия. Пришлось тащить на себе. Вдвоём и рухнули на диванчик. И случилось с ней наваждение.

Жарко было, кавалер захотел надеть свежую рубашку, обязательно белую с синим воротничком. Закрылся в своей комнате и возится, слышно, как что-то падает, выдвигается. Она и скажи: «на шкафу лежит». А шкаф этот, ну ей-богу, не просматривался ни сквозь дверь, ни сквозь стенку.

Появляется Саничка весь белый, точно рубашка, с глазами синее воротничка, трезвый, как новорождённый. А она остановиться не может, ему про него рассказывает. Он ей в ноженьки и упал. И пошло-поехало.

Перевелась на заочное, чтобы к Саничке быть поближе, чтобы не спился, не истаскался. Спасать решила. Таракашечек всех повымела, навела чистоту, за что и стал её величать княжной Таракановой. В январе расписались.

Счастье всегда недолгое, как передышка в конце работы. Только почувствуешь себя человеком, либо сон сморит, либо новое задание дадут.

Целый месяц держался Саничка: ни грамма в рот, ни одной подцепленной юбки. Книжки начал читать, в театр ходить, яичницу жарить. А потом заскучал. Тут же старые дружки объявились, таракашечки завелись. Чем кончилось, известно.

Спустя десять лет случайно услышала от кого-то через кого-то, что сразу после развода женился и дочку родил. И уехал на стройку века. Что делал он в этой вечной мерзлоте, лес валил или сваи вбивал, не знаю, но ещё раз женился и ещё кого-то родил. Погиб во время работы, нелепо и страшно. Пьян был, что-то там на него наехало, не успел увернуться.

Всю жизнь просила: «не пей», и сейчас прошу. Отчего ж не просить? Что тогда, что сейчас — никакого проку.

Живу далеко-далеко, в чужой стране, чужую старость встречаю. Своих деток довела до ума, внука нянчу. И потихоньку прощаюсь со всеми, кого любила.

Откройся, глазок, откройся другой! Жизнь играет! Судьба играет! Птичка в дом залетела — выпустим! Саночки проржавели, не беда, наждачком протрём, маслицем смажем, лучше новых поедут! Саничке горлышко обмотаем шалечкой, шапку наденем и пускай себе катится с горочки! Снега нет и чёрт с ним, а мы нарисуем, вообразим!

Саничка у нас понятливый, всё на лету схватывает, и сердечком прям и повадкой, ну, золотой, золотой. Гордится бабка, а виду не подаёт. Хвалят нерадивых да бесполовых, а у этого всё само собой получается. Богу надо молиться, чтобы и дальше так.

И ты не горюй, потеряв полушку, где-то алтын валяется, тебя ждёт, в пыли дорожной хоронится. Найди, обдуй, подари тому, кто бедней.

Что отдал — твоё. И тот, кому дал, забудет, и ты, а оно отлепится от своей вещной видимости и повиснет в воздухе чистой радостью. Для тебя и для всех.

# Московские страсти

Полина, поэтесса, известная как жена известного поэта, полулежала на козетке и грызла ногти. Виктория открыла дверь своим ключом.

— Где муж? — спросила не поздоровавшись.

С невесткой Виктория не церемонилась.

Впрочем, звали её не Виктория, а... сгореть со стыда. То же чувство, но более сложное, испытывал и брат поэт. Родители дали им катастрофические имена: Фёкла и Патрикей. Не прибавляла радости и фамилия — Сучаткины. Поэтому, выйдя замуж за критика Преображенского, Фёкла объявила себя Викторией, а Патрикей подписывался Иваном Непомнящим.

— Чей муж? — меланхолично отозвалась Полина.

По паспорту она была Сталина, но тоже сменила имя, хотя и по другим соображениям. В семидесятых все стали мало-помалу соображать.

— Наш, — съязвила Виктория.

Год назад она бросила Преображенского, назло ей раскритиковавшего в газете Ванькины стихи. Не простила кровной обиды, несмотря на Юльку, их сына, обожавшего папашу и теперь всячески мстившего ей за безотцовщину. Иван, войдя в её положение, временно замещал мужа, подбрасывая деньжат и ругаясь с Юлькиными учителями.

— «А кто его знает...», — пропела Полина.

— Ой, потеряешь.

Они недолюбливали друг друга, но каждая считала себя умной и скрывала свою неприязнь. Обе были уверены, что притворство умнее искренности.

— Нельзя потерять то, что тебе не принадлежит.

— Допустим, — усмехнулась Виктория, — но зачем сидеть в темноте?

Она сама свела брата с этой дурой, которой срочно понадобилась московская прописка. Ивашка был слаб здоровьем, припадал на обе ноги и тоже нуждался в помощи. Чем не пара? Вообще-то Виктория терпеть не могла стихов, даже братниных, но, обретаясь в литературных компаниях, предпочитала всё-таки поэтесс. Критикессы, прозаички и драматургини были злей на язык и скупее на руку.

— Я с ним третий день не разговариваю, — вдруг с надрывом сказала Полина. — Он мне осточертел.

— Бывает, — удовлетворённо кивнула Виктория, включая свет. — Все мужчины — скоты.

— Но не настолько же...

— На себя посмотри.

— А что?

— А то.

Полина нехотя поднялась и прошлёпала к зеркалу. Вот эта дурья её непосредственность и подкупила когда-то Викторию.

— Не хуже, чем всегда.

Как будто ей мало толстых щёк, прыщавого лба и сальных волос, разозлилась Виктория. Не дай бог, квартиру начнёт делить.

— Выше нос, подруга. Перемелется — мука будет, пирожков напечём. Съезди на недельку в Коктебель.

— В декабре-то?

— Ну, в Дубулты, там камины, дюны. Вон Окуджава поехал, и Белка собирается.

— А этот?

— Я за ним пригляжу.

— Да не об нём я печалюсь! — всплеснула руками Полина. — Не пустит или денег не даст. У нас опять режим экономии. На картошке сидим.

— А какой навар со стихов? Уж тебе, моя дорогая, объяснить не надо. Перевела бы что-нибудь, чем валяться да лапу сосать.

— Я поэму пишу, не хочу размениваться.

— И много написала?

— На полкило колбасы.

— Не смешно, — поджала губы Виктория. — То с жиру бесишься, то со скуки. Был бы ребёнок...

— Ещё один? Боже избавь! Этого бы до ума довести.

— Ну, мне пора, — перебила Виктория. — Не одолжишь десятку? У меня сигареты кончились.

Полина вытащила из сумки кошелек и демонстративно вытряхнула на стол трешку и мелочь. Виктория демонстративно взяла трешку.

— Да, забыла сказать. Гришка Веретенников умер.

— Как умер?! Он только что мне звонил!

— Значит, сразу после того. Хлопнул водки с морозу и привет.

— Где?!

— В цэдээловском ресторане.

— Врёшь!

— Я своими глазами видела! И охнуть не успел.

Полина бросилась на козетку и громко, в голос зарыдала. Виктория, не ожидавшая столь бурного проявления чувств, невольно попятилась.

— Не верю! Нет! Мы созданы друг для друга! Ты подлая! Вон отсюда!

— Очень интересно, — процедила сквозь зубы Виктория. — Кажется, это дом моего брата. Моего несчастного брата, у которого жена стерва. И давно вы с Гришкой его дурачите?

— А ты думала! Без него я и дня бы не прожила с этим чучелом! Отдай трешку! Я еду в ЦДЛ!

— Так он уже дома, в кругу жены. Сомневаюсь, что там тебя ждут с нетерпением.

— Что же делать? — билась головой о козетку Полина. — Как жить?

Хлопнула дверь, и раздались шаркающие шаги.

— Ну, девчонки, — услышался из коридора фальцет Ивана, — поздравьте меня, я лауреат! Сумасшедшие деньги, двойной тираж и поездка в Африку! Эх, заживём!

Полина вскочила, вытирая слёзы. Виктория кинулась к брату обниматься. Был наскоро сооружён стол и разлита водка.

— Есть Бог, он всё видит! — с жаром воскликнула Виктория. — Выпьем за справедливость!

— Но почему в Африку? — недоумённо пробормотала Полина. — На родину Пушкина, что ли?

Виктория прыснула, за ней Иван, и все дружно расхохотались.

К полуночи, провожая Викторию, Полина растроганно поцеловала её.

— Зная твоё благородство, я тебя ни о чём не прошу, — сказала она.

— Да, детка, — вздохнула Виктория, — ничего нет дороже семьи. Пойду позвоню Преображенскому, пусть сдохнет от зависти.

# Русский заяц

В ночь на пятницу Студеникину приснился удивительный сон. Вещий по всем приметам. Однако за день ничего особенного не произошло, и вечер перед телевизором не обещал сюрпризов. Тем не менее, Студеникин на что-то надеялся и даже немного волновался. Для успокоения он выпил пива. Не помогло.

Жена Настя отдыхала в смежном заводском профилактории, где-то в лесу, и дозвониться туда не было никакой возможности. Она бы, конечно, сразу растолковала ему этот загадочный сон, потому что во всём искала и находила тайный смысл.

А приснился Студеникину огромный заяц с умными и совсем не раскосыми, а круглыми, как у татарина, глазами. И молчал он не по-заячьи здраво, и на задних лапах стоял вполне человекообразно, и держал в руках что-то твёрдое, завёрнутое в полотенце. И вдруг пропал, испарился, а свёрток остался лежать на снегу. Студеникин размотал полотенце, а там кукла. Очень красивая, нарядно одетая, одним словом, импортная. И так ему стало радостно, так хорошо, что он засмеялся и тут же проснулся.

На лестнице, обогнав соседку Кондратьевну, он, как бы между прочим, полюбопытствовал, что бы это могло означать.

- Какого цвета был заяц? — со знанием дела спросила та.
- Кажется, белый.
- Значит, скоро.
- Что скоро?
- Не знаю, но если что и случится, то прямо на днях.

Чертёжница Люся, к которой он подсел в столовке, и слушать его не стала, заявив, что сны на пятницу сбываются до полудня, а курьерша баба Рая посоветовала ему спать с открытой форточкой.

Обстоятельней всех, как ни странно, оказался Еропкин, неразговорчивый тип из первого отдела. В туалете он сам подошёл к Студеникину и предложил расшифровать его сон.

— Я человек не суеверный, — с ходу предупредил, — но народной мифологией интересуюсь. Приметы — это социальные стереотипы, проливающие свет на разные непознанные явления. Например, полотенце — знак дороги, а заяц — символ страха. Если ты чего-то боишься, то говори, не стесняйся.

— Чего мне бояться? — не понял Студеникин. — Лишнего не болтаю, на здоровье не жалуюсь. Денег, правда, в обрез, но у кого-нибудь перехвачу до аванса.

— Может, тебя обстановка в стране тревожит? Власть-то опять поменялась, надо сызнова перестраиваться.

— Да нет, — подумав, ответил Студеникин. — Во-первых, не моего ума это дело, а в остальном как жили, так и живём. Работа — дом, а в промежутках очереди. Хотелось бы по-другому, да кто даст?

— Ты это напрасно, — нахмурился Еропкин. — Каждый из нас хозяин нашей общей судьбы. Зайцем в демократию не въедешь, у нас контролёров больше, чем пассажиров. Влез в автобус — плати за проезд.

Студеникин заторопился в бюро, но Еропкин схватил его за рукав.

— И глаза у твоего зайца подозрительно круглые. И на задних лапах стоит, как будто заискивает. Я не спорю, незванный гость хуже всякой национальности, но татары тут ни при чём, они народ работающий.

— Да откуда я знаю! — разозлился Студеникин. — Что, я сам себе сны заказываю? Какие крутят, те и смотрю!

— Ладно, не кипятись, — примирительно сказал Еропкин. — Ты лучше вспомни, какого полу была твоя кукла. Девочка или мальчик?

— А что, и мальчики есть?

— Тёмный ты, Студеникин. Негры и то бывают. Я в Румынии на витрине видел. Так вот, мальчики снятся к хлопотам, а девочки — к диву.

— А негры?

— Не валяй дурака. Меня вот что смущает: почему ты решил, что кукла импортная?

— Как будто не видно!

— У нас не хуже делают. Ни один порядочный иностранец без матрёшки домой не едет. А куклой ещё называют бумагу, которую подсовывают вместо денег.

— Ага, вроде нашей зарплаты, — в сердцах сказал Студеникин. — Теперь не то, что в Румынию, в Москву не прокатишься.

— Не нравится мне твоё настроение, — сдвинул брови Еропкин. — Чёрт с тобой, в понедельник договорим.

Футбольный матч подходил к концу. Счёт был 0:0. Студеникин не заметил, как уснул, а утром с ужасом понял, что ему снова приснился тот же огромный белый заяц с тем же свёртком. Только внутри его находилась не кукла, а маленький чёрный Еропкин, который кричал, что он не румын.

В понедельник Студеникина уволили. Во вторник вернулась Настя и объявила, что уходит к какому-то Марату. В среду пришло письмо от тётки, проживающей в штате Орегон. Она писала, что купила дом на берегу океана и ждёт не дожётся в гости дорогого племянника. А в подарок просит привезти ей живого русского зайца.

Вот и не верь после этого снам.

# Чики-брики

Русские во Франции редко сбиваются в стаи. Им на родине надоело летать косяком — только вперёд и не глядя по сторонам, подчиняясь крику мудрого вожака. Но зоологический рок тяготеет над всеми видами. Русские ищут русских.

Заводят стремительные знакомства, тут же обильно их сдабривают и, распахнув душу настежь, с треском её хлопают. Случайно встретившись снова, могут с вами не поздороваться, а то и шепнуть что-то свинское третьему лицу, третье — четвёртому, пятому и так далее, как в игре в «испорченный телефон». То, что информация, рано или поздно, сделает круг и вернётся к источнику, тем самым обнаружив его, их мало волнует. Стреляться уже не в моде, а бессмертное можно пережить, слава богу, всякого натерпелись, народ закалённый.

Я не охотница до новых знакомств. Живу сурово, мне дорога каждая минута. И потом, никогда не знаешь, какой подарок тебе преподнесёт судьба. Развернёшь хрустящий пакет, перевязанный алой лентой, а там дохлая крыса или какой-нибудь «невменяемый» набоковский канделябр. Считаю, что повезло, если обыкновенная дрянь, не так обременительно отдариваться. Ну, послушаешь, угостишь, дашь взаймы чемодан. Вернут — спасибо, а нет, так нет, не чемоданом единым.

Поэтому, когда молодой человек, мой сокурсник, верней, сослушатель курсов французского языка, подошёл ко мне и заговорил по-русски, я не испытала ни радостного удивления (по крайней мере, триста миллионов говорят на моём языке, никаких удивлений не хватит), ни досадного любопытства.

Сказал он примерно следующее:

— Я узнал, что вы пишете. Это очень хорошо.

Узнавание предполагает некоторые целенаправленные усилия. Впрочем, риторические фигуры для того и существуют, чтобы ими пользоваться не думая. Вряд ли умней: «до моего сведения дошло» или «говорят». Что хорошего в том, чтобы писать, а не делать что-либо другое, я тоже не стала спрашивать. Похвалили и ладно.

— А я историк.

Мы познакомились. Пескарёв, как звали историка, окончил Ленинградский университет, защитился по теме колхозного строительства и, не найдя себе лучшего применения, женился на француженке, изучавшей русский язык. Так началась его «эмиграция» и связанные с нею мытарства. Работы по специальности не нашёл, перебивается уроками русского языка, но жизнью доволен, весьма доволен, и сын растёт, и Франция — замечательная страна.

Он почему-то нервничал, и я ждала какой-нибудь маленькой просьбы или большого откровения. Так и вышло.

— Я, видите ли, пишу стихи, — наконец разрешился он. — Мне бы хотелось их вам показать. Как профессионалу, конечно.

Русская вежливость принимает подчас причудливые формы.

Я ответила, что живу там-то и в такое-то время могла бы его принять. Конечно, как профессионал. И муж и дочери обожают гостей, система налажена. Мы поулыбались.

Он пришёл с опозданием и, не извинившись, заговорил о погоде (так называю любой дурной разговор). Выяснив кто я, откуда, давно ли и зачем, протянул мне несколько смятых листков со стихами, отпечатанными на машинке с западающей «р».

— Пусть это останется между нами, — сказал он, вдруг покраснев. — Мне было бы неприятно, если бы моя жена узнала об этих стихах.

Сначала он, теперь его жена. Чета Пескарёвых прямо-таки одержима жаждой знаний.

— Но я не знакома с ней.

— Мир тесен, — произнёс он с таким видом, словно был автором этой крылатой фразы. — Дело в том, что... стихи посвящены другой женщине.

Какая мне разница, чуть не вырвалось у меня, мы уже потеряли сорок минут, а мне ещё чаем вас поить, разбирать ваши грассирующие страдания. Короче, пошла на кухню за угощением.

Пока он прихлёбывал и похрустывал, пробежала стихи. Как и думала, они были вялыми, гладкими, не ушибленными печатью таланта. Дала несколько «узких» советов, кое-что выправила. Мы ещё немного поговорили о том, о сём и, разумеется, о светлом будущем, без которого не обходится ни один русский разговор. На прощание он предложил созвониться и условиться о встрече, у них или у нас.

Через неделю мы принимали Пескарёвых за столом, уставленным русской сдобой, и выслушивали истории их рождений, учёб и женитьб.

М-ме Peskarev оказалась довольно славной. Чуть грубоватой, но искренней и неглупой. Она преподавала русский язык в лицее, работа ей нравилась, и это было приятно. По-русски говорила свободно, почти без акцента, щеголяя словечками, придающими особую живость нашей речи. Где она их почерпнула, другой вопрос. Вероятно, из любви к фольклору и спросила у меня, что такое «чики-брики».

— Да ничего, — раздражённо прервал её Пескарёв, — я же тебе говорил.

— Это из детской считалки, — упрямо продолжала она. — «Чики-брики — ты куда? — Чики-брики — на базар...»

— Я помню, — перебила и я. — Действительно, ничего не означает. У нас много всяких приговорок вроде тили-тили, трали-вали. И не только у нас, а везде, где есть дети.

— У вас их слишком много, — не уступала гостья. — Не детей, конечно, а всякой дребедни.

— Дребедени, — поправил её Пескарёв.

Дальше они препирались без нашего участия, и чувствовалось, что это уже не привычка, а характер их отношений.

Они пробыли у нас до позднего вечера. Мы, кажется, даже пели. Если бы расшалившийся инфант Пескарёв не раскокал вьетнамскую статуэтку из сандалового дерева, подарок моего старого друга, и не стёр магнитофонную запись концерта нашей младшей дочери, то можно считать, что воскресный обед удался.

Года два мы не виделись, хотя Пескарёв названивал и сообщал семейные новости: купили за городом огромный дом, ремонтируют, разбили сад, посадили сто тридцать розовых кустов, родился второй сын, с работой и деньгами плохо, приходится заниматься бизнесом. Вскоре последовало и приглашение в гости на новоселье и годовщину сына. Поехали с орехами и отметили оба праздника.

После этого поэт-бизнесмен не звонил. Ещё два года спустя кто-то из общих знакомых не без злорадства доложил, что Пескарёв развёлся с женой и детьми и привёз из России новую спутницу жизни, красотку и пушкинистку.

На том бы и кончиться этой счастливой истории, если бы не вмешалась судьба.

M-me Peskarev 2 вдруг воспылала страстью к садовнику, доставшемуся ей в наследство от m-me Peskarev 1, бросившей дом и розы и уехавшей на юг Франции к тётке, алкоголичке с тридцатилетним стажем. Что пушкинистка нашла в этом корявом бретонце, осталось для всех загадкой, в том числе и для него. Может, поэтому он быстро к ней охладел. А может, как убеждённый муж, отец четверых детей и патриот (их и здесь немало), втайне осуждал легкомыслие «этих русских».

Затем происходит очевидное невероятное. Разругавшись с возлюбленным, m-me Peskarev 2 в горе и бешенстве налетает на конную статую, украшающую площадь их маленького городка, и разбивается насмерть с машиной, недавно купленной в кредит.

Пескарёв впадает в нервный шок, из которого его выводит тот же незадачливый садовник. Желая утешить несчастного, он рассказывает ему о недостойном поведении покойницы. Пескарёв вешается, но не совсем удачно, и целых полгода ходит в гипсовом воротнике вокруг дома своей бывшей семьи. Все трое его отвергают, а также тётка-алкоголичка и её отвратительная собачка. В довершение ко всему разведённого вдовца штрафуют за неуплату налогов (и в бизнесе не преуспел).

Я знаю, что может сделать безрассудный русский человек, который только себе кажется непредсказуемым. Он либо сопьётся, либо сойдёт с ума. Скорее всего, снова женится. Догадываюсь, что он скажет, когда мы, не дай бог, встретимся. Что любовь зла, что мир ужасен, что чужбина есть чужбина, а жизнь — это се ля ви. Я, пожалуй, с ним соглашусь. Будет хуже, если он опять принесёт стихи и придётся его утешать. А ведь придётся. Потому что кто, кроме русского, способен понять русского?

# Брызги шипучки

Не обязательно, но бывает.

Пишешь длинную серьёзную вещь, а тебя так и подмывает выкинуть нечто лёгкое, искристое, ни к чему не обязывающее. Вы понимаете? Спорю, что нет. Я говорю о верности.

Нелегко быть живым писателем, всё приходится объяснять. Завидую мёртвым, что стоят на полках в твёрдых переплётах, на твёрдых, навсегда завоёванных позициях, и ничем их оттуда не выбьешь — ни пером, ни топором. А тут всякий чтец-жнец лезет к тебе со своими поправками и пожеланиями, а то и с серпом к горлу: что ты имел в виду? Так и хочется крикнуть: читай, там всё написано!

Стать писателем не менее трудно, чем математиком или кораблестроителем, однако вдаваться в формулы или подсчитывать водоизмещение рискнет не каждый. Даже с какой-то гордостью заявляют: «Это не для меня». В литературе же каждый считает себя знатоком. Буквы он в школе выучил, ругаться и сам умеет, темы знакомые: мир, война, преступление, наказание. Вот и судит, участвует, так сказать, в процессе.

Когда пишется, ещё ничего, чувствуешь себя коровой во время вечерней дойки: с каждой каплей уходит распирающая тяжесть, и усталость бодрит, и луна в небе висит как-то осмысленно. А потом — бац! — и нет тебя, сплошная дурнота, так называемая окружающая действительность. Быт набрасывается, как озверевший инвалид, требуя то квартиры, то контрамарок, то каких-то особых прав, положенных ему из патриотизма. И всё твоё чело-веколюбие трещит по швам. Ходишь злой, несчастный,

натываясь на стены, проклиная шумных соседей — что ни день, у них свадьба или поминки, а с утра пораньше футбол.

Какой ты к чёрту писатель, если тебя на заявление в ЖЭК не хватает, а краны уже не текут, а фонтанируют, потому что целый год длилась твоя вечерняя дойка, и ночь пришла всё-таки неожиданно. Не надейся, что благородные современники прибегут на помощь, а благодарным потомкам и вовсе будет не до тебя, ну разве что блеснуть неизвестным фактом твоей путаной биографии. Мир всё безнадежней: в слаборазвитых странах истребляют своих, в сильноразвитых — остальных, а в тех, что ни то ни сё, идут поразительные демократические процессы, напоминающие переход от плейстоцена к голоцену.

Нет, к ценам отношения не имеет. Да, до Рождества Христова.

Мы говорим о верности. Разумеется, всё течёт, когда не фонтанирует, всё изменяется. Хотелось бы знать, в какую сторону. Что это, в конце концов, эволюция или эманация? «Жизнь скачет, некогда мнение составить»? Это вы бросьте! А вот это как раз берите. Свежие, вчера ещё плавали.

Верность — красивое чувство, а красота, как сказал поэт, спасёт мир. Но сначала надо спасти красоту.

Один мой знакомый ангел, Николай Иванович, трижды её спасал. Первый раз, прочитав Достоевского, женился на женщине, как бы это выразиться, не слишком тяжёлого поведения. Она не страдала избытком веса, на её покатых плечах не лежало никакой ответственности, вот и шла по жизни, не горбясь, с высоко поднятой головой. Долго шла и устала, решила передохнуть. И так ей вдруг сделалось скучно, что даже грустно. Тут и выпорхнул из подворотни ангел с портфелем под мышкой. Пошла за него, чтобы немножко развеяться.

Он был счастлив, дарил цветы, оказывал знаки внимания. Она хихикала или кривилась, в зависимости от того, какое хотела произвести впечатление: наивной девочки или самоуверенной дамы. Очень скоро Николай Иванович понял, что Достоевский, конечно, писатель хороший, но далёкий от настоящей жизни, грубой, пошлой, без сердобольных убийцев и кающихся магдалин. То ли время опростилось, то ли роман как форма исчерпал себя и уступил место анекдоту. Идиот пошёл мелкий, злобный, на твёрдом окладе; бесы с подлостей переключились на гадости; падшие обнаглели и требуют равных прав с теми, кого обзывают быдлом. Смех сквозь слёзы, чисто русское изобретение. А какой же русский не дрогнет сердцем при виде того, что творится дома? Когда не мыто, не метено, ни тебе жарено? Вместо обещанного идеала — одеяло, вместо духовных запросов — животные просьбы: вынь да положь.

Не сдавался ангел, сидел на картошке, воротнички на нём стояли колом без дополнительной обработки. Да и какие возможности у рядового бухгалтера? Дебеты, кредиты и застрявшие между ними сальдо. Но по утрам делал зарядку, а по вечерам декламировал Блока, пока жена вертелась перед зеркалом или красила ногти лаком, покуривая чёрные кубинские пахитоски и запивая дым финским ликёром. Где она доставала эти немислимые колониальные товары, Николай Иванович так и не разузнал. В поисках истины начал заглядывать в рюмку, но ничего, кроме выговора с последним предупреждением, не обнаружил. Решил всё бросить: и поиски, и жену, и ребёнка, который тем временем образовался.

Что вы опять спрашиваете? Налево, по коридору, слив ручной. Не шучу. Отодвигаете крышку бачка и добиваетесь его полного и окончательного освобождения. Своею собственной рукой.

Короче, попереживал наш ангел и расправил помятые крылья. И вновь женился. На умнице. Пожалел очкастую,

что все дни просиживала в библиотеке, глотая научную пыль. Решил привести её в чувства, взбодрить дионисийским нашатырём. Он тогда Ницше копал, «Антихриста», правда, слегка подпорченного выкладками родной сестры и комментариями чужого дяди. Всего не понял, но главное ухватил. Два года в ногах валялся, покуда не снизошла. Не то, что вредная оказалась, а разборчивая, волюнтаризма на дух не выносила. Ещё год проползал на четвереньках, отстаивая принципы, а потом бочком, бочком и уполз в марсианские хроники. Дошло, наконец, что ничего ей не докажешь, это как с читателем, который лучше тебя знает, что ты написал.

— Вы прочли мои мысли! — как-то пожаловался мне поклонник моего таланта. — Только у меня они разрозненные, а вы их выстроили в систему.

— Конечно, — говорю, — я ничего не изобретаю, беру, что плохо лежит, и ставлю на своё место.

Нет, детка, это не скатерть-самобранка. Может, и есть где-нибудь в музее народного творчества. Чего-чего, а желающих накормить народ у нас хватает.

Всё-таки дорасскажу эту историю. Третью попытку Николай Иванович совершил, женившись по расчёту. Очень на него подействовала теория чисел в придачу с музыкой сфер. Поверил вслед за пифагорейцами, что удачно найденная комбинация цифр может перевернуть мир или, по крайней мере, наше представление о нём.

Выбрал женщину богатую и знатную, если верить семейным реликвиям: столовое серебро, боа из мышинных перьев, чеканный профиль какого-то предка по двоюродной линии, то ли камергер, то ли камердинер, масло, холст, метр двадцать на пятьдесят. И сама из себя видная, на голову выше среднего. Научила его пользоваться ножом, прыскаться одеколоном, говорить о погоде бархатым баритоном.

Ангел премного был благодарен ей. Пикуля вслух читал, пятки массировал, приносил в клюве клубнику. Сошёлся с другом семьи (из бывших дворян, нынешних баснописцев) и по его протекции устроился директором общепита. Раздобрел, стал благодушен, увлёкся идеей служения простому народу.

Не счесть добрых дел, сделанных добрым Николай Ивановичем! Об этом многие говорили ему, причём не за спиной, как у нас принято, а прямо в глаза, положи руку на сердце.

Разумеется, не по долгу службы совершал он ангельские поступки — исключительно по велению сердобольной жены. Например, организовал шефство над городской богадельней и по праздникам выделял старушкам твёрдокопчёную колбасу. Всё равно были недовольны — плохо жуётся.

С пионерами и вовсе казус вышел. Он им автобус для проезда в летние лагеря, а они ему частушки с подковыркою, да ещё на праздновании весьма скользкой даты. Не учёл простой человеческой неблагодарности.

Да и разницы не учёл. Жена лет на двадцать, а то и больше, обогнала его и прекрасно держала разрыв. Вдруг начала задрёмывать на полуслове, нести кадетскую чепуху. Деньги выдавала по первому требованию, что да, то да, но всякий раз обзывала мужа вышедшими из обращения оборотами.

И что вы думаете? Пустился наш ангел во все тяжкие, то есть лёгкие, искристые, ни к чему не обязывающие. С балеринами из кордебалета. Те обожали пирожные, но страшно боялись растолстеть. За компанию с ними и ударился Николай Иванович в диеты, а исхудаив, прямёхонько в идеализм. Там и пришла ему в голову дикая мысль: а вдруг он не то, чтобы идеальный, а наоборот, совершенная дрянь? И так эта дикость его захватила, что он к сыну кинулся — воспитывать в просветлённом духе. Увы,

опоздал: мальчик вырос, женился и сам вправляет мозги дочуркам, помешавшимся на красивой жизни.

С тех пор Николай Иванович книг не читал и в поступках замечен не был. Похоронил жену и вскорости воспоследовал.

Так что, пожалуй, ничем особенно шипучим я вас не угощу. Найду частника и за полсотни уломаю его поменять прокладки, а потом, обсохнув, засяду за свою серьёзную вещь.

Что ещё? Длиннее, чем у Вертинского. Не под гитару. Луны вообще не будет. И никакие измены не собьют меня с толку. При чём тут жёны и мужья? Я не о супружестве, я говорю о верности. А этот рассказик, невинный грешок, простите мне, ради бога, и ангела не поминайте всеу — каждому своё.

# Голова

Жаркий августовский день.

Небо словно присыпано золой, спёкшийся воздух гудит, камни в жирных пятнах мазута насквозь прожигают подошвы сандалий. Раскалённые рельсы подрагивают, как гигантские колосники в разбушевавшейся печке, и отливают зеркальным, адским, мучительным блеском.

Трудно дышать, больно смотреть.

Я иду за керосином. Это одна из моих обязанностей, которые я выполняю без особого рвения, но и без отговорок. Мне шесть лет, кое-что уже понимаю. В левой руке у меня трёхлитровый молочный бидон, приспособленный мамой под керосин, в правой — новенькая пятилитровая канистра с хитроумным замком, похожим на мышеловку. Трёшка, сложенная вчетверо, спрятана на животе, под майкой, все меры предосторожности соблюдены. Я раззява и никогда не забываю об этом.

Идти далеко: если прямо, по краю железнодорожного полотна, через переезд, то около километра; если в обход, огибая парк, вдоль южных ворот колхозного рынка, заставленных телегами с лошадьми, кроличьими клетками и скобяным товаром, то, наверное, вдвое больше.

Обычно я хожу напрямик.

Мимо с грохотом проносятся поезда, обдавая бешеным ветром, ухают шпалы, с насыпи скатывается щебёнка, из-под колёс огненным веером вылетают искры... Зрелище сотрясающее, захватывающее дух!

Железные кони в сто раз интересней облезлых кляч, уткнувшихся мордой в пойло, и деловитых кроликов, с тупым упорством налезających друг на друга.

Всё же я выбираю обходный путь, чтобы удостовериться в невероятном — в городе появилась говорящая Голова. Огромная, страшная, густо заросшая чёрной шерстью, с чёрными, выпученными в звериной злобе глазами. Не механическая, игрушечная, нарочно не привинченная к телу, а настоящая, человеческая, живая. Мало того — женатая, что сообщала, лопаясь от гордости и презрения, поливая грязью несчастную женщину, впрягшуюся в тачку, на которой и разъезжала эта кошмарная Голова.

Первыми всполошились бабки, торговавшие жареными семечками возле рынка, неразлучные Вера и Маня, разглядевшие на косматом лбу чуды-юды знак антихриста, моментально слинявший, едва они перекрестились.

Накануне Мане приснился вещий сон: как будто разверзлись хляби небесные и вместо дождя посыпалась манка с червями, а невидимый голос басом пел: «Из глубины возвах», чисто по-русски, но с ужасным грузинским акцентом. Вера настрого запретила Мане рассказывать про акцент, в чём сама признавалась всем встречным и поперечным, советуя запастись свечками и кропить углы святой водой.

Старушек подняли на смех, но ровно в полдень на главной площади осела земля, и образовалась глубокая вмятина, откуда остро дохнуло серой.

Город ударился в панику.

К вечеру расхватали спички и соль, сбегали в церковь, милицию и зачем-то сфотографировались. Как выяснилось, не зря, потому что ночью на электростанции вспыхнул пожар, и наступил конец света — остановились заводы и фабрики, закрылись бани и кинотеатры. В газете написали, что это не стихийное бедствие, а подлый, умело спланированный саботаж, и какие-то гидры с акулами уже дают показания.

Вслед зачистили крупные и мелкие происшествия: опечатали сберегательный банк, из продажи изъяли мыло и ливерную колбасу, на масложиркомбинате обнаружили тонну засекреченного жмыха, с поезда сняли двух подозрительных инженеров с просроченными паспортами, у центрального телеграфа выставили наряд дружинников и служебных собак, и те кого-то унюхали и покусали.

Дальше и вовсе пошло твориться неопишваемое. Во дворах стали пропадать куры, в кладовках — взрываться консервы, по домам расползлась нечисть: блохи, клопы, пауки, тараканы. Вспомнили, что в августе четырнадцатого тоже стояла невыносимая сорокоградусная жара, разразившаяся войной и сыпным тифом. Тифозных, правда, не выискали, зато угоревших от хлорки и отравившихся дустом пачками свозили в инфекционную больницу, где орудовали убийцы в белых халатах, не принимавшие незаразных.

На пятый день недосчитались трёх директоров, висевших на городской Доске почёта, и неразлучной Мани, пострадавшей, как говорили, за Веру.

В среду вдруг отменили карточки на сахар, взамен которого выбросили тягучую, наподобие клейстера, приторно-мучнистую патоку. Варенье, хранившееся в сараях за семью замками, утекло туда же, куда недавно упорхнули куры. Украдкой передавали, что из тюрьмы, якобы по амнистии, выпустили воришек, чтобы освободить камеры для саботажников, а к ноябрьским праздникам пересажаят и паникёров.

Последняя новость подействовала, как нашатырь: все очнулись и давай валить с больной головы на здоровую. Та не оправдывалась — молча тащила тачку и пожимала плечами в ответ. А спрашивали, как у нас умеют, с пристрастием. Кое-что долетало и до моих ушей.

«Мыкалась бы с калекой мать, сестра или нянька, было бы ещё понятно...»

«Да нет, молодая и вроде нормальная...»

«Совести у них нет! Шатаются по базарам, разносят сразу...»

«Какой из него муж? На человека и то не похож...»

«Сама позорится и его позорит...»

Заодно ругали паромщика, перевозившего всякий сброд; сторожей, впускавших на рынок шпану; огородников, под шумок взвинтивших цены на зелень. Досталось и добреньким, что подкармливали бедняг, кидали в тачку объедки и мелкие деньги.

Как Голова ела, жадно, с чавканьем, заглатывая куски, видели многие и чуть не сходили с ума, гадая, как она умудряется переваривать пищу, не говоря уже об остальном.

Вообще-то я не прислушиваюсь к разговорам в очередях.

Хвосты у нас длинные, особенно за хлебом — пока завезут, разгрузят, пока дотопчешься до прилавка, забудешь, зачем пришёл. От скуки и спорят, толкаются, перепроверяют номера, начёрканные на ладонях чернильным карандашом, выкладывают разные «ужасти».

А я стою и витаю, но не в облаках, как считает мама, а в джунглях, прериях, лукоморьях и прочих опасных краях, где требуются сноровка, выдержка и смекалка. Геройствовать нелегко, поэтому по свободе учусь плавать, лазить по деревьям, как обезьяна, разгадывать ребусы и не кланчить денег на мороженое. Если что-то не получается, совершаю примерный поступок (поливаю огород, подметаю пол) или срочно выдумываю беспримерный подвиг, обернувшись Русланом, Джеком-мустангером, а то и целой флотилией богатырей под управлением дядьки Черномора. Так что и всадником без головы и голову без всадника меня не очень-то удивишь. Но под боком разгуливало не книжное, а живое чудище, и красавица-некрасавица, а ходила за ним, своим рабом, господином и верным другом.

По слухам, они подъезжали к южным воротам рынка в полдень, когда торговля временно затихала. Потеснив подводы, устраивались в тени куцых корявых акаций, росших вдоль ухабистой, в хвост и в гриву разбитой дороги, ведущей к железнодорожному переезду. Тут же со всех сторон сбегался народ.

И начинался цирк.

Голова сквернословила и дико вращала глазами; жена, сев поодаль на корточки, безучастно смотрела на происходящее. Протомившись на солнцепёке час-другой, они снимались с места и снова куда-то шли под улюлюканье увязавшихся за ними мальчишек, на ходу заглядывавших в тачку и корчивших Голове свирепые рожи. Ночевала странная пара за городом, у реки, но и там, наступившая зеваками, не имела покоя, так что бесплатное представление длилось круглые сутки.

Я убыстряю шаг.

В час дня керосиновая лавка закроется на обед. Ждать до трёх у меня не хватит терпения, а вернуться домой без керосина не хватит наглости. Вечно я, как Иванушка-дурочок,рываюсь между долгом и неохотой.

Едва свернув за угол парка, попадаю в круговорот испуганно-радостной, ахающей толпы, потерявшей лицо — передо мной сплошная стена взмокших спин и затылков.

Точно, они уже здесь.

Пробиться в середину не удаётся — меня сердито отпихивают локтями. Затолкав под чью-то телегу бидон с канистрой, я взбираюсь на решётчатую створку настежь распахнутых ворот.

Сначала не могу разобрать, что лежит в сером ворохе жухлой соломы, устилающей дно грубо сколоченного ящика на колёсах. Мешает пот и противный страх увидеть нечто такое, что разом перечеркнёт мою привычную, не слишком безоблачную, но всё-таки счастливую жизнь,

отнимет веру в нечаянные чудеса, что нет-нет, да и случаются на этом отчаянном свете. Зачем это мне?

Действительно, голова. Явно мужская, крупная, с тёмной копной свалявшихся жёстких, как пакля, волос, с разбойничьей бородой, всклокоченной, задранной кверху. Глаза тяжёлые, бычьи, набрякшие кровью, ноздри раздуты, во рту ворочается опухший, словно ошпаренный кипятком язык. Жутковато, да, но бывают головы и похуже.

Неожиданно под рогожкой, прикрывающей нижнюю часть ящика, пробегает еле заметная дрожь. Что-то шевелится там, и меня охватывает предчувствие близкой, быстро надвигающейся беды.

Так и есть! Белобрысый вертлявый парень, вынырнувший из задних рядов, молниеносным воровским жестом сдёргивает рогожку и, взвизгнув, отшвыривает от себя. Вдох ужаса прокатывается по улице и рассыпается на смешки.

Обмирая, всматриваюсь в беспомощное тельце, маленькое, как у грудного младенца, сморщенные желтушные ручки, торчащие из рукавов цветастой распашонки, кривые тощие ножки, барахтающиеся в штанцах. Круглые подошвы похожи на сырые оладьи, пальцев нет, срослись намертво.

Как бы то ни было, но видно, что он — человек, пусть калечный, жалкий, но не зверь лесной, не чудо морское — человеческий человек. Ему тоже жарко, тошно, гораздо тошнее, чем нам, здоровым, бесстыдно разглядывающим его.

Внезапно тельце подскакивает, а Голова начинает орать благим матом:

— Эй, жена! Дай воды! Оглохла, что ли? Воды! Я сказал: воды!

К тачке протискивается худенькая загорелая, постарушечьи низко повязанная платком, но совсем молодая и на удивление миловидная женщина. Подбирает, встряхивает рогожку, кутает в неё безобразное детское тельце.

Пошарив в соломе, вытаскивает помятую флягу, наполняет водой жестяную кружку и, приподняв Голову, поит её, стараясь не пролить ни капли.

Голова плюётся, рычит и, улучив момент, цепко хватывает зубами щупленькое запястье жены. Та спокойно, ничуть не обидевшись, отнимает руку, а в толпе раздаются возмущённые крики.

И вдруг меня осеняет: да это же шутка, они нас разыгрывают, как артисты!

— Врежь ему по сусалам! — командует дядька в наколках, весь фиолетовый от русалок и перевитых лентами якорей.

— Правильно! — поддакивает молочница, обмахиваясь белым халатом, от которого за версту несёт простоквашей. — Надо же, как измывается чёрт!

— Баба за копейку и с чёртом ляжет!

Голова, довольная произведённым эффектом, скалитя и зазывает истошным базарным голосом:

— Подаваем, подаваем! Красавчику — на винишко, уро дочке — на пирожок! Со с мясом! Не жмись, православные! Бог жадных не любит!

Точильщик в кожаном фартуке хмыкает:

— Ишь, какой грамотный...

И набрасывается на меня:

— А ну, слазь! Устроили тут балаган, понимаешь...

Я прыгиваю, расталкиваю людей и, не соображая, что делаю, насильно всовываю трёшку в ладонь изумлённой жены.

— Мамка не заругает? — спрашивает она, не поднимая глаз.

— Не бери! — вопит Голова. — Тут керосином пахнет! Ехай, дура проклятая!

Дальше не слышу. Схватив канистру с бидоном, бегу, не разбирая дороги, перепрыгивая через вёдра, корзины, заматавшегося кота, бегу до самого переезда с полосатым шлагбаумом.

Пот градом катится по лицу, сердце колотится, но мне легко, даже весело, будто гора свалилась с плеч. Бог с ней, с трёшкой, керосинщица знает меня, отоварит под честное слово.

Лавка закрыта. На двери бумажка. Я умею читать. «Пере-у-чёт».

Плетусь домой, не обращая внимания на поезда, что налетают сзади и, обгоняя меня, мчатся к вокзалу. В сотый раз задаю вопрос и не нахожу ответа: как Голова догадалась про керосин? Ни я, ни трёшка ничем не пахли, а бидон валялся аж где... Может, она волшебная? Фантастические картины, одна безумней другой, разворачиваются в моём бедном богатом воображении...

Но что это? Я не верю моим глазам!

На мазутных камнях валяется ярко-зелёная хрустящая трёхрублёвка. Если бы мятая, вчетверо сложенная, я бы подумал, что она обратно ко мне перенеслась по воздуху. Чудеса и только, нежданно-негаданные чудеса! Теперь всё обойдётся, и мама поверит, что я не посеял деньги, а чтобы выкрутиться, сочинил историю с головой. Так и было, как было, и хорошо всем на радость закончилось.

Вечером дали свет. Объявилась баба Маня, уезжавшая погостить к родне в деревню. Дырку на площади закидали землёй и придавили досками.

Спал я, как в новогоднюю ночь, урывками, боясь пропустить рассвет новой жизни. Проснулся, а праздник, оказывается, отменили — ни орехов, ни пирогов. На столе кусок хлеба, патока и холодный чай. Мама ушла на работу.

Кое-как дождавшись полудня, отправляюсь за керосином, конечно, в обход, но ворота рынка пусты, не считая телег, лошадей и точильщика, подмигнувшего мне по старой дружбе.

У керосиновой лавки топчется очередь, неестественно тихая, будто выползшая из немого кино. Ах, вот оно что...

Вчера мальчишки, рыскавшие по берегу реки в надежде чем-нибудь поживиться, наткнулись на перевёрнутую тачку с оторванными колёсами. Рядом, в зарослях лозняка, дотлевал костёр, дымились тряпки, два кукурузных початка и сплюснутая, дочерна обгоревшая жестяная кружка. Урода искать не стали — в темноте страху не оберёшься, да и кому он, поганый, нужен?

Наутро его нашли с перерезанным горлом.

Женщина бесследно исчезла.

# Сиропчик

Представьте себе высоченного дядю, где-то за метр во семьдесят, худого, нескладного, с растрёпанными волосами и руками-граблями до колен.

А теперь как бы отдельно: бело-розовое лицо, сияющие глаза и сладкая, как варенье, улыбка.

Всё это называлось Сиропчик. Совершенно дурацкое, неподходящее имя для взрослого человека. Не прозвище — имя (я потом объясню).

Оно ему шло. Наверное, дело было в улыбке, словно засахарившейся и прилипшей к его вишнёвым губам.

Сиропчик всегда улыбался. Даже в тех случаях, когда полагалось скорчить скорбную мину или хотя бы разинуть рот.

Однажды его спросили:

— Ты пойдёшь на похороны бабы Сони?

Он воскликнул:

— С удовольствием!

Чему он радовался, не знаю. Может, действительно жизнь представлялась ему нескончаемым праздником, в котором, правда, участвовал он один.

Моей родной тётке Сиропчик приходился троюродным племянником, сыном её наполовину двоюродного брата по отцу (у кого-то из них были разные матери). Тётя, жалевшая всех на свете, с особенной страстью сочувствовала ему. Он болел каким-то редким нервным расстройством и месяцами не вылезал из больниц и санаториев, где его почему-то лечили от туберкулёза. Сиропчик послушно глотал порошки и микстуры, а на рентген бежал, как на салют. Возвращаясь из диспансера, с восторгом докладывал:

— Опять ничего не нашли!

Мама, тётя и я жили тогда в коммунальной квартире, рассчитанной на две семьи. В нашей семнадцатиметровой комнате, заставленной шифоньером, двумя кроватями, диваном, этажеркой, тумбочкой с патефоном, громоздким обеденным столом и кирпичной печкой, занимавшей целый угол, негде было повернуться. Чтобы сэкономить место, мама спала на раскладушке (диван берегли в приданое мне, шестилетней). Поэтому в тёплые дни мы принимали гостей в палисаднике, а в холодные — сидя на кроватях или стоя по очереди.

Каждое воскресенье нас навещали Сиропчики. Инициатором культпоходов был, конечно, он сам, твёрдо уверенный, что за неделю мы успели по ним соскучиться.

Его приводила за руку тётя Роза, вдова того самого двоюродного брата, личности в нашем роду легендарной. В тридцатых годах дядю Мишу расстреляли как врага народа, а в пятидесятых — реабилитировали и задним числом восстановили в партии. Последнюю подробность тётя Роза подчёркивала с тайной грустью и явным злорадством.

Пострадал дядя Миша за неудачно рассказанный анекдот, где фигурировал то ли латышский, то ли ворошиловский стрелок, который «промахнулся» в беседе с товарищем Сталиным, чем здорово насмешил вождя. Юмор был в том, что дядя Миша, выросший в глухой армянской деревне и кое-как говоривший по-русски, понял это буквально. То есть стрелок всё-таки выстрелил, но в Сталина не попал. Не туда мама ручку пришила. Одним из смеявшихся над анекдотом оказался чекист. Он и припёр дядю Мишу к стенке, тоже буквально.

Эту историю тётя Роза вспоминала всякий раз, когда заходила речь о пользе образования. Заканчивала её поговоркой: «Учёба — тьма, а неучёба — тюрьма».

Ещё у тёти Розы были две дочери, три внучки и многочисленные крестницы, сплошь обиженные судьбой.

Их вечные неурядицы и были предметом жарких воскресных дискуссий. Приходили Сиропчики группой человек в десять, устраивались надолго и уходили с большой неохотой.

Стыдно сказать, но я стеснялась тётиных (будто бы не моих) армянских родственников. Они слишком громко говорили, бурно жестикулировали, преувеличенно ужасались и восхищались. Всё было у них чересчур, как в плохом спектакле. Или они сами не верили в свою искренность, или боялись показаться недостаточно искренними.

Мама терпела эти сборища, как терпят бедствие: пожар, наводнение, пир во время чумы. Работая в три смены по двенадцать часов (третья — ночная), она сильно уставала, к тому же все покупки, побелки, прополки лежали на ней. Тётя по зрению рано ушла на пенсию, от меня и вовсе не было толку. Мама в одиночку тянула семейный воз и панически избегала сверхурочных дружб и любых переливаний из пустого в порожнее. Я думаю, кроме нас с тётей, она вообще никого не любила. Кому-то симпатизировала, помогала, если её об этом просили, но главные силы она отдавала нам. То есть была полной противоположностью тёте, нашей неутомимой общественнице. Я постоянно металась между ними, как между двух огней.

Итак, Сиропчики появлялись внезапно, словно вырастали из-под земли, и плотным кольцом окружали крыльцо. Мы выбегали на шум, из окон выглядывали соседи. Поезда грохотали в двух шагах, но приветствия наших гостей перекрывали все звуки в радиусе ста метров.

Сиропчик никогда не здоровался, а радостно сообщал:  
— А вот и мы!

И тут же садился на ступеньку, на стул, на что попало, чтобы не заслонять нам солнца. В сущности, он был добрым малым.

Опекать его поручалось мне — у мамы не хватало нервов. Тётя Роза им не занималась, а он за себя не отвечал.

Оставшись без присмотра, лазил по ящикам, переворачивая всё вверх дном, совал в печку веник, ломал мои игрушки, словом, вытворял чёрте что. От его диких выходов было одно спасение — мои дикие выдумки. Сочинять я умела, хотя и во вред себе, из-за этого меня никто не принимал всерьёз.

Обычно я уводила его в дальний угол палисадника и морочила разными небылицами. Например, что видела в цирке человека, который обратно превратился в обезьяну; что, если посыпать грядки солью, вырастут солёные огурцы; что электричество добывают из молний и тому подобное.

Как-то раз соврала, что ночью ко мне прилетал китайский дракон и рассказывал очень смешные сказки. Сиропчик спросил, откуда нерусский зверь знает наш некитайский язык. Я ответила, что мы дружим с Китаем, и там уже говорят по-русски. Он поинтересовался, нельзя ли ему переночевать у нас и тоже послушать сказки. Я выкрутилась, сказав, что дракон прилетает раз в год и всегда неожиданно. Сиропчик снова спросил:

— А год, это много?

— Много, — заверила я, — сто дней.

— Ладно! — выпалил он. — Остаюсь! Вот тётя обрадуется!

Пришлось срочно выдумывать что-то ещё. К счастью, он быстро всё забывал — что влетало в одно ухо, вылетало из двух.

Перед тем как устроиться в лопухах, густо росших вдоль забора, он доставал из своих вечно спадающих штанов перочинный ножик и начинал что-нибудь стругать. Однажды я отлучилась, и он обчикал черешню. Досталось, конечно, мне. Сиропчика утешали — он, оказывается, решил, что ветки мешают дереву расти прямо вверх.

Иногда я приносила ему из кладовки литровую банку вишнёвого варенья, которое он не ел, а пил, оправдывая тем, что ложка невкусная. Вишни с косточками он

разжёвывал и, подержав во рту, сплёвывал в руку. Это могло продолжаться и час, и два.

Когда моя фантазия иссякала, я давала Сиропчику какое-нибудь идиотское задание. Раз предложила считать вагоны, что пролетали за нашим окном, и таким образом вырубил на полдня. Он даже не спросил, зачем это нужно. В другой раз, нарочно спрятав замок, попросила стеречь сарай. Заскучав, он вытаскал из сарая дрова и завалил ими дверь, после чего, страшно довольный, примчался к нам отдохнуть.

Хорошего в этих хитростях мало, но и меня можно понять.

И вдруг ошеломляющая новость — Сиропчик женился. Это мероприятие он провернул за неделю: успел познакомиться со своей невестой, расписаться и переехать к ней. А в воскресенье, как положено, явился в гости. Теперь его держала за руку жена, толстая тётка с рябым лицом и слоновьими ногами, обутыми в войлочные шлёпанцы. Точно такие же были на всех Сиропчиках. Поймав удивлённый мамин взгляд, тётя Роза с гордостью пояснила, что её невестка занимается пошивом войлочной обуви на дому. Та, тоже не поздоровавшись, буркнула, что она Маруся, а Сиропчик, сияя от удовольствия, выпалил:

— Мы живём дружно!

Мама с тётей поздравили всех и пригласили к столу. Угостившись вишнёвкой с яблочным пирогом, Маруся объявила, что пора уходить, так как ей неудобно долго сидеть. Весь вечер тётя умилялась, какая Маруся деликатная, а мама печально качала головой.

Это было в августе, а в ноябре у Сиропчика родился сын. Малыша принесли в цветастом стёганом одеяле размером с ковёр-самолёт. Он без конца плакал и ел, а Сиропчик смотрел на него как замороженный и впервые не на удивил.

В январе Маруся выгнала Сиропчика и потребовала от него алименты. Ради свиданий с сыном он аккуратно платил. Деньги отчисляли из его крошечной инвалидской пенсии. Он и дворником где-то устроился и целиком отдавал зарплату Марусе, чтобы мальчик ни в чём не нуждался. Но та вскоре опять вышла замуж и запретила Сиропчику к ним приходить. Об этом он сообщил с виноватой улыбкой, по частям возвращая мне раскуроченный калейдоскоп.

Вскоре мы переехали в другой город и потеряли друг друга из виду.

Почему же я всё-таки вспоминаю его? Наверное, потому, что выросла, а он остался ребёнком. Наивным, беспомощным, не понимающим правил жестокой взрослой игры. А может, не надо его жалеть? Ведь он ни о чём не просит и спокойно живёт в своём непробиваемо счастливом мире. Всё равно жалею. Ведь я наполовину тётина дочка.

Да! Звали его Сероб. Вполне нормальное армянское имя. Уменьшительно — Серобчик. Попробуйте произнести вслух.

# Что днесь пред нами

У-у-у... то не ветер... у-у-у... ветку клонит...

И не сердечко...

Голова.

Ничего не помню, ничего не знаю.

А надо ли?

Говорили: учись, трудись, всё у тебя будет. Верила. А теперь не верю. Да и на что мне всё? Поснедала хлебушка и сыта. Подпоясалась и одета.

Вместо парка — диван культуры и отдыха. И прогулки вокруг него. Пойду налево — песнь заведу, направо — сказку. Другой бы козлом прыгал. Большею частью лежу. Мысли перебираю, отрывки из любимых произведений.

Днём не до этого, работаю на семью. Девять ртов, семнадцать рук, и все ко мне тянутся, с надеждой и любовью. Не увернёшься — одних зубов плюс-минус двести семьдесят штук.

Ночью тихо, тепло, луна в окне. И начинается...

Кто я? Откуда? Куда?

Хи-хи, тикают часики, в зеркало посмотри, а лень вставать, ущипни себя. Больно? Стало быть, ты и есть это самое.

И второй вопрос, если связать его с третьим, тоже по силам. Что откуда берётся, туда и девается. Круг-то замкнутый, не вырвешься. Можно, конечно, попробовать, но зачем? Это и сводит меня с ума. Стоит хорошенько подумать, так ничего и не надо. Никаких диких фантазий, никаких резких движений. Столько лишнего, от него бы избавиться. И мечтать и лучину стругать по мере сил. Не моя мысль — Сократа, уж ему-то можно доверять.

Но мера у всех разная. Одному и милостыни довольно, а другой у кормушки с мешком стоит, а третий с граблями подъезжает на четырёх подводах.

Можно жить и в пифосе и при этом быть гражданином мира. Это как раз посередине между крайностями, греческое приближение к идеалу. А можно быть вором и одновременно главой правительства. И это как бы нормально в отдельных странах. Беда, что воруют без меры, и равновесие между крайностями нарушается. Последствия страшные, но не для глав, а для тех, кто их выбрал на свою голову. Именно выбрал, теперь все выбирают, даже те, что читать не умеют, не то что соображать. А ворам нужна заваруха, потому что в свалке легче обчистить карманы. Посмотрите на карту, где идут войны. Там, где правят нечистые на руку. Всё ведь так просто, если хорошенько подумать. Но хорошенького понемножку.

Некий джентльмен, которого терпеть не мог некий граф, сказал, что недалеко ушла от глупости домоседная мудрость. Дескать, нечего дома сидеть, беги на улицу, активно участвуй в жизни. К мужчинам, наверное, обращался, вряд ли к уличным женщинам. А куда домоседке бежать, если дитё орёт, титьку просит? Известно куда, к дитю. Так что не про нас, домоседок, это интересное рассуждение. Самолично приходится мозговать. Мужички злятся: что-то вы шибко умные стали. А что делать, когда нет выхода? Буквально: ни выхода в свет, ни в полунощное злачное время. Поневолe расфилософствуешься, пока дитё не орёт или там каша подходит.

Недавно мы с приятельницей заспорили о любви. Тема близкая женщинам независимо от возраста, призвания и личного опыта. Наверное, в чувствах реализуется всё, что природой назначено слабоумному полу. Да, кстати, почему женщины живут дольше мужчин? Потому что эмоции жизнеспособней идей? Следуя той же логике, допускаю, что и глупость натуральной ума.

Приятельница призналась, что любит младшего внука больше старших. Не за то, что маленький, какой-то особенный, а без всякого повода-довода. Я заметила, что любовь всегда достаточна, если необходима, у неё собственная величина — полнота. Разве существует единица любви для измерения её веса, объёма, скорости и других количественных и качественных характеристик? Меньше или больше может что-то нравиться. Поллюбить сильнее, как и отговорить себя от напрасного обожания, не в нашей воле. Кто любил, со мною согласится, остальных отсылаю к Соократу с Платоном и Аристотелю. Учёные мужи рассуждали вполне серьёзно о никчёмных, как сейчас почему-то считается, «женских» вещах. Не знаю, убедила ли я приятельницу, но она задумалась, а это уже кое-что.

Итак, ночь и луна. Я люблю поспать, но в ночной тишине мне лучше думается. Перефразируя Аристотеля, я себе друг, но истина дороже. Обратите внимание, Аристотелю было всего семнадцать, когда он рискнул возразить шестидесятилетнему Платону. Учителю, а не только другу. Завидная смелость и отнюдь не безрассудная.

Мы же врем на каждом шагу. «Ах, как вы прекрасно выглядите!» «Никогда не пробовала ничего подобного!» «Помоему, он от вас без ума!» Врем и знаем, что врем, и те, кому врем, тоже об этом знают и врут, умиляясь заведомому вранью. Я не призываю вас резать правду в глаза, из которых от этой правды потекут горькие слёзы. Скажите что-нибудь безобидное, ласковое или же промолчите. В любом языке столько искренних слов, столько раскрытых возможностей! Ей-богу, и себя научитесь уважать, и к вам прислушаются, если не с уважением, то с любопытством. На худой конец прослывете оригиналкой, как я.

Ночью вопросы встают вместе со мной с дивана. И ходят, ходят, то забегая вперёд, то отставая, в зависимости от того, как двигаюсь: легко, не сбиваясь с шага, или волоча отёкшие за день ноги.

Нужны ли жертвы? Ещё один «женский» вопрос. Постоянно приходится чем-то жертвовать, если думаешь о других. Например, не хлопать дверьми, когда кто-то спит; отложить занятую книгу, чтобы заняться глажкой; променять размышление на чистку картофеля с размышлением, «ручки-то свободны», как сказала жена одного математика, ломавшего голову над какой-то вшивой теоремой типа Ферма. Ох, уж эта домоседная мудрость...

Жертвы нужны. Людям, с которыми живёшь, соседствуешь, делишь город, страну, время. Птицам, зверью, гадам, что обитают там, куда ты сбежал от людей. Тебе самому, даже когда никого рядом нет, потому что ты многоклеточный, меньше двух желаний у тебя не бывает. Собственно, выбор и делает человека человеком.

Есть жертвы добровольные, о них и речь. Есть насильственные, бессмысленные: гибель мирных людей на войне, истребление инакомыслящих, издевательство над детьми. Такие жертвы опасны и для тех, кто их требует. Рано или поздно придётся за них ответить, расплатиться гораздо большей ценой. Не верьте, что негодяи умирают естественной смертью. Их убивают их же грехи. А может быть, умереть со спокойной совестью — высшая цель жизни. Как достойное завершение предпринятого труда. Лично я в загробное царство не верю.

Вредно ли баловать детей? Так мы устроены, что не гордимся ничем заслуженным: отдыхом, уважением, славой. Это плата за примерное поведение или компенсация за понесённые убытки. А баловство — праздник, нечаянная радость, то, что запомнится на всю жизнь. Заработанное, то есть купленное ценой усилий, в лучшем случае доставит удовлетворение, но удовольствия от него на грош.

Мои родители, мама и тётя (не смейтесь, кто вырастил, тот и родил), баловали меня по-царски, и это дало мне уверенность, что дорого стою, другими словами — чувство

собственного достоинства. Оно редко бывает врождённым, потому что как всякое сознательное чувство формируется и культивируется. Важный момент: баловали любя, с запасом, понимая, что так безоглядно никто не будет любить. Сама дочь и мать, знаю, что говорю.

Подруги предостерегали: берегитесь, вырастет эгоисткой, стакана воды не подаст. Те не боялись и хорошо делали — в любви не бывает счёта, любят всегда без меры, больше, чем надо. А кто знает, сколько надо? Макаренки, Сухомлинские? На весах только пайки развешивают, а не подарки.

Между прочим, подруги, те самые, что правильно воспитывали своих детей, состарились в одиночестве, а мои, неправильные, до последнего дня жили со мной. И не потому, что я какая-то исключительно добрая и благодарная, а такая же, как они. Каждый воспитывает себе подобного, передавая ему привычки, черты характера, образ мыслей и даже социальный стереотип. Живой пример доказательней выдержек из чужих писем и педагогических поэм.

Это не назидания, это мысли длинных ночей.

Что ещё пожелать домоседкам?

Агукайте, радуйтесь крошечным существам, пробуждая в них потребность любить и быть любимыми. Нежный голос, восторженная улыбка нужны им не меньше тёплого молока и чистых пелёнок. И помните: женское дело — великое. До этого ни один шекспир не додумался.

# СВОЙ

Гришу Янкелевича считали сумасшедшим и многое прощали ему. Он был пьяницей, бабником и матерщинником. Он говорил всё, что хотел. Вдобавок он был евреем. Как будто ему было этого мало. Шутка старая, но что нового в том, чтобы быть евреем? В огромной стране, занимавшей когда-то шестую часть суши? С населением, три четверти которого лишены чувства юмора?

Гриша не скрывал, что он еврей, наоборот, гордился своим древним происхождением. Особенно громко, когда заливал глаза. Иногда его за это били. Чаще он сам лез в драку.

У Гриши была широкая натура. Именно та, которую мы называем русской. Он готов был отдать последнюю рубашку, чтобы помочь незнакомому человеку опохмелиться. Пожертвовать «мордой лица», отстаивая честь оскорблённой женщины, не желающей отдаваться за рупь.

Он работал сразу в трёх местах: плотником на колодочной фабрике, фрезеровщиком на ремонтном заводе и художником в паровозном депо. Кроме того, на добровольных началах тренировал пэтэушников (шахматы и футбол) и бесплатно давал юридические консультации.

Худой, горбоносый, с горящими глазами, он носился как дух над водою, всё сметая и созидавая на своём пути. На его энергии могли бы работать не только электростанции, но и подстанции, и ветряные мельницы всего Краснодарского края. Дело, как понимаете, происходило там.

И вот кому-то понадобилось от Гриши избавиться. Но культурно, без крови иотягчающих обстоятельств. Вроде как сделать его полноценным членом нашего, мягко говоря, неполноценного общества.

Первым вызвал его на ковёр директор колодочной фабрики. В ходе невнятной беседы заметил, что из Гриши бы вышел неплохой бригадир, завяжи он с пьянством.

— «Да будь я и негром преклонных годов!» — взорвался Гриша.

— Чего, чего? — оторопел директор.

— Они же козлы! Всю дорогу бухают и анекдоты травят. Кого я поведу к трудовым победам?

— Цыть! — рявкнул директор. — Чья бы зюзя мычала!

— Мои колодки самые точные, — с достоинством отвечал Гриша. — Я брак не гоню. А выпиваю в свободное от работы время.

— Ты погуляй, погуляй ещё, и времени у тебя будет хоть завались!

— Вы инкриминируете мне заслуженный отдых? Мне, единственному гегемону в этой шарашке? По какой же статье вы меня уволите?

— А это уж не твоё дело, — побагровел директор. — Даю две недели сроку. Не уложишься, пеняй на себя.

На следующий день за Гришу взялся начальник паровозного депо.

— Твоими транспарантами я доволен, — заявил он с пугливой прямоотой, — а этих вот... художеств не одобряю. Вчера опять устроил в пельменной дебош: сломал стул, обматерил официантку. И хай-то поднял из ничего, из принципа. Что скажешь на это?

— Во-первых, стул был дефективный, держался на двух винтах. Во-вторых, сломали его об меня. В-третьих, Люська ругается, как завещал Ленин, нам у неё учиться, учиться и ещё раз учиться. А в-четвёртых, я защищал не какие-то говённые принципы, а права человека. Моего друга, честного алкаша, обозвали мусором! Да за это убить мало!

— Я тебя предупредил, — оборвал Гришу начальник. — У тебя тридцать два привода в милицию. Или кончай выпендриваться, или пиши заявление об уходе.

На ремонтном заводе с ним и говорить не стали. Перевели в отстающую бригаду и повысили норму. Пэтэушникам временно запретили играть в футбол, и те, обидевшись, отказались от шахмат.

Через две недели Гриша отовсюду уволился сам. Затем исчез. Вскоре по городу разнёсся ужасный слух: Янкелевич застрелился. По секрету передавали текст его предсмертной записки, в которой он сообщал, что как представитель великой нации и советский офицер он не может мириться с проявлениями оголтелого антисемитизма и просит рассматривать его самоубийство в рамках вынужденного протеста.

Про то, что Гриша офицер, никто не знал, а также — где и с кем жил, какие идеи вынашивал. Всегда у всех на виду он был настолько своим, что на него не обращали внимания, как на вечный огонь, бьющий в аллее героев, или водонапорную башню, что колом торчала над городом.

Мы хотели проститься с Гришей, но его похоронили втихую, как у нас хоронят больших поэтов и крупных рецидивистов. Искали могилу на кладбище, но не нашли.

Позже выяснилось, что застрелился другой Янкелевич, майор авиационной базы. Как проводилось следствие, чем оно кончилось, неизвестно, но еврейский вопрос был поднят и как будто решён.

Куда подевался Гриша, осталось загадкой. Может, уехал на Север, возглавил пушную артель, остепенился и ходит в ондатровой шапке. А может, перебрался в Израиль, где совмещает труд на благо родины и личную свободу со всеми её преимуществами и неудобствами.

Прошло много лет. Наша жизнь круто изменилась. Демократия всё расставила по местам. Правда, водонапорная башня торчит по-прежнему, и вечный огонь, с переборами, да попыхивает, и город стоит, как стоял. Но чего-то в нём не хватает.

# Гроб с музыкой

Я услышал эту историю не в поезде и не в очереди за пивом, где соврут — недорого возьмут. Рассказал её дед моего сокурсника, живший в глухой деревушке, затерянной в горах, и каждую осень привозивший ему в общежитие мешок орехов и канистру кизиловой водки. Всех участников драмы он знал наизусть, но никого из них не оправдывал и не осуждал, так как был человеком мудрым. И меня попросил не ахать, а внимательно выслушать и задуматься. Я обещал.

Вот она, эта история.

Дом Дауда считался самым богатым в деревне. И родители его были состоятельными людьми, и Дауд к старости приумножил доставшееся наследство. Он работал по дереву, выращивал виноград, гнал спирт, отменно выделывал кожу. Даже ткал ковры. Вернее, руководил процессом — с утра до позднего вечера за станками по очереди дежурили его жена и невестка. Единственный сын и старший внук тоже по мере сил участвовали в семейном промысле. Ко времени описываемых событий сын заведовал районной птицефермой, а внук, окончив десятилетку, ждал призыва в армию.

Так получилось, что повестка из военкомата пришла в разгар Даудова торжества: в окружении многочисленных родственников и соседей он отмечал своё семидесятилетие. Это случайное совпадение подействовало на него мистическим образом, потому что он, вдруг изменившись в лице, отозвал внука в сторону и потребовал купить ему гроб. Доводы были такие: я стар и вряд ли дождусь твоего возвращения, мне будет приятно лежать в гробу, подаренном тобою, моим любимцем. Вконец потерявшийся внук пытался его отговорить,

но, в конце концов, согласился, зная по опыту, что деда не переспорить.

Чуть свет, чтобы не вызвать в деревне лишних толков, он отправился за «подарком» в райцентр и поздним вечером доставил его домой. Пришлось позвать на помощь отца, так как на пару с дедом они не смогли поднять тяжёлый дубовый гроб. Втроём кое-как стащили его в подвал, задвинули в угол и плотно накрыли рогожей. И забыли о нём.

Проводив любимца, Дауд и впрямь захворал и, промаявшись около года, умер. Внуку тотчас отбили срочную телеграмму, и на следующий день он уже плакал над гробом деда. Отерев слёзы, увидел, что гроб не тот. Отец шёпотом объяснил, что по родовому обычаю гроб покупают не члены семьи усопшего, а близкие родственники или друзья. Не мог же он им сказать, что ещё до смерти отца обзавёлся этой штуковиной, такого позора он и сам бы себе не простил, не то, что другие.

На третий день, как положено, деда похоронили и справили поминки, приличествующие его достоинству и достатку. Больше всех убивался внук, из-за того, должно быть, что неприятно деду лежать в чужом гробу. Не усидев за столом, он спустился в подвал и принялся разносить топором ненавистный ящик. Едва треснуло днище, раздался адский звон и полыхнуло пламя. От ужаса он закричал не своим голосом.

На шум сбежались гости и домочадцы. И потеряли дар речи, хотя ничего сверхъестественного не произошло. В гробу сверкали рассыпавшиеся золотые монеты. Видно, Дауд соорудил двойное дно, чтобы спрятать и унести с собою в могилу семейные сбережения. Из любви ли к родителям или в качестве платы за перевоз в царство мёртвых...

Как бы то ни было, но тайна Дауда открылась всем.

Что добавить к этой истории? Многие мы предпочли бы не знать, но так уж устроен мир, что хорошее и плохое уживаются в нём на равных. Разница между ними в том, что и зло может учить добру. Было бы желание учиться.

# Кремень

В тёмном овраге жил кремень. С виду обыкновенный камень, а в сердце ему никто не заглядывал. Да и какое у камня сердце?

В лесу всё цвело и пело, чтобы цвести и петь, а потом увянуть и улететь. Жизнь шла по кругу, и в этом, наверное, был какой-то смысл. Кремень пытался его разгадать, но не мог.

Он много чего не понимал. Зачем возвращается волк к голодной волчице? Почему соловей рыдает, когда рядом нет соловьихи? Отчего, увидев коршуна, селезень окликает утку? Что их тянет друг к другу? Разве плохо быть одному?

Мимо шёл человек и подобрал кремень. И бросил его в рюкзак. Там было темно и тесно от сваленных в кучу вещей, но сквозь них пробивалось такое беспомощное сиянье, что у кремня защемило в груди. Он почувствовал себя волком, селезнем, соловьём и ринулся на защиту своей половины.

Человек долго топтал рюкзак, сбивая пламя. Потом переложил кресало в карман плаща, а кремень зашвырнул в кусты.

От горячей обиды кремень перегрелся, но вскоре остыл. И не заметил, как оброс мхом и перестал видеть и слышать. Но ему вдруг открылся смысл жизни. Тоже не знающей смысла, но идущей по кругу в надежде найти его.

# Манюня

Она всегда была маленькой. И родилась семимесячной, и плохо ела, и плохо росла. Маленькой и осталась, несмотря на свои пятьдесят с копейками, а то и больше — кто сколько даст.

Издалека её можно принять за подростка: ходит быстро, не горбится, и лицо не старушечье, и седые волосы не выбиваются из-под панамки. Смотрит она недоверчиво, снизу вверх, а улыбается легко, едва с ней заговоришь или просто встретишься взглядом. Никто не знает её имени-отчества, зовут Манюней, она и отзывается. Иногда какой-нибудь воспитанный клоп величает её «бабой Манюней», да ещё Верка-оторва из двухэтажки обзывает «Манюнькой». Всё равно получается уменьшительно-ласково, вроде как по-домашнему, и ей это даже нравится.

Мать её умерла вторыми родами, и пятилетней Манюне пришлось нянчиться с братом. Отец работал машинистом на железной дороге, домой приходил помыться и отоспаться, так что не только братец, всё хозяйство лежало на ней. Соседи, конечно, помогали, но от случая к случаю — хватало собственных бед. Время было холодное, голодное, послевоенное: ни дров не достать, ни картошки, хлеб и то отпускали по карточкам. Отцу как железнодорожнику полагалась подвода дров и десять ведер угля, но на всю зиму не растянешь, топили через день, через два. Ну и кашляли, то поврозь, то хором.

В школу она пошла поздно, в девять лет с половиной — не с кем было оставить Ванечку. Учёба давалась ей с трудом: путалась в буквах, цифрах, да и слабенькая была,

часто засыпала на уроках. Уважать её было не за что, а жалели все, от директора школы до второгодника Витьки Гребенникова, ходившего за ней по пятам как ангел-хранитель. Стыдясь непрошеного внимания, она робела ещё сильнее: жалась в углу, на вопросы отвечала шёпотом, односложно, «да» и «нет»; не дождавшись конца уроков, сбегала домой, всеми правдами и неправдами отбиваясь от мероприятий, которыми кишела школьная жизнь. За компанию с ней удирал и Витька, неисправимый прогульщик и друг. Оставшись вдвоём, они смеялись, дурачились, что-то выдумывали. Манюня словно приходила в себя и другими, понимающими глазами смотрела на Витьку. Ради него и засела за учебники, чтобы самой подтянуться и его за собой потянуть. Витька, редко кому уступавший, с радостью подчинился, лишь бы не расставаться с ней. На пару стояли в очередях, зубрили всякие «Мцыри» и PR-квадраты.

Худо-бедно кончили семилетку, устроились на работу: она — ученицей кассира на вокзале, он — весовщиком на товарном дворе. Взрослая жизнь им сразу понравилась. Витька был рослый, крепкий, пуды поднимал шутя и в уме считал без ошибок, так что пришёлся ко двору. Довольна была и Манюня. В кассе чисто, тепло, знай себе щёлкай на счётах да выдавай билеты. Под рукой толстенные справочники, где цены и расстояния точно указаны, всего-то и требуется, что внимание да характер. Характера, правда, не было. Не умела она осаживать пассажиров, ни тех, кто канючил, выпрашивая билетик, ни тех, кто скандалил, требуя жалобную книгу. За неё это делал старший кассир Томарев, инвалид войны. Грузный, шумный, он скакал от окошка к окошку на костылях, поджимая правую культю, и одним своим грозным видом затыкал обидчиков и надоед. Со мною не пропадёшь, подбадривал он Манюню, я на земле крепко стою, на трёх ногах.

После работы, поужинав, отдыхали. Прихватят Ваню — и в парк, послушать лекцию о международном положении или духовой оркестр, а по выходным дням — на речку. Начали подумывать и о совместной жизни: купили складчину стол, два венских стула.

Лето пролетело незаметно, а в сентябре Витька утонул, спасая в реке мальчишку. Того, слава богу, живого вытаспили, а Витино тело долго искали — отнесло течением за километр.

Манюня с горя как поглупела, ничего не могла взять в толк. Про дом, работу, про всё забыла. Лежала на кровати, накрывшись железнодорожным кителем, выданным Вите с профсоюзной скидкой, и смотрела на классную фотографию. Во дворе их снимали, на фоне только что построенной библиотеки. Витя стоит в последнем ряду, выше всех на голову, она сидит в первом, на стуле и трёх учебниках, самая маленькая. Хотели сняться рядышком, но фотограф не разрешил, сказал, что они друг другу неподходящие. Напрасно его послушались, хотя бы на карточке вместе остались.

Потом разбился отец. Где-то на перегоне врезались они с кочегаром в брошенную на пути дрезину, и обоих смяло в лепёшку. Хорошо, что успели затормозить, спасли вагоны и пассажиров.

Пенсию за отца назначили пустяковую, перебиться можно, а жить — никак. Попросилась назад в кассу, но на её месте уже работала новенькая. На литейный завод Манюню не взяли по росту — не достаёт до станка; на ватной фабрике предложили таскать тюки — через неделю сама уволилась.

Пошла по людям: кому постирать, кому печь побелить, кому убраться. Тоже не деньги, да и толку от неё, надо сказать, было немного. Старалась изо всех силёнок, но быстро уставала, прямо падала с ног. Это так огорчало Манюню, что хозяйки принимались её утешать, а то и задаривать всякими вещичками. Портниха сшила ей платье из выгданных лоскутов, полковничиха отдала старую этажерку,

а докторша и вовсе расщедрилась — вручила непочатые духи. Назывались они «Северное сияние», золотые бумажки на серебряной этикетке и кручёный, тоже золотой, шнурок вокруг горлышка, укутанного папиросной бумагой, чтобы не улетучились, пока на прилавке стоят, такие не скоро купят, видно, что дорогушие.

Когда выдавалась свободная минутка, Манюня обхаживала соседскую бабку Варву, еле передвигающуюся с помощью ходунка. Года три назад она упала с крыльца и вывихнула бедро. Кость будто бы вправили, да нога не слушалась, волочилась. Бабка сама смастерила себе ходунок из табуретки: удлинила ножки, подбила резиной, приладила две поперечины для локтей и наловчилась с ним управляться.

Характер у Варвы был, что говорится, не дай бог. Неуступчивая, вечно чем-то недовольная, она словно не жила, а насмерть сражалась с жизнью.

Однажды Манюня рассказала ей про свои несчастья, просто так, не прося ни совета, ни одолжения. Варва молча выслушала её, но не расстроилась, а обрадовалась, и сказала совсем уж неожиданное:

— Мучайся, мучайся, ослобоняй свою грешную душу! Скобли её, как закопчённую миску, три песочком, споласкивай кипятком, чтоб нагар и зараза от стенок отлипли. А как домучишься до белого блеска, так и сойдёт на тебя благодать.

— А какая она, благодать? — обмерев от страха, спросила Манюня. — Вдруг сойдёт, а я не пойму или с чем другим спутаю.

— А это как день и ночь, не обозначаешься. Сама объявится в положенный срок.

— Кем положенный?

— Ну и дура ты! — рассердилась бабка. — Богом, кем же ещё! Он один и ведаёт благодатью, вроде завмага на раздаче сидит, но отпускает по совести, а не по благу.

— И тебе отпустил?

— Дак жду. Зубы съела, нутро, а всё никак не подохну. Видать, задолжала без меры.

— А мера Божья или у всех своя?

— Тьфу ты! Я ж тебе не приёмная горсовета, чтоб все буковки расталдыкивать! Есть у тебя голова али нет?

Манюня и задумалась. Если Бог всегда прав, то, наверное, он добрый и мудрый. И люди, которых он сотворил по своему подобию, не могут быть злыми и глупыми. Тех же, кто по недоумию делает дурости либо подлости, Бог наказывает, чтобы они исправились. Но смерть — не наказание, ведь мёртвые ничего не чувствуют и уже не раскаются. Да и в чём были виноваты мать, отец, Витечка? Выходит, она наказана вместо них. Какая тут, спрашивается, справедливость? А если ни в мудрость, ни в доброту, ни во что не верить, для чего тогда мучиться?

В ту ночь ей приснился сказочный сон. Кто-то не сверху и не сбоку, а как бы отовсюду сказал ей внятно: «Иди в гору». Она не стала спрашивать, где эта гора и зачем ей туда идти, а всё бросила и пошла. Шла, шла и очутилась в диком поле, поросшем чёрной выгоревшей травой, в которой что-то ползало и шипело. Не успела позвать на помощь, как выросло перед ней изваяние: небольшого росточка, без глаз и губ, но с носом, руки сложены на животе, ног и вовсе нет, стоит столбиком. Каменная баба, догадалась Манюня, и та со вздохом отозвалась: «Ага».

— Тоже в гору идёшь? — спросила Манюня.

— Иду, подруга, иду.

— Ходят ногами, а ты без ног.

— А я мыслечками, по воздуху, они же лёгкие, — засмеялась баба. — Подлечу к верхотуре, покручусь по сторонам, и назад, тем же ходом.

— А зачем тебе это?

— Надо же на себя посмотреть, что я за чудо такое.

— Ты же безглазая.

— А я мыслечками, они у меня глазастые.

— Ну и что ты такое?

— Да баба! Трусливая, неповоротливая, ко всему при-  
выкшая. Но это и к лучшему, иначе бы я не сдюжила.  
Поле на мне держится, свалюсь — и всё без меня попадает.  
Кругом-то пусто, не на что опереться.

— Но гора во сне — это горе.

— Что ж с того! Чем выше гора, тем виднее с неё.

Дай и я попробую мыслями подлететь, подумала Манюня,  
но мыслей не было, одни желания да фантазии. Это потому,  
что я не каменная, решила она, страшно мне от живого мяса  
оторваться, а ну как потом не вернусь в себя и придётся ски-  
таться да побираться по чужим домам. Поклонилась она бабе,  
поблагодарила за науку и зашагала дальше.

А поле бескрайнее, непоправимое, всеми четырьмя сто-  
ронами упирается в небо, и кроме, как вверх, никуда не  
уйти. Только на горку нацелилась, смотрит — а перед нею  
стена. Тоже прочная, каменная, почерневшая от времени,  
не очень высокая, но вросшая в землю корнями, как тыся-  
челетнее дерево. За нею ни города, ни двора, для которых  
возводятся стены — отдельно стоит, но была когда-то ча-  
стью большого целого, не могла же возникнуть сама собой.

Манюня сквозь сон понимала, что можно стену пере-  
хитрить, обогнуть, но сердце подсказывало, что надо идти  
напролом, не то она будет снова и снова вставать на пути.  
Попыталась влезть — не удалось, ботинки соскальзывают  
с обомшелых камней, а перепрыгнуть боязно, недолго и шею  
свернуть. Но страсть как хотелось ей одолеть стену, и она раз-  
бежалась раз, другой, третий, пока с размаху не бросилась на  
неё. И стена рассыпалась, точно соломенная, разлетелась кло-  
чьями, и очутилась Манюня на вершине горы...

Как ни крутила она этот сон, как ни прикидывала что  
к чему, а не додумалась, что же он означает. То и почувство-  
вала, что живая, и легче стало дышать. К вечеру до того рас-  
храбрилась, что пошла в кино. «Волгу-Волгу» показывали,

все хохотали, и на неё смех напал. Потом чуть не разревелась — Витечки нет, а она, бесстыжая, зубы скалит.

Вообще-то Манюня любила смеяться. Жаль, что мало весёлого было в её жизни. Иногда встречались удачные шутки в отрывном календаре, в очереди дядька сморозил: «Да какая, к чертям собачьим, родня! Моей Марье его Катерина — двоюродная Прасковья». И сама Манюня порой попадала в уморительные переделки. Раз сорвалась со стремянки, когда белила потолок у милиционерши, но упала точнѐхонько на четвереньки, прямо как кошка, вот смеху-то было, чуть животики не надорвали. Обычно же заедали заботы, некогда разогнуться, не то что чудить. Вѐдра, тряпки, красные руки, голова тяжѐлая и пустая одновременно.

Брат рос упрямым, требовательным. То портфель ему подавай какой-то особенный, с двумя замками, то китайскую ручку с золотым пером. Башмаки и штаны горели на нём, не успевала чинить и штопать. Учился, правда, без троек и огород копал, и дрова рубил, но делал как бы в отместку: мол, у тебя ничего не получается, а у меня — легко. Окончил машиностроительный техникум, стал мастером цеха, поступил на заочное в институт, получил квартиру, женился. На свадьбу не позвал, да она бы и отказалась — ни выходного платья нет, ни приличных туфель. Давно мечтала о сумочке, настоящей, кожаной, с какой не стыдно и в гости пойти, и в парк, и в гастрономе небрежно щѐлкнуть замочком, вынимая несмятую трѐшку. Так и не купила, пожалела денег на себя. Ходила с брезентовой кошѐлкой, а рублики с медяками, завернув в носовой платок, держала за пазухой.

Ваня редко заглядывал к ней: осенью с мешком картошки, на Новый год с кульком конфет, на майские праздники тоже с каким-нибудь съедобным подарком. Говорить им было особенно не о чем; посидят, попьют чайку и «ну, я побежал». Вечно он куда-то спешил.

Однажды всё-таки привѐл жену, познакомиться. Симпатичная женщина, только очень крупная, живот на коленях

лежит. Оказалось, ребёнка ждут и беспокоятся, где им няню найти. Бросить работу Клаве никак нельзя, она в горисполкоме незаменимый человек, и секретарь, и машинистка, весь бумажный поток через её руки идёт. Манюня ещё не дослушала, а уже обмерла от счастья:

— А я, а я-то на что!

— Вот и ладно, — заусмехался брат, — будет тебе забава. — И, взглянув на часы, добавил: — О деньгах не думай, всем необходимым мы тебя обеспечим.

Манюня тогда чуть умом не тронулась, даже поцеловала Клавку в живот. И забегала, замоталась по магазинам, лавкам, окрестным станицам, добывая батистовые пелёнки, детские книжки, парное молоко для будущей матери, чтобы дитёнок ещё до рожденья в силу вошёл. Свои долголетние накопления спустила не охнув — о чёрном ли дне печалиться, когда красный настал?

Усталости она не чувствовала, радость перекрывала всё. Бывает же, что с утра небо затянуто толстыми серыми облаками, и кажется, что вот-вот польёт дождь и день будет испорчен, но откуда ни возьмись налетит ветерок, и в мгновение ока расчистится синева, яркая, солнечная, живая. Эта картинка нет-нет, да и вставала перед нею, и Манюня взаправду щурилась и улыбалась.

Покончив с чужими уборками, выскоблила свою избушку от подвала до чердака, покрасила полы, наклеила обои, сшила занавески с оборочками, не хуже, чем у врачихи. Похвасталась Варве, как чистенько стало в доме, как светло на душе, а та помотала своим печёным лицом и отрезала:

— И-и, простота ты бесплатная... такая тебе и цена!

Манюня, ничуть не обидевшись, рассмеялась, обняла вредную бабку.

— Раз нету цены, то бесценная, никто не купит и не продаст.

И брату помогала хозяйничать, когда Клава легла на сохранение, и передачи носила ей, и три дня стояла под окнами больницы, пока Пашенька нарождался. А как узнала, что мальчик здоровенький, три кило с половиной, и мать в порядке, так расчувствовалась, что, забыв про автобус, помчалась к Ванечке на ремонтный завод, через семь остановок.

В тот день она впервые напилась. Брат принёс бутылку водки, и Манюня залпом выдула полстакана, а закусила хлебом с горчицей, другой еды не нашлось. Поздравившись, надумали отправиться в кино, чтобы вышел всем праздникам праздник. Что было потом, она не помнит. Проснулась дома, на кровати, в пальто и ботинках, зато не какой-то Манюней, а родною тёткой своего родного племянника.

Как она тряслась над ним! Каждую капельку молока, не попавшую в рот, тут же промокала стерильной марлей, растирала холодные ручки, сдувала со лба волосики, чтобы не мешали сиять синим глазкам, часами агукала, вызывая его на разговор. Не то что целовать — дышать на него боялась, тёрлась щекой о его шёлковую головку, а чмокала только в попку да острые пяточки. Если не спал, пела песни, рассказывала сказки, и не какие-то книжные, а собственные, придуманные на ходу. Пашка слушал внимательно, словно всё понимал, шевелил губами в ответ, двигал ручками — ну не диво?

А сколько было восторгов, когда встал и пошёл, выговорил первое слово, и не «мама-папа», а «нюня», Манюня то есть. А как она таяла от умиления, когда он, набесившись, вдруг подбегал к ней и потным личиком зарывался в её колени...

Клава нервничала, забирая его — не хотел домой, цеплялся за тёткину юбку. От ревности и придиралась к Манюне: не так причесала, не тот костюмчик надела, напрасно дала конфету. Манюня молча кивала, боялась её рассердить.

Вечерами не находила себе места; дом без Пашеньки казался пустым, вещи — чужими, и даже из воздуха уходило тепло. Манюня собирала разбросанные игрушки, стирала маечки, подштопывала носочки, чтобы думать о Пашеньке и уснуть с этими мыслями. Она уже не могла без него.

И, действительно, чуть Богу душу не отдала, когда Пашеньку от неё оторвали. Понимала, что в детском саду он чему-то научится, веселей ему будет среди детей и полезно — не вырастет эгоистом. Но кому и когда становилось легче от пониманья? Сердце болело и ныло, и вновь застилали небо тяжёлые низкие облака.

К брагу с невесткой Манюня почти не навевывалась, чувствовала себя лишней в их доме. Гнать не гнали, а тяготились: включают ей телевизор, сунут в руку пряник и сиди-грызи, а сами на кухне свои государственные дела обсуждают. И Пашенька стал дичиться, отвык от неё.

— Опять одна? — участливо спрашивали соседки.

— Однее не бывает, — честно отвечала Манюня.

Варва несколько раз приходила к ней «посидеть рядом», чтобы скрасить её тоскливые, никому не нужные дни. Однажды всплакнула и вновь огорошила:

— Вот ругаю тебя, ругаю, а сама ж тебе и завидую. Кидает тебя жисть, бьёт чем ни попадя, а ты всё терпишь, не мечешься из стороны в сторону, идёшь себе прямо, будто по белой линии. В Бога не веруешь, а живёшь по-божески, за то Он тебя и любит.

— Спасибо, бабушка, — растрогалась Манюня. — И ты не мучайся. Деток вырастила, родителей схоронила, никто от тебя не зависит, свободная ты. Может, это и есть благодать?

— Кабы знала, была бы уже в раю, — буркнула бабка.

Что же делать, спрашивала Манюня, шагая из угла в угол по прибранной выметенной комнате, куда пойти, где спрятаться, чтобы только не видеть этих оборочек, этих венских стульев.

У неё и раньше не было ни подруг, ни ухажёров, не заводить же их на старости лет? Да и кому захочется пройтись по улице, посидеть на лавочке в парке с такой, как она, неказистой, необразованной? Одежду и обувь покупала в «Детском мире» (и дешевле, и не доросла до взрослых размеров). В школьных ботинках, сатиновой блузке, глаженной-переглаженной плиссированной юбке и вовсе выглядела недомерком. Читала что попадётся, урывками, рассуждать не умела, спорить стеснялась. Какая из неё подруга, какая невеста?

Сватался к ней один безрукий — забоялась его протеза с железным крючком. Всё норовил царапнуть её, вроде как посмешить и заодно попугать. И ругался нехорошо, со злостью, будто мстил за своё увечье. Откупилась бутылкой кагора и ковровой дорожкой.

Дважды закахивал пожилой вдовец: первый раз с корбочкой монпансье, второй раз с тремя детьми. Больше не появлялся, наверное, дети отговорили. На том и кончились её любовные приключения. В сорок лет мечтать о счастливом замуже глупо, о несчастном же — и в голову не придёт.

Манюня втайне надеялась, что брат с невесткой заведут второго ребёнка, и опять она им понадобится, но время шло, а молодые не торопились.

До Пашеньки она не чувствовала своего одиночества. Витя ушёл — остался Ваня, Ваня ушёл — привязалась к Варве, да набрала уборок на восемь дней в неделю. Вымоталась и успокоилась. Случались и разные приятные неожиданности: кто слово доброе скажет, подарит на Пасху яичко, кто рубль накинет, просто так, под настроение. По дороге от докторши к милиционерше, что жили в центре, частенько, особенно летом, Манюня сворачивала в детский парк. Покупала сливочное мороженое в хрустящем вафельном стаканчике и сидела на лавочке, угощаясь и тая от удовольствия. Летом в парке уютно от шума и зелени, тут и там продают газировку, играет музыка, крутится карусель...

И зимой кое-что перепадало. После Нового года Манюня украдкой притаскивала домой чью-то выброшенную во двор ёлку, наряжала её конфетными фантиками, ватными шариками-гирляндами и зажигала свечку на подоконнике. Выскочит, полюбуется на светящееся окошко, на ёлочку — и бегом назад, словно в гости к себе пришла. «Здравствуйте, проходите, не разувайтесь, я потом подотру». «Ну, рассказывайте, чего у вас хорошего». «Вот пышки, сама пекла, вот коврижка... ой, что вы, конечно же, покупная, из новой кулинарии». «Чайку? А может, вишнёвочки? Праздник ведь, можно и выпить!»

Насмеётся и прыг в постель. Закутается с головой в лоскутное одеяло, надышит тепла и давай мечтать, как сошьёт себе в ателье шёлковое платье, купит туфли на каблучках, что сразу прибавят росточку, и обязательно — сумочку, светло-коричневую, мягкую, плоскую, чтобы носить под мышкой и не бояться, что обворуют, и махнёт на юг, где море, пальмы, верблюды. Или выход голосу даст: завоюет по-волчьи, заверещит по-заячьи, исполнит какую-нибудь поросычью арию. А там и спать сладко, как наиграешься.

Не стало Пашеньки, и жизни не стало. И тотчас болячки пошли цепляться: то спину сведёт, то руки опухнут — что ни день, то новости. Чтобы и впрямь не свалиться, устроилась уборщицей в школу, где Паша учился. Сначала не признавал её, фыркал, потом начал здороваться, брать конфеты. Постепенно сдружились, и нет в том чуда, дети любят тех, кто их любит.

Недолго радовалась — перевелся брат на другой завод, и не где-нибудь неподалёку, а в Магнитогорске, восемь суток на поезде с двумя пересадками. Пашенька на прощанье расхлюпался, обещал писать. Не обманул, три открытки, присланные на Новый год, Первое мая и Седьмое ноября, стоят у неё на комодке в деревянных рамочках под стеклом.

С тех пор Манюня доживает свой век, отдаёт, как она говорит, остальные долги. По-прежнему ходит по людям, скучно ей дома сидеть и страшно — все вещи о счастье кричат: Витечкин китель, Ванечкины рубашки, которые она время от времени простирывает и снова вешает в шкаф, Пашенькины пинетки, игрушки, каракули... Деньги откладывает на сберкнижку, на что они ей? Сыта, обута и особых желаний нет. Пока ноги носят, носится, а там, что будет, тому и быть.

С утра мы стоим в очереди за колбасой, а она всё рассказывает, рассказывает. Устанет, вздохнёт, «вот такая жисть», и опять что-нибудь да вспомнит. Я не перебиваю её, пусть выговорится, выпустит птиц из клетки. Слова тоже рвутся на волю, крылатые и бескрылые, может, в них и живёт наша птичья непойманная душа.

Очередь длинная, еле движется, в гастрономе душно. Скоро перерыв на обед и придётся целый час переминаясь на солнцепёке, дабы не упустить это «даждь нам днесь».

— Спать хочется, мочи нет, — шепчет Манюня, припав ко мне, и медленно опускается на каменный пол. — Я сейчас, ты не бойся, у меня это часто бывает...

Нас обступают плотным кольцом.

— Женщине плохо!

— Дожились! Из-за паршивой колбасы подышаем!

— Да это, никак, Манюня?

— На воздух её, скорей! Чего вы копаетесь?!

Плечистый парень подхватывает Манюню и, рассекая толпу, идёт к выходу. Постепенно дыхание возвращается к ней, но она крепко жмурит глаза, притворяясь мёртвой. Шутка ли, её впервые несут на руках, ради этого и помереть не жалко.

# На сон грядущий

Греция — это сон, который сбывается, но его надо увидеть.

В детстве был у меня заветный синий мешочек. Небольшой, с ученическую тетрадь, ситцевый, в мелких ромашках, стянутый по горловине узкой ребристой резинкой. Обыкновенный мешочек и всё-таки непростой, а может быть, и волшебный. Весь год он где-то прятался, пропадал, но утром первого января всегда оказывался под ёлкой, туго набитый конфетами, мандаринами и грецкими орехами, завёрнутыми в золотую фольгу.

Мандарины съедались сразу, остальное залёживалось чуть ли не до следующей зимы, потому что тянучек-липучек я не любила, а орехи никак не могла разгрызть. Иногда удавалось расколоть их щипцами, но чаще я забывала про них. Однажды спросила у мамы, почему они называются грецкими, почему няня ругается ими: «хай вам грець», и узнала, что есть такая страна Греция, раньше звавшаяся Горецией из-за множества гор, и эти орехи попали к нам оттуда. Попало и няне, тяжёлой на руку и язык, и как-то связалось, что Греция — крепкий орешек, который не так-то легко раскусить.

Потом воссияло солнце-слово Эллада, ожили тени героев, кентавров, богов, зазвучали кимвалы, сиринксы, и на тёмном небе моего астрономического невежества взошли ослепительные имена: Аристотель, Сократ, Эхил. По ним, как по звёздам, я гадала о будущем, ориентировалась в настоящем, а повзрослев, затосковала по далёкому прошлому, навек утраченному, но продолжающему светить и посылать мне таинственные сигналы.

Греция захватила меня где-то на середине Троянского цикла. К десяти годам я уже прочла Майн Рида, Дюма и, как рыба в воде, плавала в море фантазий и приключений. Несколько вырванных из старой книги страниц, найденных в куче макулатуры, собранной нашим классом, перевернули мои представления о дерзости и красоте.

Отрочество — мистическая пора, самой природой предназначенная для рождения мифов, предчувствий, собственного, ещё незнакомого «я». Опыт архаики (эпохи самовзреления) в это смутное время особенно необходим. Греческие уроки усваиваются незаметно, не требуя школьных усилий, они просты и понятны, как здравомыслие и целомудрие. Кто из робких очкариков и отчаянных сорванцов не мечтал быть бесстрашным Гераклом, верным Патроклом, благородным Тесеем, побеждающим Минотавра? С этих воображаемых подвигов и начинается интерес к истории, страсть к чистописанию, любовь к литературе — воспитание чувств. Не случайно меня, замороженную пионерскими клятвами и трусливой уверенностью в завтрашнем дне, потянуло назад, к золотым орехам, зреющим на тысячелетних ветвях.

Отовсюду стекаются в Грецию любопытные и любознательные, и каждый ищет в ней что-то своё, по-детски надеясь на чудо. Мы только делаем вид, что любимся микенскими масками и коринфскими вазами — мы ждём от Греции узнавания, возвращения в потерянный рай.

Но где она, беломраморная Эллада? Осколки, руины, почерневшие фрески, пыль и копоть времён... Солнце и море — это всё, что осталось от Древней Греции. Кроме памяти. То есть знания о себе.

И тут возникает неожиданный поворот. Свернул с туристической тропы, забрёл в какие-то олеандры и трах! — приложился лбом к чему-то нерукотворному, словно выросшему из-под земли. Проморгался, глядь, да это ж грецкий орех! Высокий, раскидистый, весь пронизанный

светом, усыпанный гроздьями изумрудных плодов. И добраться до ядрышка хочется, и зубы жалко ломать, и пора бы определиться: лезть на дерево или ждать, пока желанный орешек сам к тебе упадёт.

Греки предпочитали действие. Они не боялись шишек и синяков, а боевые шрамы считали мужским украшением. Благодаря их увечьям и расцвела медицина, расширилась география, из разрозненных диалектов сложился единый язык. Достижения эллинов пригодились всем. А значит, и нам, прямым наследникам (в буквальном, буквенном, азбучном смысле) бесценного греческого опыта. Могла ли я не приложиться к нему хотя бы лбом?

Надо было увидеть Грецию. Заснуть, проснуться и убедиться, что чудо произошло. Это вполне по-гречески, да и по-русски — поверить, но попробовать на зуб, потрогать руками.

Отправились налегке. Без чемоданов и предотъездной паники: где раздобыть денег, с кем оставить детей, каким хитроумным, одиссеевым способом вынудить у начальства отпуск за свой счёт. В эмиграции нам впервые удалось обеспечить семью всем достаточным и необходимым, как шутят бывшие советские математики, раздобревшие на заморских хлебах. Муж профессорствовал в университете, я преподавала школьникам и продвинутым домохозяйкам русский язык, снимали чистенькую квартиру с гостиной, детской, отдельными комнатами для бабушек и — с ума сойти! — собственной спальней, днём превращавшейся в кабинет. Такая буржуйская роскошь и не грезилась нам, обитавшим в крысином полуподвале. Довольствовались чем бог пошлёт, но, пережив блокаду, землетрясение, закрытие русских издательств, школ, пулей вылетели из Армениии, из чёрных и белых списков, из всех рядов.

Почему в Париж, не в Москву, в Москву? В девяностых России было не до окраин, она сама от себя отбивалась.

Чужая родина приняла. Однако первый восторг («ой, какие цветочки!», «смотри, смотри, Нотр-Дам!») схлынул, и обнажилась утробная воющая тоска, ничего не желавшая понимать, а тем более — принимать.

— Ну и дыра, эта Франция, — жаловалась одна добрая самаритянка, прибывшая из Самары, — ни гречки нет, ни перловки, ни нашего творога, одни ça va? ça va! Осовать можно!

Выжить заново в сорок лет всё равно, что засесть за учебники в ночь перед экзаменом. Но кое-что запомнили, кое-как заговорили. Хаос потихоньку утрясся, всплыла Земля, образовалось Небо, Хронос затикал — время пошло.

Но ближе к делу. Афины, международный конгресс, муж в числе приглашённых докладчиков, может взять с собой аспиранта или секретаря (обычно берут жён или любовниц), поездка оплачена. Что тут раздумывать? Набили доверху холодильник, надавали ценных советов и вперёд, в потерянный рай!

Предполагалось, что в аэропорту нас встретят организаторы съезда. Приключения начались, едва мы спустились с трапа на благодатную землю, покрытую коркой растрескавшегося асфальта. Духота стояла отвесная, темнота — непроглядная. Долго ждали автобуса, переминаясь с ноги на ногу и дивясь на крупные, низко свесившиеся над нами средиземноморские звёзды. Наконец, потеряв терпение, двинулись вслед за экипажем к аэровокзалу. Никто к нам не подошёл, но вскоре по радио объявили, что оргкомитет приносит учёным свои извинения и просит их самим подыскать ночлег, так как в городе одновременно проводится восемь интернациональных конгрессов и гостиницы переполнены.

К счастью, коллега мужа, почтенный греческий математик, дал нам на аварийный случай адрес в Пирее, входящем в состав Больших Афин. Дом принадлежал его покойной матери и до времени пустовал, точнее, служил

пристанищем всем нуждавшимся в помощи этого великодушного человека.

Привокзальная площадь кишела частным извозом, пассажиров расхватывали, как горячие пирожки. Наслышанные о проделках жуликоватых греков, мы побоялись связываться с бомбилами и заняли очередь на стоянке, обозначенной шашечками прямо на проезжей части.

Объясняться с таксистом пришлось руками — мы не смыслили в греческом, он не знал других языков, но понимаяще кричал, кивал и через слово поддакивал: «о кэй», «мерси» и «давай». Обшарпанный «мерседес» с помятыми крыльями и вывернутыми стеклоподъёмниками показался нам душегубкой; вытянув шеи, мы жадно глотали горячий ветер, влетающий в полупущенное водительское окно. Два часа тряслись до Пирея и столько же плутали по заулкам, колдобинам, взгоркам некогда славного городка, защищавшего Афины с моря и до сих пор собирающего обломки знаменитых Длинных стен, выстроенных Фемистоклом.

Уже светало, и мы потеряли надежду отыскать спасительный дом, как вдруг шофёр крикнул: «Эврика!» и ударил по тормозам. Гениальное восклицание Архимеда, выпрыгнувшего из ванны и голяком пустившегося по улицам Сиракуз, той же волною выбросило и нас из машины, и ключ нашёлся, и дверь поддалась, в общем, открытие состоялось. Не помня себя от радости, мы рухнули на первую попавшуюся кровать.

Проснувшись, увидели, что в комнате не одни. На раскладушке похрапывал Данчо, наш болгарский друг; на диване, свернувшись калачиком, спала его дочь Майя, хрупкое нежное существо, похожее на подростка, но умница, археолог, без пяти минут кандидат. В потёмках мы не заметили, что на спинке кровати висят мужские рубашки, а на подушке сложен комплект чистого постельного белья. Выяснилось, что хозяин этого имущества явился домой позже всех и с удивлением обнаружил, что койка его занята.

Нисколько не растерявшись, он воспользовался софой, приготовленной для нас в смежной комнате.

Взаимные извинения разрешились смехом и чёрным обжигающим кофе, сваренным догадливой Майечкой. Устроившись на бортике высохшего фонтана, засыпанного землёй и превращённого в клумбу, мы наслаждались ароматом левкоев, свежестью утра, щебетом ласточек, чертивших в небе бесчисленные круги. Внутренний дворик с живописно валявшейся на траве медной и керамической утварью сверкал в лучах восходящего солнца; из соседних домов доносились звонкие женские голоса и стук посуды — намечался по всем приметам хороший день.

Эйфория (приподнятое греческое настроение, не соответствующее реальности) бурлила во мне, обостряя зрение, слух, наполняя живым объёмом картинки из моих «архаических» книг. В Греции должно было произойти что-то неслыханное, неопишное, никак не связанное с выдумками и предчувствиями. Интуиция выручала меня не раз, но нередко и подводила, во всяком случае, чаще, чем мне бы этого хотелось. Может, поэтому я не слишком доверяю сладким замираниям сердца и головокружительным виражам фантазии. Не прельщали меня и заповеди элевсинских мистерий, оракулов и легенд, это вечно-греческое метание между мифом и народной мудростью. Знала и то, что память о далёком прошлом приукрашена домыслами, подогрета пылким воображением, и узнать в теперешней Греции — молодую (древнюю) невероятно трудно, как разглядеть в столетней старухе её младенческую улыбку и круглые сияющие глаза. Вдобавок я не турист, смотрю не туда, не так и вообще путаю лево-право.

Но день наступил, «конгрессмены» отбыли на заседание; Майя, набив инструментами рюкзачок, уехала на раскопки в Плаку (старейший район Афин); словак, отрекомендовавшийся Осей, тоже куда-то уваялся. И мне не сиделось на месте.

К началу поездки я закончила черновой вариант романа о Пигмалионе и упивалась священным ужасом свободы и пустоты. Нужна была передышка, перезагрузка, да и рукопись должна была отлежаться, а напряжение последних трёх месяцев, круглосуточное, столбнячное, не отпускало, и я по инерции прокручивала в уме набранный текст и правила, правила, пересаливая борщи и пугая домашних внезапным хохотом (гомерическая реакция на острую мысль). Греческий климат подействовал на меня целебно: в голове прояснилось, вернулись инстинкты, внешний мир приобрёл отчётливые черты.

Спрятав ключ в тайнике, я прошла по окрестным улочкам, по-хозяйски отметив молочную лавку и груды арбузов, выложенных пирамидой на тротуаре, и петляющей тропкой, квартал за кварталом, спустилась к морю, мирно дремлющему среди валов. На галечном берегу уже загорала местная, судя по говору, публика, дети с визгом плескались в бесшумных волнах. Дикая пляж без кабинок и лежаков, отделённый от порта лишь мысом, не привлекал поклонников «звёздного» отдыха, сюда приходили с мамками, бабками, своими подстилками и пирогами, словно собирались большой семьёй.

Не успела я расстелить полотенце, как со мной поздоровались две пожилые женщины, игравшие с внуками в мяч. Я в ответ пожелала им радости, без которой не обходится ни одно греческое приветствие. Моя соседка, натирившая кремом годовалого карапуза, тоже что-то сказала мне и помахала тюбиком.

Отношение к детям и гостям в этом хлебосольном краю страстно-любовное: с ними носятся, возятся, словом, священнодействуют. Так повелось с давних пор и поныне считается, что ребёнок — гость в доме, а гость — ребёнок, и малых сих обижать нельзя.

Метрах в двухстах от берега зеленел островок, поросший мхом и колючим кустарником, явно необитаемый,

но вполне подходящий для заплыва. Когда-то я занималась плаванием и прыжками в воду, поэтому, ничем не рискуя, пошла на «рекорд». По дороге ныряла, рассматривая камни на дне, любовалась домиками на склоне горы, утопающей в кипарисах. Обогнув островок, перевернулась на спину, закрыла глаза и несколько минут отдыхала, прислушиваясь к пронзительным крикам чаек и рокоту прогулочных катеров. В какой-то момент заметила, что с пляжа наблюдают за мною, по-видимому, сомневаясь, дотяну ли до финиша. Перешла на кроль, чтобы доказать, что я ещё ого-го. Наградой мне были одобрительные кивки матрон и смущённое рукопожатие симпатичного старичка с биноклем, нечаянно наступившего на моё полотенце. Приятно, конечно, но греков не удивишь подобными подвигами, о человеке никчёмном они говорят: «Он не умеет читать и плавать».

С тех пор я каждое утро штурмовала остров, наращивая круги. После обеда, состоявшего из горшочка тцатцики (вкусной греческой простокваши) и арбуза с хлебом, мы с мужем бродили по живописным развалинам, музеям и редко — по улицам загазованных шумных Афин, отстроенных немцами в девятнадцатом веке. Парадные здания академий, театров с громоздкими статуями, тяжеловесные своды неоклассических колоннад, новомодные чудища из стекла и бетона казались насмешкой над памятью зодчих и гениальных ваятелей Древней Эллады.

Мы съездили в Дельфы и посидели на разбитых ступенях амфитеатра, где когда-то гремели Пифийские игры; взгрустнули у высохшего до ржавчины Кастальского ключа, источника поэтического вдохновенья; сфотографировались в обнимку с Омфалосом, «пупом Земли». Развалины первого греческого храма, посвящённого богу Солнца, молчаливо свидетельствовали о напрасных попытках человека победить природу и время. Площадка, густо

заросшая сорной травой, заваленная фрагментами опор, капителей, мозаик, напоминала поле битвы, усеянное костями. Но чудом сохранившаяся ротонда хранила следы былого величия, с орлиных высот открывалась необозримая даль: обрывистые дымящиеся ущелья, вершины скал, окутанные облаками, полоска синего моря, убегающего за горизонт.

Я впервые увидела жилистые агавы, похожие на гигантский столетник, потрогала неувядаемый лавр, из которого сплетали венки победителям состязаний в честь Аполлона. Описывать все чудеса и восторги не буду — вам не приснятся мои прекрасные сны.

На обратном пути мы сделали остановку в Фивах, тех самых, золотых, семивратных, сожжённых дотла. Не поленились, поднялись на горку, откуда Александр Македонский скомандовал уничтожить мятежный город, восставший против северных варваров. Двадцатилетний царь был умелым стратегом и тактиком, поэтапно решающим боевые задачи: разрушить оплот Беотийского союза, устрасить соседние государства и, завладев Афинами, поставить Грецию на колени. Преуспел. Македонца теперь величают греком.

Фивы так и не оправались от удара, превратились в бедное захолустье и довольствуются растительным (сельскохозяйственным) существованием. Стоявшая на пустыре приземистая церквушка, словно вчера построенная и выбеленная, являла тому пример. Мы вошли и — какво удивление! — очутились в просторном святилище, разубранном с византийской пышностью и благоговейным старанием, отличающем намоленные места. В полутьме, приглушённой коврами и кружевными занавесками, ярко горели свечи; вдоль стен мерцали лампы, освещая старинные образа в серебряных ризах; запах ладана и свежесрезанных лилий возносился, как дух, под шатровый купол, в надмирную тишину...

Кого же чтут потомки не разуверившихся фиванцев? Лица вроде знакомые, буквы тоже понятные. Так и есть, Кирилл и Мефодий, наши сводные церковнославянские братья! Получается, что и в гостях побывали, и дома отметились.

Поджидали автобус на трассе, где высадились посреди бесхозных кукурузных полей. Время тянется, солнце печёт, хоть бы деревце, кустик. Я пристроилась в тени экскаватора, брошенного на обочине. Рядом с ковшом поблёскивала монетка. Подобрала. На одной стороне — рассекающий волны парусник, надпись: «эллиника демократия», 1 драхма 1980 год; на другой — чеканный профиль Константиноса Канариса (кто такой, не знаю). Немного фантазии, и находка приобретает смысл: медяк во сне — к счастью, корабль на воде — к везенью, дата говорящая — год рождения младшей дочери. Неужели знак?

Четыре дня пролетели и вот — последнее утро. Светлое-пресветлое, чистое-пречистое. В такие безоблачные беззаветные утра начинаются великие битвы, совершаются гекатомбы, из пены морской рождается Афродита...

Улетали мы ночью и прощание с морем отложили на послеполуденные часы. Муж отправился «закрывать» симпозиум (целая церемония); я помчалась искать подарки для бабушек, дочек, друзей (тоже, скажу вам, обряд) и заодно заглянуть в храм Богоматери Скоропомощницы, Малую Панагию. Дважды пыталась туда проникнуть, но двери были закрыты и вокруг ни души. Эта церковка, маленькая, уютная, по-домашнему крытая черепицей, сразу заворожила меня. Не потому, что шедевр византийской эпохи, что нартекс, западный притвор, сооружён из блоков и рельефов раннегреческих монументов, а мраморная облицовка собрана из плиток семидесяти двух малоазийских церквей. Просто увидела и влюбилась. Кафедральная Панагия с её внушительной красотой, как ни

странно, не вызвала у меня бесконтрольных чувств. Акрополь, да, и древний Олимпсион поразили мощью и воображаемым благолепием, но Малая Панагия...

Увы, и на этот раз она не впустила. Из практических или эзотерических соображений, остаётся гадать. «Эзотерикос» означает сокровенное, доступное лишь избранным. Я не в обиде — званых в Греции и без меня хватает.

Покончив с делами и наскоро перекусив, мы собрали дорожные сумки и — здравствуй, море! — пошли прощаться.

Утренняя жара уже сменилась палящим зноем, асфальт под ногами плыл, серые полуобугленные эвкалипты с треском сбрасывали лоскуты сухой омертвевшей кожи. Ни малейшего ветерка, но чем ближе мы подходили к морю, тем легче было дышать — огромное водное пространство, наступая на сушу, подпитывало её, делилось живительной влагой. Не это ли равновесное противостояние навело Аристотеля на мысль, что метриопатия, не признающая крайностей, и есть главная добродетель? Хотя ещё Гиппократ говорил о влиянии климата и еды на характер человека — идеи носились в воздухе.

Пляж был пуст за исключением парочки храбрецов, обгоревших до поросычьего цвета. Приезжие, однозначно. Греки пережидают пекло в домах, за плотными ставнями, им некуда торопиться, до ноября успеют и накопаться и загореть.

Муж, сомлевший от возлияний, накрылся газетой и задремал. Разморило и меня, поэтому, поравнявшись с островом, я сразу повернула обратно. Мимо промчалась стайка мелких прозрачных рыбок (до свиданья!), сверкнули окна гостиницы, похожей на этажерку (и вам пока!), в порту раздался гудок отшвартовавшегося теплохода.

И вдруг мир раскололся, как грецкий орех, и я оказалась в его сердцевине, вязкой молочной мякоти с острыми перегородками, между двумя полушариями скорлупы: морским и небесным.

Что это, боже мой, что?

Сполохи огненно-красных, чёрных, жёлтых, жемчужных пятен, тысячекрылый, тысячеустый шорох, плеск... сотворение мифа? мира?

Над моей головой, почти касаясь лица, неслось что-то грозное, центробежно-стремительное, судорожное, как вздох, вылетевший из гигантской груди. Безумный цветной поток, затопивший небо от края до края, дробился, множился, отражаясь в отяжелевшей мутной воде. Ни просвета, ни разворота, всё — за гранью сознания и пяти внешних чувств, но настолько великолепное, торжествующе-грандиозное, что я, трусиха, не испугалась, рванулась вверх.

Это был перелёт бабочек.

Чудо длилось от силы минуту-две, промелькнуло и скрылось за верхушками кипарисов и ступенчатых крыш. Вновь просияло солнце, заволновалось море, а меня пробрал холодок: а если бы не удержалась, отлетела моя душа, ну не в рай, а в своё неземное, бестелесное существование? Древние греки недаром изображали Психею в образе бабочки, к бабочкам ей и тянуться, с ними и пропадать...

Волны ударили по губам и погнали к берегу, обжигая солью и колким йодистым серебром. Не пропала, не пропаду, руки-ноги на месте, и в груди нетерпение, хочется жить и радоваться — здесь, сейчас и всегда, везде!

Греция снится мне до сих пор, напоминая, что предчувствия не обманывают, надежды сбываются. А значит, и смерти нет.

# Он её любил

У попа была собака. Он её убил. Спьяну. Примерещилось, что в сарай забралась воры, он и пальнул. Откуда ружьё у божьего человека? Запил с чего? Где собака зарыта? Не знаю и не скажу.

Раз пошла я к чёртовой бабушке (своих нет, обе померли, царствие им небесное) огород копать да чердак трясти. Никто не звал, не посылал, сама пошла, то ли по дурости, то ли по жалости. Сына ейного где-то черти носят, а она беспризорная, хроменькая, никому не интересная. Из бывших. Да нет, не из тех, кто мешал нам революцию делать, а из этих, кто помогал на свою беду.

Ну, управилась с огородом, принялась за чердак. Дряни за семьдесят лет накопилось порядочно, одних квитанций и справок на пуд с гаком. В гаке том и нашла связку писем. Из них узнала, что любил чёртову бабушку тот самый поп. И она ему отвечала. Всё шло к свадьбе, но грянула коллективизация.

В сельсовете чёртова баба (ещё не бабушка) заправляла антирелигиозной пропагандой, и батюшка волей-неволей стал ей первым врагом. Потому и замуж за него отказалась и церковь прикрыла. Опечалился батюшка, заперся в доме и признаков не подаёт.

Промучилась чёртова баба ещё полгода и родила ребёночка. Тайно. Уж на что ушлый народ в деревне, а никто не пронюхал — перетягивала живот кушаком, в широченном тулупе ходила. Потом, чтобы ребёночек криком себя не выдал, поила его маковой водичкой, он и спал беспробудно. Всё бы ничего, да не удержалась, показала сына отцу.

Тот на радостях проболтался дьякону, дьякон — конюху, конюх — тёще, и понеслась благая весть по инстанциям. Её с работы, его в трудлагерь. У неё молоко и пропало. А вслед за ним и дитё.

Вернулся поп через двадцать пять лет. В церкви клуб, в его доме музей искусств: сопелки всякие, вышиванки, гусли-бубенчики. Выделили старику деревянной сарай с ружьём и собакой — достояние охранять. Тут любой запьёт.

Чёртова баба тем временем замужем побывала, сына вырастила, состарилась. Я повстречала её возле пасеки, помогла дотащить дровишки. Жила она на хуторе, в стороне от людей и дорог, кормилась тем, что выращивала на огороде и собирала в лесу. Мне тоже было несладко: сахар по карточкам, мёду на деток не напасёшься. С тех пор и заживала, просто так, недолго думая.

Теперь всё думаю, думаю. Не хочется к ней идти, а надо. Батюшка перед смертью просил.

# Ослиное счастье

Все комедии вышли из трагедий. Людям надоело плакать и они начали смеяться. Сначала друг над другом, потом над собой.

То же самое приключилось с историей, уставшей от войн и дворцовых интриг — трагические события прошлого она разыгрывает как фарс.

В сюжетах нет недостатка.

Жил-был царь. Имя его вошло в поговорку, потому что он был сказочно, неимоверно богат, а также умён и находчив. Вполне возможно, что он и пустил по свету это крылато-ходячее выражение: «Богат как Крёз».

Однажды к нему пожаловал афинский архонт Солон, известный законодатель и всеми признанный мудрец. Проявив гостю мраморные палаты и тучные пастбища, несметные сундуки и парчовые реки, Крёз самодовольно спросил:

— Знаешь ли ты человека счастливей меня?

— Знаю, — ответил Солон. — Это афинянин Телл.

— Кто такой и чем знаменит? — удивился Крёз.

— Обычный воин и гражданин. Он прожил долгую жизнь, ни в чём не нуждался, увидел, что дети его и внуки выросли достойными людьми, и погиб в бою, который принёс Афинам победу.

— Ты шутишь! — воскликнул Крёз. — Как можно сравнивать роскошь с достатком, а могущественного царя с простым смертным, к тому же мёртвым?

— Счастье изменчиво, — сказал Солон. — Пока человек жив, он не может быть окончательно счастлив.

Вскоре Крёз убедился в том. Персы захватили Сарды и по приказу Кира заковали в цепи последнего лидийского царя. Приговорённый к сожжению на костре, Крёз обречённо смотрел на приближающихся факельщиков и без конца повторял: «О, Солон, Солон...»

— Что ты бормочешь? — полюбопытствовал Кир и улышал в ответ эту смешную байку.

Почему смешную? Потому что у Кира хватило юмора усомниться в своём непобедимом счастье. Он не только отменил казнь, но и предложил Крёзу стать ему другом и советником, а получив согласие, тут же выполнил его просьбу — не разрушать завоёванного царства, не разорять уже собственных подданных, а лишь отнять у них оружие.

Прошло много лет, и старый сюжет примерил новый колпак.

Жил-был... ну не царь, а царёк небольшой, но благополучной окраины в нашей большой, но неблагополучной стране. И золото у него водилось и серебро, и прочие капиталы, что, по его понятиям, и составляло великое счастье. Умом, пожалуй, а гонором Крёзу не уступал.

Каждый день царьку закатывали пиры: птичницы резали кур и гусей, пастухи — телят и баранов, сатрапы везли ящики с деликатесами, челядь преподносила скромные подарки. Всем хотелось его порадовать, и он радовался и брал, брал и радовался, а набравшись, кричал:

— Кто на свете счастливей меня?

— Никто! — надрывались гости, то есть хозяева, то есть устроители пиров. — Ты наш Бог! Только тебя уважаем!

— Уважаете, потому что боитесь, — свирепел царёк, — а должны любить!

— Любим, любим! — клялись угодники. — Чтоб нам ослепнуть! Один костюм по очереди носить!

— Ладно, верю, — зевал царёк и засыпал в благодарных объятьях.

Как-то раз к нему в кабинет прорвался упрямый старик и потребовал отремонтировать крышу у своего соседа, такого же дряхлого старика.

— Ты что, его адвокат? — рассердился царёк. — Сам бы пришёл, невелика персона!

— Он не может ходить, у него ноги парализованы.

— А жена, а дети... тоже без ног? Пусть они за него хлопчут.

— Сын погиб на войне, жену недавно похоронили.

— Несчастный, и он ещё думает о крыше?!

— Нет, он счастливый, ему никто не завидует.

Царёк хохотнул, шутка ему понравилась, но он привык, что последнее слово остаётся за ним.

— А тебе, выходит, завидуют?

— Ну, разве что мой безногий сосед.

— Тогда несчастный не он, а ты.

— Я счастливый, но по другой причине — я никому не завидую.

— Даже мне? — изумился царёк.

— Тебе в особенности. Жизнь моя, как-никак, прошла, я потерял больше, чем смогу потерять, а у тебя всё ещё впереди.

— Ах ты, старый осёл! — заорал царёк. — Ты просишь меня о помощи и ты же меня проклинаешь? Пошёл вон!

Через несколько лет большая страна развалилась, и новые персы захватили власть на местах.

Царёк лишился работы и заодно сокровищ — ушли на водку и колбасу. Жена с ним развелась, дети уехали за границу, слуги перебежали к другим хозяевам. Остались болячки и злоба на весь белый свет. Сидеть в опустевшем доме, задыхаясь от бешенства, тоже было невмоготу. Небритый, в грязном костюме, он слонялся по улицам и бурчал под нос: «старый осёл, старый осёл...».

На него не обращали внимания.

# Сказочка

Умер мышинный король.

Страх и отчаяние овладели сердцами миллионов простых мышей. Детям запретили петь и смеяться. Влюблённые охладели друг к другу. Старики перестали жевать. Щели в полу заделали чёрным крепом, и воцарилась минута молчания, которая длилась семь дней и ночей. Потом все начали плакать. От холода, голода и бессилия.

Первым не выдержал Верный Мыш.

— Братья! — воскликнул он. — Никакие страдания не восполнят нашей утраты. Мы потеряли голову, то есть короля. А безмозглое тело, то есть народ, не способно думать за нас. Сплотим ряды! И обрящем!

Большинство призыва не поняло, но на всякий случай выразило горячее одобрение.

— Все на выборы! — крикнул Догадливый Мыш.

— Предлагаю Столетнего, — пропищал Бесхвостый. — Он знает все ходы и выходы.

— Голосуйте за Жирного! — взвизгнул Рыжий. — У него государственный аппетит! Одними его объедками мы накормим всё королевство!

— Давайте сначала определимся, — вышел вперёд Горбатый. — Каким должен быть новый король? По большому счёту, а не то что там возраст или, как говорится, ну вы меня понимаете...

Посыпались возгласы: самый умный, самый добрый, самый культурный, непьющий и наш.

— Таких идеальных мышей не бывает, — скептически возразил Гороховый Мыш. — Нам нужен король, похожий

на нас, но с ярко выраженной мышиною индивидуальностью.

Ещё семь дней и ночей длились прения. Наконец, выбрали короля. Самого серого.

И жизнь заиграла новой краской.

# Золотая рыба

Своё вступление в должность старшего помощника пекаря, а также получение сверхурочных за ударную вахту в подсобке Глумов ознаменовал покупкой роскошной шоколадной рыбы за двенадцать рублей двадцать семь копеек. Он был страшно горд, что может позволить себе такой откровенно буржуйский жест.

Рыба предназначалась для глумовских пацанок и беззубого деда, впавшего в детство. Жена Василиса, а по-домашнему Васька, шоколадами баловалась только на сносках, чтобы поднабраться калорий, а в остальное время грызла долгоиграющие леденцы. Надышавшийся сдобами Глумов и вовсе относился к еде с содроганием, предпочитая солёную закуску.

Вообще-то он собирался купить какой-нибудь ореховый торт, но рыба свела его с ума. Она переливалась в огнях витрины своим натуральным заморским жиром и нагло тарасцилась, вызывая желание съесть её.

Предвкушая общий восторг и растягивая удовольствие от покупки, Глумов долго звонил в дверь, хотя и был при ключах.

Васька встретила его на пороге с мокрой тряпкой в руке. Её деятельная натура, как правило, разгоралась к вечеру, словно в отместку за восьмичасовое сидение на швейном конвейере. Подол измызанной юбки лихо заткнут за пояс, лоб обвязан скрученной косынкой. И смотрела она на Глумова с пиратским прищуром широко расставленных глаз.

— Вот,— сказал Глумов, протягивая шуршащий пакет, перевязанный розовой лентой,— зряплату принёс, и повышение выгорело.

Васька недоверчиво потянула носом, мол, с каких это пор хлеббарям выдают деньги свёртками, но на всякий случай промолчала. Деньги, однако, не пахнут, а от пакета несло ванилью и прочей кондитерской дрянью.

Глумов, не раздеваясь, прошёл к столу и бережно развернул рыбу. Пацанки радостно взвизгнули и помчались на кухню за дедом, где он целыми днями сидел на сундуке как припечатанный.

— И сколько ж эта дура стоит? — зловеще улыбаясь, спросила Васька.

— Шесть рублей, — выпалил Глумов. И подмахнул: — Двадцать семь копеек.

Он никогда не врал по мелочам.

— От живорез, — задохнулась Васька.

Губы её побелели и разъехались. Глумов понял, что приговорён к самому страшному виду супружеской казни — быть съеденным заживо.

— Чего орёшь? — миролюбиво прошамкал дед, вползая на диван, стоявший вплитык к столу с вожденной рыбой.

— А ты у него спроси, — процедила Васька, нашлёпывая тряпкой по голой ноге.

Нога была ничего.

— Отцепись, — огрызнулся Глумов, — не на партсобрании.

Дед попытался скovyрнуть кусочек рыбы, вцепившись ей в хвост, но пальцы тряслись и соскальзывали, и он заверещал:

— Соньки-Тоньки! Тащите нож!

Васька не унималась. Как заведённая возила тряпкой по полу и выбуркивала очередные гадости.

— Эка невидаль! — заступился дед. — Рыба, она и рыба, жалко, что не золотая.

Глумов начал резать твёрдый, как мрамор, шоколад, навевающий грёзы о скором и неизбежном изобилии, а пацанки прыгали вокруг стола и от избытка чувств пихали деда острыми локтями. Дед не отвлекался

и норовил подцепить обслюенным пальцем мохнатые крошки, сыплющиеся с ножа.

Васька дотёрла пол, одёрнула юбку, но ругаться не перестала и, кажется, имела с того полное и глубокое удовлетворение. Глумов забился в кресло, изображая жертву гипноза. Шуршала обёртка, прорвы дружно чавкали, в кухне гремела посуда.

— Рыбу-то съели, — прохныкал дед. — Лучше бы прибе-  
регли на завтра.

Как хреново обставилось, подумал Глумов, и деньги тра-  
чены и никаких тебе приятных воспоминаний, сплошное  
буржуйское недовольство. Он ещё потерзался и открыл глаза.

Сонька с Тонькой, не дождавшись ужина, сладко по-  
сапывали в разных углах дивана. Дед дрых, сидючи, об-  
лизываясь во сне.

Из кухни выглянула Васька и поманила пальцем. Её ску-  
ластое лицо выражало все оттенки откровенного любопыт-  
ства и смутного раскаяния. Глумов скинул взмокшее паль-  
то и поплёлся на зов долга.

— И какой тепер у тебя оклад, а, Глумов?

На кухне чем-то противно пахло. И Васькина привыч-  
ка называть его по фамилии показалась ему несмешной.

— Не меньше ста. Плюс премиальные.

— А не врёшь?

— Честное пионерское.

— Сапоги бы, — выдохнула Васька.

— И сапоги, и пальтецо справим, — согрелся в мечтах  
Глумов.

Васька смутилась, забегала и выставила перед ним та-  
релку с копчёной ставридой. Подумав, накапала в стопку  
лимонной настойки и уселась напротив, подперев щеки  
квадратными ладонками.

— Можно и на стенку разориться, — обнаглел Глумов,  
когда горячая жижа растеклась по телу. — И девкам шмо-  
ток накупим, и деду чуду какую. А то и на море махнём.

Я слышал про местечко одно в Крыму, сразу и не выговоришь... помесь кошки с собакой, вроде нас с тобой.

Васька уже млела на коленях у Глумова и тёрлась лбом о его щетину. Отвесив для приличия пару комплиментов, он вырвался из цепких Васькиных объятий и дезертировал в спальню досматривать сны. Шумело в ушах, сквозь пену прибоя просачивалась песня про море в Гаграх. Глумов собрался с утасающими силами и крикнул:

— Во, вспомнил! Котобель!

Васька же подождала, пока он расхрапится вовсю, и бесшумно полезла в шкаф. Достала хрустящий свёрток с голубым бантом, распустила его и умильно воззрилась на шоколадную рыбу. Дура стоимостью двенадцать рублей двадцать семь копеек предназначалась для Глумова в честь его долгожданного продвижения по службе. Дороговато, конечно, но чего не сделаешь любя. Васька обожала Глумова, но терпеть не могла, когда её обманывали.

# Реквием по начальнику

Покойники скучные люди. Они не понимают шуток и чтут обряды. А в каждой церемонии, согласитесь, есть что-то комичное.

Вдоль стен, обтянутых чёрной саржей, застывают скорбные позы. В центре комнаты стол, застланный новым персидским ковром. На столе в окружении бронзовых подсвечников и хрустальных ваз с лилиями стоит дубовый гроб, сверкающий позолотой. Покойник подчёркнуто важен и недоволен, словно живой.

Из кухни доносятся сварливые женские голоса и отрывистые мужские команды. Прибывают ящики и коробки с готовыми закусками, отборными фруктами и посудой, взятой напрокат. Суета, суета, бедная родственница всех свадеб и похорон...

Никто не может заплакать. Лучшее, что сделал этот пергаментный старик, это то, что он делает сейчас. Поэтому соболезнующие вежливо вздыхают и украдкой взглядывают на часы.

Сокрушается только сестра усопшего, старуха с конским лицом и пучком жидких волос за оттопыренными ушами. Если бы не её отвратительный характер, известный всем, было бы даже приятно выразить ей сочувствие. Детей у покойника нет, последняя жена сбежала лет десять назад.

Полдень. В это время бывший начальник обходил отделе и составлял список досрочно улизнувших на перерыв. В конце рабочего дня нарушители трудовой дисциплины отчитывались перед лицом товарищей. Покойный обобщал их жалобы и реплики с мест. Следовал ряд ядовитых замечаний и ласковых угроз. Свои обещания он выполнял аккуратно.

Вдруг сестра, ударив себя по коленям, вскрикивает:

— Ну, разве такой человек мог умереть?!

Гробовое молчание. Всем решительно не по себе. Покойник налицо, значит, всё-таки смог, зачем же ломать трагедию?

Плановик Тютин досадливо морщится, оглаживает мятый пиджак. Он по обыкновению начинает первым.

— Помню как сейчас. Отмечали Его шестидесятилетие. В этом, как его, ресторане...

— «Пальмира», «Пальмира», — радостно подсказывают сослуживцы.

— Да, есть что вспомнить...

Все кивают, двигаются, разминают затёкшие члены.

— Сам предложил, — продолжает добросовестный Тютин. — Широкой души был человек.

Неловкая пауза. Широта стоила каждому половины тринадцатой зарплаты. Такое не скоро забудешь.

— Всегда входил в положение, — подхватывает Мурочка из отдела труда и зарплаты, роскошная брюнетка с атакующим бюстом.

Ей за сорок, но по отчеству просит не называть, обижается.

— Когда Вовик попал в больницу, — продолжает она, поясняя сестре: — муж мой, Вовик, он никогда не болеет, это его жизненное кредо, но упал на улице и вывихнул ногу, это с каждым может случиться, так вот, Он разрешил мне уйти на целый час раньше. Даже не спросил, сдала ли я квартальный отчёт, хотя нет, я уже сдала... или не сдала? Неважно, хватаю такси, лечу в больницу... до сих пор, как об этом подумаю, сердце останавливается! — и обеими руками приподнимает левую грудь.

— Не скажите, — едко вставляет заместитель главбуха Розин. — Меня он дважды не отпустил на похороны родного дяди.

Лёгкое недоумение. Смешливый курьер Савушкин тихо роняет:

— «Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать».

— Дважды просил, — поправляется Розин. — Нижайше.

Наткнувшись на ненавидящий взгляд сестры, он спохватывается и восклицает с неожиданным воодушевлением:

— А всё потому, что уважал порядок! Это вам не богадельня, говорил, а государственное учреждение!

Всем кажется, что по лицу начальника скользнула улыбка. Начинает тоненько всхлипывать счетовод Сайкина, мать троих детей, которой ни разу не удалось выпросить отпуск в летнее время.

Внезапно сестра цепенеет и начинает нести что-то несусветное:

— Жадина-говядина, шкура продажная, от папочки открестился, мамочку в гроб загнал, меня домработницей сделал! Ты не брат, а враг! Враг народа!

Вскакивает, выпрямляется и, вновь прокричав зловещие слова, падает на стул.

Кто-то рванулся уйти, его останавливают. Мужчины переглядываются, женщины теребят платочки, но старуха не соображает, что делает, и сладко поёт:

— И на кого ж ты нас покинул, несчастный...

В судорожном молчании проходит час. Наконец, из коридора поступает распоряжение выносить. Все разом срываются с мест.

Во дворе уже играют похоронный марш. Тошнотворно пахнет спёкшейся на солнце зеленью. Начинает накрапывать дождь.

— Плохая примета, — испуганно шепчет Мурочка и тайком крестится.

— Вернётся, что ли? — кривится Розин.

Покойнику прикрывают лицо полиэтиленовым пакетом и осторожно несут гроб к машине. Специально организованные дети поднимают венки над головой, защищаясь от дождя. Процессия трогается.

Страшное позади.

# Спящая красавица

Говорят, что когда-то она была писаная красавица: белолицая, волоокая, с тонким точёным носиком и лунообразной улыбкой. Густые тёмно-русые волосы, прихваченные на спине широкой лентой, спадали волнами до колен, и, чтобы не расплескать их, она ходила, подавшись назад, осторожно переступая ногами. Даже в школе ей разрешали носить эту царскую гриву — от стянутых на затылке кос у неё начинала болеть голова.

Там, где Валечка (а только так называли, заискивая) появлялась, сразу возникало какое-то нервное оживление, начинался переполох, словно сама её красота таила в себе великое беспокойство. На неё заглядывались и верные мужья, и закоренелые холостяки, и отпетые хулиганы, не считая влюблённых юнцов и опытных ухажёров. Женщины побаивались её, потому что, путаясь в чувствах, не знали, как относиться к ней. Кроткая Валя одним своим взглядом ставила всех в тупик.

— Хочу отругать за двойки и не могу, — жаловалась её матери класная руководительница, строгая пожилая дама дореволюционной закалки. — Выставит на меня глазищи и сияет, точно икона, хоть злись на неё, хоть молись.

Училась Валя из рук вон плохо, зато прекрасно шила, вязала, пекла такое печенье, что на уроках домоводства угощалась вся школа. За что ни бралась, делала аккуратно, неторопливо и говорила задумчиво, растягивая слова в целое откровение. Она как будто жила в другом времени, где счёт ведётся не по минутам, а по часам, где ориентируются по звёздам: зажгутся — пора ложиться, погаснут — пора вставать. И мысли у Вали были неопределённые, призрачные:

о счастье, что прячется поблизости, об ангелах, что приснятся ей и укажут к нему дорогу, о лодке, на которой она поплывёт по чистому озеру, подставляя ладошку встречной воде...

Мать и отец, стрелочница и сапожник, мечтавшие дать дочери высшее образование, к седьмому классу поняли, что их надежды напрасны, и легко согласились на первый предложенный брак с прорабом, человеком солидным и обеспеченным. За ним, уж в этом они не сомневались, их тихоня будет как за каменной стеной.

Стена и впрямь оказалась каменной, на крепком цементном растворе, с железными воротами на замке. В дом никого не пускали, на страже стояла тётка мужа, всем затыкавшая рот. Валя на улицу не выходила. Мальчишки, лазавшие по деревьям и сверху заглядывавшие в прорабский двор, докладывали соседям: беременная, родила, снова носит ребёнка, то синяк у неё под глазом, то голова забинтована, кормит грудью третьего и опять с животом.

Увидели Валю только на похоронах её родителей — отравились угарным газом, не выдвинули печную заслонку на ночь. Сделали они это нечаянно, по стариковской рассеянности, или нарочно, трудно сказать, но по углам шептались, что им давно уже не хотелось жить, горела у них душа за дочь, загубленную во цвете сил.

На Валю смотрели и не узнавали. Не верилось, что этой рыхлой неповоротливой женщине всего двадцать лет, что она мать четверых детей и вообще когда-то была красавицей. На лбу у неё розовел глубокий, неровно сросшийся рубец, вдоль шеи тянулась подозрительно чёткая синюшная полоса. Ключья куцых волос падали ей на глаза, и она, как маленькая неряшка, часто моргала, пытаясь смахнуть их ресницами. Опухшие руки Валя прятала в складках мешковатого платья, прикрывая ими выпиравший живот. На вопросы отвечала нехотя, с тупым равнодушием.

— Как живётся тебе, Валечка?

— Живётся...

— Бьёт он тебя?

— Бывает...

— Вот паразит! А ты в партком, профсоюз, милицию, кричи, стучись во все двери! Себя не жалко — деточек пожалей!

— Жалею...

Прощаясь с родителями, она не билась, не была, но на неё больно было смотреть, и люди, не выдержав, отворачивались. На кладбище она не поехала, упала ничком на материну кровать и заснула. Часа через три её кое-как растолкали, упростили выйти к столу. Пригубив рюмку, она раскраснелась, заулыбалась и внятно произнесла:

— Птички снились... в лесу... зелёнькая и красненькая... с хохолком... пели так хорошо... — и показала пальцем на потолок. — Туда хочу...

— Бог с тобой, Валечка, — запричитали старухи, — и думать не смей об этом! Ты бы поела чего-нибудь.

— И сейчас поют...

Прораб объявился, когда соседи засобирались домой. Налил себе полный стакан водки, залпом выпил и пробурчал, что от смерти никто не застрахован, что жить надо с умом, а умирать — с музыкой.

Музыки, кстати, не было. Сам упредин, что нечего устраивать свадьбу из похорон.

Ушли они первыми; он, кивнув на прощанье, она, прошептал: «простите».

Остались тётка прораба, две Валины одноклассницы и хлопотавший у печки курносый дед. Кто-то же должен был прибраться и запереть опустевший дом.

— Несчастливая эта Валя, — ворчала тётка, складывая в коробку вымытую посуду. — И мы несчастные стали из-за неё. Не успела войти в семью, как слегла свекровь. Раньше тоже скрипела, охала, но жила ведь, не умирала.

Свёкор, нормальный был мужик, после этого как сбесился, закрутил с молоденькой и заработал инфаркт. Короче, расчистила Валька место для разворота. Муж пылинки с неё сдувал, и золото дарил, и хрусталь, стиралку аж из Москвы припёр, чтобы ручки не застудила, а ей всё мало, царицей хотела быть. И хоть бы спасибо сказала, нет, спит на ходу и жуёт!

— Да она всё время рожала! И кормила одного за другим! — накинулись на неё подружки. — Ей силы были нужны, а вы её куском попрекаете! И племянничек ваш хорош, вон как шрамами разукрасил!

— Сама она в петлю полезла! И башку спросонья о приголоку расшибла! Мы её, что ли, калечили?

— А ну вас, такая немыслимая красота пропала...

— Больно умные! — фыркнула тётка. — Руками бы так работали, как языками. Заладили: красота, красота... ещё неизвестно, в награду она даётся или в наказание.

— Нам в наказание, — вдруг подал голос курносый дед, молчавший весь вечер. — Проглядели мы Валечку, не берегли. На кого теперь любоваться будем? На уродин?

И, повернувшись к подружкам, добавил:

— Я, девоньки, не про вас.

# Шутка

Жил-был человек. Лучше птицы пел. А шутил не очень. Мол, оттого поётся, что летается, а не наоборот.

Людей и взяла обида. А ну как впрямь улетит, лови его тогда, заворачивай. Делать им больше нечего, работать и то не успевают.

Посовещались промеж собой и повязали умника.

— Ну, лети, — говорят, — ни пуха тебе, ни пера!

У того искры из глаз.

— Дураки! Как же я без рук полечу?

— А то! — гогочут. — С руками любой полетит, а ты попробуй наоборот!

Подпрыгнул и грянулся, шею свернул.

— Да, без рук мудроно, — трясут бородами. — Спой хотя бы, голос-то при тебе.

— Дураки, — хрипит и кровью плюётся.

Шум вокруг поднялся. Охают, сокрушаются, волосы на себе рвут.

— И верно, что дураки, такого хорошего человека угробили, креста на нас нет.

— Всегда мы так, не по-русски, пока не погубим, не любим.

— И хуже бывает, — сбоку подсказывают, — кого полюбим, того и погубим.

— Имеем право, — напирают сзади, — на своей земле живём, звёзд с неба не хватаем, на что они нам, самим жрать нечего.

А умник тем временем кончился.

Похоронили его и памятник сверху поставили. На собственные, на кровные, народные деньги.

До сих пор гордятся.

# Семейное счастье командира Петрухина

(быль)

Девку доставили на рассвете.

— Командир! — петушиным голосом крикнул из сеней Ртищев. — Прймай гостей!

Тут же послышался грохот опрокинутой лавки.

Спросонья Петрухин напялил гимнастёрку задом наперёд, расшвырянул и затолкал её под подушку, оставшись в нижней рубахе с расстёгнутым воротом. Ни дать ни взять загулявший атаман, со злостью подумал он.

Трое суток его отряд пробивался с боями через Брюховецкую и Выселки, эдаким крючком, к Кущёвке, на соединение с конным корпусом Батуева, очищавшим Екатеринодарский уезд от белоказачьих банд. Недобитки, засевавшие по дальним хуторам, лютовали, каждый день уносил десятки молодых здоровых жизней. Петрухинцам было не привыкать, духом не падали, но бились без прежнего удалства, словно разделялись с обязательной, но грязной работой. Не ко времени принесло в это пекло девку, которую следовало определить при штабе и без всяких штучек, как явствовало из полученного предписания.

Пока командир возился с портянками, на пороге выросла долговязая фигура в шинели и низко надвинутой на глаза папахе. В тусклом свете коптилки лицо сопровождающего показалось Петрухину вырубленным из чурки.

— Умер, что ли? — буркнул он, натягивая сапоги. —  
Веди сюда эту... — и выразился яснее некуда.

Фигура не шевельнулась.

— Ну?

— Я «эта» и есть. Евдокия Страхова. Сопровождающий  
убит. В Белоречке. Напоролись на казаков.

Баба, очумело подумал Петрухин и сразу проснулся.

— Значит так, — еле выговорил, будто рот был забит не-  
прожёванной кашей. — Приказываю разместиться в со-  
седней хате, спозаранку явиться в штаб. Пакет привезла?

— Было предписание, — деревянным голосом отвечала  
девка.

Этим предписанием... — чуть не бухнул Петрухин, но  
удержался и кликнул Ртищева.

Тот ввалился в дверь, как полурассыпавшийся куль  
муки. Ноги босые, из-под штанов белеют исподники. Пе-  
трухин скрипнул зубами. Сели в лужу перед девкой, го-  
лоштанники.

— Проводи товарища к Игнатихе и организуй что надо.

— Есть! — попятился Ртищев и стукнулся головой  
о притолоку. — А, чтоб тебя...

Девка молча пошла за ним.

И точно, Страхова, подивился Петрухин, имечко как  
подаренное. Может, и к лучшему, никто на неё не поза-  
рится. Не зря же предупреждали, видать, чья-то драго-  
ценность. Он поворочался и провалился в сон, как в вол-  
чью яму.

Утром, на свежую голову, он ещё раз подивился на дев-  
кину некрасоту: широкие, как полозья, брови, толстый  
короткий нос, бесцветные губы. Грубый мужицкий лоб  
нависал над крутыми скулами, напомнившими Петру-  
хину родные уральские отроги. Живыми были только  
глаза, тёмно-голубые, точно барвинки, которые он любил  
больше всех цветов.

Они-то и сделали своё голубиное дело. Не прошло и двух дней, а вокруг Евдохи затеялась самая что ни на есть кобелиная возня. Каждый норовил быть к ней поближе, то воды поднести, то коня придержать, а то и позубоскалить без всякого повода. Вот женская зараза, бесился Петрухин, хотя понимал, что ни при чём Евдоха, и хлопцев можно понять — осточертели им матюги да приказы, захотелось просьб и благодарности.

День выдался солнечный и спокойный, шли на рысях. Едва выбрались на правый берег Еи, наткнулись на казачий разъезд. Пятеро верховых в кубанках и черкесках с торчащими газырями тут же завернули коней и с гиканьем скрылись за холмом. Петрухин было кинулся в погоню, да вовремя сообразил, что так недолго вляпаться и в засаду. Послал трёх бойцов в разведку, а отряду велел расположиться неподалёку, в реденьком леске.

Ждали до полудня. Евдоха спустилась к реке искупнуться и простирнуть бельё. Петрухин выделил ей караул, наказав хлопцам держаться на благородном расстоянии, а сам углубился в карту. За холмом, на подступах к станице Крыловской, начинались раскулаченные хутора, до Кущёвки оставалось рукой подать. Судя по донесениям, в этих местах было довольно тихо, кровопролитных сшибок не предвиделось, но и разъезд о пяти головах тоже не примерещился.

Вдруг раздался истошный девкин крик. Скурвились, решил Петрухин и бросил Ртищеву:

— Глянь, что там.

Высокий берег полностью закрывал обзор, но командир внятно расслышал звуки тупых ударов и сдавленный стон. Он проследил взглядом, как Ртищев взбежал на пригорок и, нелепо взмахнув руками, рухнул, словно кто-то сдёрнул его вниз. Следом прогремел одиночный выстрел.

— Казаки! — свистящим шёпотом выдохнул слабогрудый Лефортов.

Из-за холма чёрным облаком надвигались мохнатые шапки.

— Вперёд! — рывкнул Петрухин и почувал неладное, да уже поздно было раздумывать — наперерез строчил пулемёт.

— Наза-ад!

А сам уже нёсся во весь опор, не разбирая дороги, к ракитнику, густо росшему вдоль берега. Прутья больно хлестнули по глазам, но он бы и сослепу увидел сгрудившихся у пулемёта казаков. Ртищев, естественно вывернутый, лежал на боку, рядом корчились повязанные караульщики. Евдохи не было нигде, как провалилась.

Перебежками от леса к реке подтягивались бойцы, Лефортов разворачивал руку с гранатой. Петрухин обмер — всех перебьёт, и наших и ваших — и погрозил ему кулаком.

Сзади оглушительно ухнуло. Конь взвился на дыбы, и Петрухин чуть не вылетел из седла. Буро-жёлтое пламя лизало ствол пулемёта, ревели от боли разбросанные взрывом казаки, а из осоки в мокрой насквозь гимнастёрке вышла перепуганная Евдоха.

— Во глазомер! — хрипло крикнул Ртищев. — Качать Евдоху!

Выходит, недаром таскала гранату на поясе. Но было не до шуток, ринулись навстречу казакам.

Бой приняли в леске. Управились разом, словно в отместку за собственное головопьяство. Порубанных разведчиков зарыли под холмом, вывихнутую руку Ртищеву вправили почти художественно, ругнуться и то не успел. Караульные рассказали, что казаки напали вдруг, подстергали их, вероятно, в ракитнике. Оглушили в момент и повязали, точно кабанчиков.

— Орала-то чего? — спросил Петрухин у Евдохи, стягивающей в пучок свои жёсткие непокорные волосы.

— Да жаба с-под ног скакнула, я их смерть как боюсь. А тут ещё эти, с пушкой. Уж они меня искали, искали, а я гранату на ветку повесила, а сама под корягу и ни гу-гу.

— Ни гу-гу, — передразнил Петрухин. — С тобой не соскучишься.

Ночевали на ближнем хуторе. Хозяева, богатырского сложения старуха и её глухонемой сын, такой же дюжий верзила, разместили петрухинцев на сеновале. Пошептавшись, выставили чугунок варёной картошки и две крынки снятого молока. Евдохе постелили в хате.

Чуть свет засобирались в путь.

— Девку бы оставили, — хмуро сказала Петрухину старуха, — не бабье это дело шашкой махать. И Василию моему она приглянулась. Справная будет пара.

Глухонемой согласно замахал руками.

— Лучше меня жени, — шепнул в командирское ухо Ртищев, — жизнь-то уходит.

Петрухин огрел его плёткой и пустил коня в галоп. За ним, гоготнув, потянулись остальные. Громче всех смеялась Евдоха.

Ещё на два дня застряли под Крыловской. Выслали вперёд дозорных, да напрасно прождали до ночи. Разведать обстановку вызвалась Евдоха. Мол, переоденусь бабой (тут Петрухин хмыкнул) и подамся с корзинкой яиц на станичный базар, авось чего разузнаю. Не хотелось отпустить её от себя, история с жабой не шла из головы, однако затея была толковой, и Петрухин дал добро.

Евдоха вырядилась в сарафан хуторской молодайки, повязалась белым платочком и, войдя в роль, заодно подмигнула командиру. Наряд был ей к лицу, чего уж там, даже ёкнуло петрухинское сердце и, как нарочно, вспомнились

слова Ртищева про уходящую жизнь. Но поборол в себе слабость и по-товарищески пожелал Евдохе удачи.

Вернулась затемно. Лицо в синяках, волосы дыбом, как у дикой кошки. Петрухин усадил её на лавку и влил ей в рот несколько капель спирта из фляжки, подаренной брюховецким фельдшером. Стоял и ждал, пока отойдёт и заговорит.

— Белые тама. Хлопцев наших калечат, сведений добиваются.

— Откуда слухи идут?

— А пришлых в штабе допрашивают. Яшка меня и выдал. Шомполами его забили.

— С тобой-то что?

— Да потоптали и в сарай бросили. Я прогрызла в земле дыру и утекла.

— Эх, Евдоха, — только и сказал Петрухин.

— Може, и ничего, дак теперь замуж не возьмут.

Две слезы покатались по её щекам.

— Я возьму. Пойдёшь за меня?

Евдоха встала. Петрухин тоже поднялся.

— Решай, не чужая ты мне.

— Пойду.

И поклонилась ему по-крестьянски, в пояс.

В ту же ночь петрухинцы ворвались в станицу. Подпалили штаб, перебили кого в карауле, кого по хатам, и заняли Крыловскую. Раненную в ногу Евдоху Петрухин дотащил на спине до заимки, где укрывался уездный доктор. Пока старичок в треснутом пенсне кромсал ей колено, Петрухин сидел на крыльце, стиснув зубы, и клялся любить её до гроба.

Прощались наспех. Отряд выстроился под докторским окошком, откуда, смущённо улыбаясь, выглядывала Евдоха.

— Товарищи! — сорванным голосом крикнул Петрухин. — Прошу быть свидетелями: Евдокия Страхова — жена мне перед людьми и революцией!

Бойцы нестройно грянули «ура» и отсалютовали в небо.

— Свидимся, Евдоха! — пообещал Петрухин и, притянув жену за шею, неумело вlepил ей в губы законный мужний поцелуй.

Кто-то рванул песню, за ним другие. Так в облаке пыли, в топоте копыт навсегда ушёл петрухинский отряд из этих, ох, памятных мест.

Прошло две зимы и два лета. Отвоевался красный командир Петрухин. Вернулся в родную деревню, своей рукою закрыл глаза старой матери, считай, дождалась. Справил поминки, погоревал и простился с мечтой о семейном счастье. Не сыскалась Евдоха, сколько ни рассылал он запросов и верных дружков. С неё станется, она и на ровном месте пропадала не раз.

Невесёлые думки одолевали Петрухина, ныли старые раны. Вспоминал, как с тяжкой обидой сказал ему при встрече Батуев:

— Что ж ты, Петрухин, племяху мою Евдокию от пули не уберёг?

И как ответил он, глядя в глаза генералу:

— Не племяху твою, а жену мою не уберёг.

И как выпили молча, и как горячо обнялись на прощанье.

Но одной памятью жив не будешь, да и не то было время, чтобы чувствами жить. Впрягся Петрухин в председательский воз, и столкнусь дни и ночи в сплошную натугу. Ел на ходу, спал, где придётся, бывало, и за столом, уронив голову на бумаги. Мужиков в деревне по пальцам пересчитать, кого война раскидала, кого за контрреволюцию к стенке приставили, всё хозяйство на бабах да ребятах, поневоле сделаешься жожаком.

Урожай сняли богатый. Обзавелись кормами, скотиной, начали строить клуб. И на душе как будто потеплело.

Повадилась хаживать в гости к Петрухину соседская девчонка Гулька. Поговаривали, что не в себе она: то

с мальчишками тряпичный мяч гоняет, то по чужим садам озорует, а то и подколовывает, разные зелья варит. Что у неё на уме, Петрухин не дознавался, ходит и ладно, не гнать же её со двора. Может, и от зависти злоязычники. Деваха видная, кровь с молоком, глазищи вразлёт, не смеётся, а орешки кедровые во рту перекатывает. Пела и плясала Гулька лучше всех в Дарьинке. Из дальних деревень приходили слушать её веснянки и колядки. А что мала была, годков на двадцать младше Петрухина, оно и хорошо; обращался с нею, как с дочкой, и люди лишнего не болтали. Да и всем объявил, что женат, и держал себя в строгости.

Первым завёл разговор о семейной жизни Гулькин родитель, кузнец Савватеев, уважаемый человек. Рано потерял жену, без помощников вырастил дочку, хоть и скаженную. Явился на майские праздники с бутылью рябиновки и повёл речь издалека: дескать, с людьми живёшь, а не по-людски, не холост и не женат; Гулька-то ни о ком другом и думать не хочет; не пора ли нам обсудить положение.

— Стар я, сосед, — помолчав, ответил Петрухин. — Другие, как ты, к сорока годам о внуках мечтают, а мне жеребиться прикажешь? И жены своей я пока что не схоронил.

— Брось, председатель, — рассудительно сказал Савватеев. — Мужик ты крепкий, нетраченный, а жена, будь она живая, давно бы тебя нашла. Много ли Дарьинок на Урале? Оно, конечно, всяко бывает, но и дочь мне дорога. Сам привадил, сам и отваживай.

На том и порешили.

Не повернулся у Петрухина язык, вернее, сердце не повернулось отвадить Гульку. Осенью сыграли свадьбу. Высокие гости из области прибыли, боевые друзья подтянулись и свои, деревенские, собрались. Три дня гуляли по-русски. И без драки не обошлось, свадьба дело горячее.

Зажили молодые своим домом. Любил Петрухин Гульку сильно и ровно, как любят усталые люди: без ревности, без утайки, без лишних слов. Может, и скучно ей было с ним.

Как-то коротали они зимний вечер. За окном крутилась метель, рвались с цепи собаки, в хлеву редела испуганная скотина. Гулька, склонившись над сальной свечкой, чинила прохуdivшуюся скатёрку; Петрухин, разморённый чаем с брусникой, корпел над докладом о международном положении. Один он был грамотей на деревню, больше некому было просвещать народ. Сидел, обложившись газетами и сводками, в исподней рубахе с расстёгнутым воротом. Ни дать ни взять загулявший атаман, почему-то подумалось вновь.

Вдруг заскрипело крыльцо, ударила дверь, и на пороге возникла фигура в солдатской шинели. Лицо старое, не баба, не мужик.

— Не признаёшь, Петрухин?

— Не признаю, браток.

— Страхова я. Евдокия.

У Петрухина потемнело в глазах. Гулька кинулась к гостю, стала стаскивать с неё валенки, разматывать башлык, а та говорила куда-то вбок:

— Вижу, что обрадовала, да не за этим ехала. Гангрена у меня, врачи сказали, что долго не протяну. Проститься бы надо, всё-таки не чужой ты мне.

Петрухин смахнул стыдную слезу, встал и поклонился Евдохе.

— Рад я тебе, Евдокия, живи сто лет. Был я тебе мужем, и ты мне женой осталась. Вместе и бедовать будем.

Выходила Гулька Евдоху. Травками отпаивала, душистые смолы к ране прикладывала. Вытянула заразу до обильной зелёной крови, а как хлынула чистая, тайком от мужа перекрестилась. И пошла Евдоха на поправку. Привязалась к своей спасительнице, всё «донец» да «ягодкой»

звала, помочь-удружить старалась. И Гулька, выросшая без матери, впервые узнала сладость жалостной женской любви, что даже не из сердца идёт, а из самой утробы.

— Сметанки бы сбить к блинкам, — обронит Евдоха.

— Бегу, мамотко, — подхватит Гулька.

Надоит ведро молока и бегом назад.

— Как сбивать-то?

— А так, — скажет Евдоха и, засучив рукава, примется за старинное дело.

Гулька дышать боится, смотрит, открыв рот, чтобы ничего не упустить. А в другой раз сама возьмётся. Справится — друг дружкой не нахвалятся, а не выйдет — в шутку обратят.

Разные по деревне ходили слухи. И то сказать, не водилось в здешних краях, чтобы двумя семьями с одним мужем да в одном доме жить. Кто охаивал, кто посмеивался. Ну, грызлись бы меж собою и пусть, а любя, в полной взаимности — это уже поперёк природы.

Петрухину поначалу было невмоготу. Захочет приласкать Гульку и отдернет руку — чего доброго, Евдоха обидится. Хоть и спали в разных углах, а чувствовал он себя выставленным на позорище. Со временем обвык. Стала Евдоха вроде старшей в доме, не то мамка, не то сестра. Да и какая разница, если всем мило? И впредь бы не тужили, да не от них зависело.

Весной тридцать четвёртого ударила молния в колхозный амбар с семенной пшеницей, и сгорел дотла. И такое случается, но углядели в том вражий умысел и давай таскать Петрухина по комиссиям. Все столетние сводки перетрясли, и падёж скота выявили, и недодачу зерна государству, и двоежёнство ему припомнили. Взяли председателя посреди бела дня на виду у всех и повели под ружьём, как разбойника, в областную тюрьму.

Пусто стало в доме. Некого ждать, не для кого стараться, незачем платяга шить. Одна завелась забота — выстоять очередюгу к тюремному окошку. Но и это однажды кончилось. Не приняли передачу, сказали, что «выбыл».

Собрали Евдоху в Москву за правдой. Коллективное прошение составили, боевые ордена и медали сложили в платок и подшили к поясу, денег по людям насобирали.

Дожидаюсь Евдохи, Гулька счернела лицом, стала кашлять и дёргаться, словно жгла её изнутри какая-то гиблая сила. Ни травки, ни заклинанья не помогали, голос и тот пропал. Если бы не отец, что глаз с неё не спускал, удавилась бы.

Евдоха пропадала больше года. А как вошла в дом, кинулась Гульке в ноги, мол, нет Петрухина и не будет. Так и выли в обнимку, покуда не извелись.

А жизнь берёт своё, не чужое. Из куцей занозистой девчонки расцвела Гулька в писаную красавицу. Ходила павою, говорила с расстановкой, по-савватеевски. Сватались к ней чуть не каждое воскресенье.

— Что, мамотко, скажешь? — спрашивала она Евдоху, сидевшую во главе стола.

— Больно жидковат, доню. Ему самому подпорка нужна.

Жених куксился, сваты сдвигали брови, но перечить не смели.

Через неделю история повторялась.

— А этот, никак, хорошенький?

— Гулящий он, ягодка. Всю жизнь будет долги отдавать.

Тракториста Митьку, пьяного в доску, и вовсе спустили с крыльца.

— Сама тебе мужа найду, — решила Евдоха.

И нашла. Агронома, из политических. За тридцать вёрст ездила сводничать. Тем понравился, что душою прям, чист лицом, слову своему хозяин. Матвеев принял

Евдоху, выслушал с уважением, пообещал навеститься. А увидел Гульку и голову потерял. Может, и вправду опоили председателевы жёнки непьющего мужика. Перебрался агроном в Дарьинку, как срок его ссылки вышел. Свадьбу сыграли скромную, не с чего было песни орать. Посидели семейным кругом, о себе рассказали, помянули дорогого Петрухина, друзей матвеевских, раскиданных по безымянным погостам. На том и породнились.

Вынянчила Евдоха трёх внуков и собралась помирать. Призвала в последний час Гульку, прижалась к ней сухими губами и просила не поминать лихом. Гулька капала слезами на лоскутное бабкино одеяло и тоже просила передать Петрухину привет, как свидятся. Может, и есть другая, лучшая жизнь, не везде же страхом живут. И не стало Евдохи.

Матвеев вернулся с войны невредимый, увешанный орденами. Уговорил Гульку переехать в его Подмосковьё, поближе к родителям. Снялись всем табором, вместе с дедом Савватеевым и нажитым скарбом.

В ночь перед отъездом приснился Гульке сон: шьёт Евдоха себе свадебное платье, в лентах и кружевах, а рядом сидит счастливый Петрухин и качает на коленях их первенца Петруху, приговаривая: «не чужой ты мне, не чужой». Испугалась чего-то Гулька, отняла сына, а Петрухин с Евдохой взялись за руки и пошли. Остановятся, помашут ей и снова идут. Снова помашут и опять идут. Хотела Гулька за ними пуститься вдогонку, да Петруха уцепился за юбку и поднял рёв, она и разжалобилась.

...К полудню добрались до станции, а оттуда на скором поезде напрямиком в Москву. Я сошёл на полдороге, и как у них дальше сложилось, не знаю. Надо думать, что хорошо.

# АСПИД

Научившись читать, я найду это слово в толковом (умном то есть) словаре и узнаю, что аспид — род ядовитой змеи, а в переносном смысле — злой человек, что нет в нём ничего ужасного и таинственного, что мерещилось нам, искателям приключений, помешанным на пиратских сокровищах, деревянных ногах и чёрных метках. Меня охватит тоскливое чувство стыда и разочарования, примерно такое, какое испытываешь при виде мёртвой бабочки, вчера только пойманной и спрятанной в спичечный коробок, высланный мягкой травкой.

...Гоняясь за нашими прихотями, словно за бабочками, разве мы представляем, во что они превратятся, оказавшись у нас в руках?

\*

Ядовитое слово, брошенное бабкой Грипасихой в спину «чёрного» дядьки, недавно вселившегося в кособокую саманную хатку на краю двора, сразу сделалось его прозвищем и проклятием. С тех пор дядю Ваню дразнили Аспидом, на него валили грехи за прибитых кошек, приبلудных собак, им пугали детей, хотя не припомню, что бы он кому-то напакостил или с кем-нибудь разругался.

Бабка Грипасиха, сама похожая на змею вертлявой худобой и маленькой плоской головкой, была, что называется, рупором дворовой общности, повсюду сующей нос и обсуждающей всё, от заявлений Черчилля до цвета трусов красавицы Любочки, носившей слишком длинные косы и слишком короткие юбки. Не знаю, как Черчиллю, а Любочке приходилось постоянно оправдываться

и отбиваться. Бабка нарочно цеплялась к девушке, пытаясь свести её со своим придурковатым сыном, но Любочка на провокации не поддавалась. Она без троек окончила школу, готовилась поступать в институт и гнала от себя женихов.

Грипасиху мы ненавидели, понятно за что, а Любочку обожали за весёлый характер, переливчатый смех, за сказки, которые нам рассказывала в тёплые летние вечера.

В это время Аспид возвращался домой, и достаточно было взглянуть на него, чтобы душа ушла в пятки: квадратные плечи, ручищи, вздутые как у штангиста, заросшее чёрной щетиной лицо с пронзительными глазами, что впивались в нас, усевшихся на траве вокруг Любочки, тоже вдруг терявшейся и замолкавшей на полуслове. Насупленный, звероватый, он шёл по двору тяжёлой раскачивающейся походкой, почти не сгибая ног, будто бы на протезах. Остановившись у хатки, чего-то ждал, возился с замком, потом резко входил и громко лязгал щеколдой.

Что он делал один в четырёх стенах, даже летом не открывая окон, было для нас загадкой, над которой мы бились, споря до хрипоты. Борька, например, считал, что дядька шпион и по ночам шифрует секретные донесения, а рацию прячет в доме, и надо туда пробраться и хорошенько всё прочесать. Лёнька божился, что Аспид ворует детей и заживо жарит их, что он видел дым, поднимавшийся из его трубы, когда солнце пекло всюду и никто не топил печей. Я был уверен, что он беглый каторжник и нарочно не бреется, чтобы скрыть особые приметы.

Наши выдумки объяснялись просто. Борькин отец работал в милиции; Лёнькина мать, похоронившая мужа, тряслась над единственным сыном; я находился под впечатлением книги о мальчике Пипе, тайком приносившем еду разбойнику, сбежавшему из тюрьмы.

Мир приключений и художественных фантазий настолько захватил меня, что, засыпая, я боролся со сном и до звона в ушах прислушивался, не скрипнула ли входная дверь, не раздаются ли в коридоре крадущиеся шаги; с колотящимся сердцем вглядывался в темноту, гадая, что мелькнуло в проёме форточки — ветка тополя или скрюченная рука, нашаривающая шпингалет.

\*

Страх и любопытство разгорались от вечера к вечеру, от сказки к сказке. Всё томило и будоражило: близкое расставание с Любочкой, уезжавшей учиться, её нетерпение, невольно передававшееся нам, запах ночной фиалки, распускавшей белые венчики в душных, быстро сгущавшихся сумерках, шорох угластых совок, пролетавших над головой и стремительно исчезающих в чернильном небе...

И вот мы решились на дерзкий шаг — подсмотреть, что творится в доме страшного дядьки. Ровно в полночь наш боевой отряд собрался у поленницы, сложенной на краю двора, где и находился кособокий объект. Затаившись за грудой дров, мы, попеременно высовываясь, следили за ярко горящим под самой крышей окном. Из хатки доносились непонятные звуки: что-то звякало, хлопало, перемещалось. Внезапно свет погас и вскоре зажёгся снова, но слабый, мерцающий, и послышался детский смех.

— Я ж говорил, — пролезгал зубами Лёнька, — а вы, дураки, не верили...

— А чего он тогда ржёт? — огрызнулся Борька.

Он всегда злился, когда дрейфил, но почему-то не на себя, а на других.

— Да не он это! — рассердился и я.

— А кто?

— Дед Пихто и баба Тарахто! — шёпотом крикнул Лёнька. — Сжарит сейчас и слопает, да ещё на косточках покажется!

У Борьки вытянулось лицо.

— Может, это говорящая кукла? — спросил я первое, что пришло на ум.

Борька покрутил пальцем у виска.

— Он что, больной, в куклы играть?

— Или пластинка с хохмами, как у Тарапуньки и Штепселя...

— Хватит! — отрезал Борька. — Надо глянуть в окно. Пошли за козлами.

— Не пойду, — попятился Лёнька. — А вдруг у него пистолет? Увидит нас и пальнёт, ходи потом с дыркой в черепе.

— Ну и катись к своей мамочке, — презрительно сплюнул Борька.

Пристыженный Лёнька поплёлся за нами к сараям, где стояли ничейные дворовые козлы, и, пока мы их волокли, бубнил, что не дотащим, а когда дотащили, что не взбежёмся с них на поленницу, а когда взобрались, что не дотянемся до окна.

— Да заткнись же ты! — шикнул Борька и scomандовал мне лезть ему на шею.

— А почему не я? — возмутился Лёнька.

— Потому что кабан! Стой внизу и, если что, мяукни три раза.

— Сам хрюкай, — надулся Лёнька, — я тебе не кабан.

Борька крепко держал меня за ноги, но, как он ни старался придать устойчивости нашей пирамиде, нас качало из стороны в сторону. Хорошо, что я успел ухватиться за железный болт, торчавший в стене под окном.

— Ну что там? — придушенным голосом спрашивал Лёнька, а Борька пыхтел и дёргал меня за штаны.

...В комнате горела свеча, освещающая низкий, в трещинах потолок и стены, оклеенные газетами, по которым метались мохнатые тени. На земляном полу с наброшенным на него лоскутным одеялом спиною ко мне сидела голая женщина.

Длинные волосы золотым дождём стекали с её затылка и разбегались струйками по плечам и рукам, протянутым к Аспиду. Он стоял перед нею, замотанный в простыню, улыбающийся, смущённый, прижимая к груди охапку роз, и, обрывая цветок за цветком, неловко швырял их вверх. Разноцветные лепестки кружились в воздухе, словно бабочки, сложившие крылья, и медленно опускались на голову и ладони женщины, ловившей их и смеявшейся тихим переливчатым смехом.

Это было так дико и так красиво, что я, потеряв равновесие, с размаху стукнулся лбом о стекло. И обмер. Аспид смотрел на меня широко раскрытыми глазами с тем же страхом, с каким я смотрел на него. Женщина, поймав его взгляд, обернулась и, вскрикнув, закрыла руками лицо.

Как мы навернулись с поленницы, как врассыпную кинулись по домам, я не буду рассказывать. Борька с Лёнкой напрасно приставали ко мне, выпытывая, кто кого убивал и над кем смеялся. Я наплёл им что-то, и они от меня отстали.

В тот же день, не простившись с нами, Люба уехала. Аспид во дворе не показывался, но Грипасиха говорила, что их видели вместе на вокзале, в очереди у билетных касс.

# Странные люди

Сначала было тихо. Потом грянуло. Все разом загомонили и понеслись.

А эти сидят помалкивают. Работа у них такая. Он писатель, она пианистка. Особенно не разболтаешься, не соломоны.

— Странные вы люди, — удивляются им. — Кругом перестройка, гласность, полный бардак, а вы бездействуете!

— Мы работаем, — отвечают.

— Все работают, — говорят. — Даром у нас никого не кормят.

— А мы не за корм, — посмеиваются.

Что с них возьмёшь?

Едва утряслось, приватизацию объявили. Все снова за руки и бежать.

А эти строчат-бренчат.

— Ну, вы прямо как дети! — злятся на них. — Ваучеры дают, акции выбросили, наших бьют! Включились бы!

— Некогда нам, — отмахиваются.

И за своё.

Одну войну начали, другую никак не кончим. Набега-лись, наорались, сидим. Как эти.

А вы говорите.

# Урок политграмоты

Районный центр утопал в пыли. Мимо автобусной остановки одна за другой проносились полуторки, гружёные свёклой. Невдалеке находился сахарный завод — сквозь оплывшие пухом тополя виднелись кирпичные трубы и доносилось мерное перерабатывающее урчанье.

Тоже мне, райцентр, усмехнулся студент, будто не средняя казачья станица, рассыпанная по обочинам главной и единственной улицы. Покосившиеся изгороди в жилистых лопухах, тесные дворы, они же и огороды, с грядками укропа, гороха и разноцветок. Тут и там корявые вишенки, яблони в осыпающемся цветку и густые набрякшие гроздья лиловой сирени. У въезда в станицу, поднимаясь над мазанками, одиноко стоял облупившийся жёлтый дом с колоннами, подпирающими лепной карниз, бывший клуб, за ненадобностью переналаженный в ресторан. Строили его в пятидесятых годах, основательно, по кирпичику, и было видно, что и, обветшав, он перестоят только что сваренные коробки универсама и редакции районной газеты. Других архитектурных достопримечательностей в Кубанке не было, если не считать памятника погибшим в последнюю войну станичникам: боец из серого камня со скаткой через плечо и с автоматом наперевес, обделанный птицами до известковой голубизны.

Студенту хотелось есть, но не по привычке и не в охотку, как людям, приспособившимся к жизни, а так, как хочется умереть, чтобы навсегда избавиться от неизлечимой болезни. Вокруг остановки копошились в пыли облезлые куры с чернильными отметинами на боках,

за ближней изгородью крутился кабанчик, расхаживали спесивые гуси. Всё это несытое квохтанье, хрюканье и гаканье сводило студенту желудок и распаяло воображение сценами рыцарских пиров, монастырских трапез и графских завтраков на траве. Чувство непросыхающего голода и заставляло его, студента второго курса пединститута, каждую неделю впихиваться в автобус, набитый корзинами и мешками, и переться в так называемый райцентр с его колхозной газетой. Он подрабатывал на всём, что можно было тиснуть в боевой орган, ведущий нескончаемые битвы за урожай, чистоту партийных рядов и воспитание новой формации, от бронебойных передовиц до лирических зарисовок типа: вот и пришла весна, лето, осень. Годились даже стихи, когда старика Кондакова, заведовавшего моралью, вдруг отпускала изжога, и он размякал, как сухарь в сладком кипятке. Беда, что гонорары были копеечные, за месяц еле наскребалось рублей пятнадцать.

Студент поплёлся к чугунной колонке и несколько раз рванул рычаг, пока не полилась струя тёплой ржавой воды.

Сегодня ему крупно не повезло. Редактор остался доволен портретом знатного комбайнёра, «больно прост, ванька ванькой», хотя передовичок и впрямь не тянул на первозванного. И кассирша не вышла на работу — ребёнок в армию провожала. Накрылся антрекот, с безотчётным злорадством подумал студент.

Рядом с ним на скамейке сидел мосластый дед в линялой ситцевой рубаше и рассуждал о чём-то вслух.

— Постарело ты, брат, постарело, поганое стало, бесхозное.

— Ты про что, дядя? — спросил студент скорее от скуки, чем из любопытства.

— Ась? — вскинулся дед. — Про небо. Про что ж ещё?

Студент засмеялся.

— Чем оно тебе не угодило?

Дед потянул воздух большим коричневым носом и с обидой сказал:

— Засрали вы небо, племяннички. Химией своей, космонахтикой. Допрежь оно дугой стояло, а теперя что бабий подол телепается. Землю испохабили и в небо полезли. Вона, любуйся, ни свету, ни привету, одна пылюка.

— Сам-то где был? — беззлобно бросил студент.

— В двадцатых на хуторе ишачил, хозяйство подымал. В тридцатых загорал под Воркутой. Слыхал? Всесоюзная здравница. Премировали за ударный труд. К сороковым выдвинули на поселение. Козой обзавёлся, бабу себе нашёл. Не успел хату достроить — война. Допёхал до Бобруйска и в плен попал. Опосля ещё пятилетку отсидел, на берегу Печоры, тоже красивые места. Воротился, а баба с другим сошлась, сыночек не признаёт. Подался на заработки. Намыкался по чужим углам. К старости вот на родину потянуло. Так что, племянничек, не до неба было, проморгал я твои алмазы.

Дед помотал головой, словно отгоняя мух. Студент сидел, нахохлившись, сцепив руки между коленями. Надо было сказать деду что-нибудь ободряющее, но все нужные слова вдруг выветрились из головы, как на экзамене по старославянскому.

Подъехал пыхающий автобус. Дед подхватил узлы, вскочил на подножку и заработал локтями, пробиваясь вперёд.

В следующий приезд студент разузнал, что ничего такого с дедом не приключалось, что всю жизнь он протоптался в станице конюхом и знаменит лишь тем, что выхаживал бабку Анилина, коня, конечно, замечательного.

Студент ввернул в статью несколько ловких цитат, и «ванькин» портрет пошёл в номер. И гонорар, пятнадцать рублей минус бездетность, он получил. И антрекот с гороховым пюре в трёх экземплярах уплёл и почти

наелся. И в автобус уже на ходу умудрился впрыгнуть. И надо же, случай к случаю, оказался на одном сиденье с мосластым дедом.

— Эх, дядя, — через силу выговорил студент, — тебе бы романы писать, зарываешь талант в землю.

Дед сразу всё понял и сердито пробуркал:

— Какие такие романы? Ну, считай, что не про себя сказал, а про всё моё поколение. Соврал я, что ли? Небо-то уделали, прости господи.

Студент махнул рукой и уступил место тётке с хрюкающим мешком.

# В белом платье голубом

«Будь проще», сказал мне латышский стрелок. Вернее, метатель ядра, чемпион сразу двух республик и одной автономной области, где он прожил около года с гражданкой «Эн». Своих временных жён он так и называл «гражданками» в отличие от законной и постоянно действующей Тамары. Изъяснялся он не вполне грамотно, но экстравагантно. Каждый раз надо было догадываться, что он имел в виду.

В нашу «цветную», как выразился, компанию он попросился сам. Мы (безработный скрипач, студент, две барышни в отпуске, спившийся тренер и я, бывшая половина последнего) сидели на берегу реки, лениво переговариваясь и подставляя солнцу облезшие от загара спины. Близился час обеда, и людей было немного: две бабки с внуками, влюблённая парочка и забавный тип, который лежал на животе, не двигаясь, уже полдня. Мы про него забыли и не заметили, как он поднялся и подошёл к нам.

— Одиночество из шести человек? — произнёс с лёгким прибалтийским акцентом.

Мы, кажется, промолчали, но это не смутило его.

— В таком случае да здравствует великолепная семёрка!

Он и впрямь был великолепен. Таких в Древней Греции отливали из бронзы. Типичный курос, если бы не тяжёлая нижняя челюсть и блуждающий взгляд.

— Давайте я вам спою, — и, потеснив студента, сел на его полотенце.

— Музыкант? — ревниво спросил скрипач.

— Спортсмен. Юрсон. Советский Союз.

— Спойте, — вздохнула одна из барышень. — Только что-нибудь нежное и печальное.

Он сделал каменное лицо и начал перебирать воображаемые струны. Прошло несколько минут.

— Вступление затянулось, — буркнул студент.

— «В белом платье голубом я запомнил образ твой...», — промычал Юрсон и вновь затренькал.

— Так в белом или голубом? — захолопал глазами мой бывший муж.

Он был большой юморист.

— «По обрыву босиком бегали мы с тобой...»

Голоса у него не было. И слуха. И задушевностью он не взял.

— Дальше не помню, — поморщился. — Это моя любимая песня.

— С ума сойти, — хмыкнул студент.

— Странное у вас имя, — вступила в разговор другая барышня. — Хотя звучит.

— Это фамилия, — не обиделся тот. — Зовут меня Юрий.

— Третьим будете, — сострил мой бывший.

— Я не пью, — отрезал Юрсон.

— Я тоже Юрий. И он, — муж показал на студента. — Вы, стало быть, третий. — И добавил с нажимом: — Юрий.

— Я привык быть первым, — вдруг напрягся Юрсон. — Даже у моей жены Тамары я первый. В смысле мужчина и так дальше.

— Надо же, — просипел студент.

— Тамара — бесподобная женщина, но она меня не удовлетворяет.

Мы переглянулись.

— Тебя это шокирует? — обратился он ко мне.

Я ещё не избавилась от девической привычки краснеть по любому поводу.

— Об этом как-то не принято говорить.

— Почему? Мы взрослые люди. Не стыдно говорить то, что думаешь.

— Bravo, — пробормотала я. — Вы в точности повторили слова Зенона. Знаменитый философ. Стоик.

Юрсон нахмурился и некоторое время меня изучал.

— Будь проще, — изрёк наконец.

Меня разобрал смех.

— «Не смущай ты себя — будь проще», наставлял Марк Аврелий. Кстати, из той же когорты.

Юрсон не улыбнулся.

— Еврей?

Тут уже рассмеялись все, и ему ничего не оставалось, как разжать челюсти.

— Не любите евреев? — с ехидцей спросил скрипач.

— Не люблю, — сразу ответил. — Но уважаю.

— Приятно слышать, — не успокоился Стас. — Я, видите ли, еврей. Могу ли я рассчитывать на ваше уважение?

— Можешь, — серьёзно сказал Юрсон.

Мы, не сговариваясь, начали одеваться.

— В девять у парка, — уточнил мой муж.

Все кивнули, в том числе и Юрсон.

Вечера мы обычно проводили вместе. Усаживались на скамейку в дальнем углу парка, попивали винцо и трепались до поздней ночи. Мои каникулы кончались, пора было возвращаться в Москву, и мне не жалко было терять последние деньки на расставание с летом. И с мужем. Его измену я как-то пережила, развод мы отпраздновали почти весело и теперь помогали друг другу привыкать к свободе. Это был самый романтический период наших отношений.

Юрсон явился на свидание надушенный и накрахмаленный, с тремя букетами астр. Все цветочки достались мне, потому что барышни не пришли. И ухаживать, разумеется, он принялся за мной. Первым делом поинтересовался, замужем ли я. Узнав, что уже нет, посочувствовал:

— Хотел бы я посмотреть на этого дурака.

— Пожалуйста, — приосанился мой бывший. — Повернуться в профиль? Так я больше похож на Юла Бринера.

— Ты не любишь её? — удивился Юрсон.

— Люблю, — удивился муж. — Но уважаю. А что?

— Нет проблем.

После этого он сбежал за бутылкой шампанского, потом за второй и за третьей. У него развязался язык, и он наговорил мне столько комплиментов, что у мужа испортилось настроение. Вряд ли поэтому, но Юрсон собрался уходить, хотя ещё было детское время. Впрочем, он гостил у тёщи, «для экономии», пока Тамара бегала по магазинам в Болгарии.

— Ты умная, — сказал он, чмокнув меня на прощание. — Немножко, правда, закомплексованная, но это скоро пройдёт. И добрая. Ты, например, меня удовлетворяешь.

— Я чего-то не знаю? — противным голосом спросил мой муж.

Наступила неловкая пауза. И тогда Юрсон рассказал историю.

Произошла она на сборах, в маленьком курортном городке, куда его со товарищи доставили потренироваться и отдохнуть. Был день рождения Тамары, и, помня об этом, он отказался от вечеринки, устроенной местными девушками в честь их команды. Погулял по городу, отбил жене телеграмму, съел четыре (!) эскимо и отправился на покой, в гостиницу. По дороге стал свидетелем драки, в которую тут же вмешался. Четверо мужиков дрались из-за «вредной бабы», не желавшей выходить замуж ни за кого из них. Юрсон попытался разнять женихов, но нагрянул наряд милиции.

— Бегите! — успел он крикнуть. — Я вас прикрою!

И раскрыл объятия навстречу милиционерам.

— Ну, как вас там учили: рассыпайтесь цепью, ловите меня!

И понёлся со всех своих чемпионских ног. Разъярённые милиционеры, конечно, рванули за ним и, конечно же, не угнались.

Завершая рассказ, Юрсон пояснил:

— Я не стал бы им помогать, если бы они не были дураками.

— Спасибо, — сказал мой муж.

На следующий день я уехала. Больше мы не виделись. Ни с Юрсоном, ни с бывшим мужем.

Грустная штука жизнь.

# Единорог

И привиделся ему Единорог. Форменное чудище. Сидел в кресле, закинув ногу на ногу, в голубом атласном халате и красной ермолке, и курил дамские сигареты. Пепел он стряхивал на ковёр ручной работы, и это возмутило Малютова до глубины души. Он уже собрался сделать скотине замечание, да передумал — происходящее слишком смахивало на бред.

— Да-с, — подтвердил гость, поправляя на лбу очки в золотой оправе. — Зодиакально-депрессивный психоз. Болезнь в наши дни весьма и весьма распространённая.

При этом он усмехался и продолжал гадить на ковёр.

Малютов оторопел. Он был человеком в высшей степени положительным, то есть вёл себя, как положено: не пил, не курил, вовремя оформлял подписку на газеты и журналы, уважал начальство и верил, что завтра будет лучше, чем вчера. В детстве он также не падал на голову, корь и свинку перенёс без осложнений и потому ни о чём чудодейственном не помышлял. Единственный в семье ребёнок, он по наступлении брачного периода был передан на сохранение заботливой жене, проживавшей с заботливой мамой, так что счастливым образом избежал любовных перегрузок и ранней семейной усталости. Всячески опекаемый и ублажаемый, он плыл по течению, не поднимая брызг.

Детей у них с Ираидой не было, от врагов бог упас, от друзей они сами избавились. Ничто не мешало им жить в своё удовольствие, сообразуясь с не зависящими от них обстоятельствами.

Малютов был бы ещё счастливее, если бы не томился одной поганой страстишкой — стать известным писателем или на худой конец каким-нибудь просветителем.

Ни толстовских, ни чернышевских талантов он за собою не замечал, но был уверен, что трудом и терпением можно добиться многого. Он завёл толстую тетрадь в клетку и начал заносить туда свои первые наблюдения и наброски к роману-исследованию под энергичным названием «Единорог». Чем ему полюбился этот мифический однорогий конь, для него самого было загадкой.

Рассыпаясь бисерным почерком с обратным наклоном, инженер исписывал страницу за страницей, прослеживая родословную, привычки и нрав благородного, но отнюдь не благодарного животного. Описанию тот не поддавался, повадки имел дурные и потомства не заводил. Образно выражаясь, он подрывал своим рогом корни малютковского древа познания.

Жизнь между тем продолжалась. Ираида возглавила овощную базу, осуществлявшую смычку поля с прилавком. Тёща влилась в группу жэковской самодеятельности и целыми днями разучивала обличительные частушки. В конце семидесятых правда как метод художественного отображения действительности уже входила в моду, срывание всех и всяческих масок официально приветствовалось. Тёща и прежде не умела держать язык за зубами, а тут, почувствовав безнаказанность, прямо-таки сорвалась с цепи. Она без передышки вскрывала язвы коммунального хозяйства и прочих видов нечеловеческого общежития. Подходящие куплеты мегера откапывала в допотопных изданиях и перерабатывала их на советский лад. Получалось даже неплохо. Социальная активность тёщи пугала Малютова, но в то же время успокаивала, потому что избавляла от необходимости самому участвовать в свалке.

На заводе тоже наметились сдвиги, началась борьба за повышение престижа инженерного труда. Малютову накинули к зарплате десятку и перевели из начальников КБ в ведущие конструкторы. На высвободившееся в результате перестройки место был посажен подающий надежды мастер

заготовительного цеха Коля Лампочкин. Он прославился тем, что чуть не погиб за идею. Изобретённый им турбовиброформатор дал на стенде такую бешеную искру, что новатор забился в судорогах и неделю провалялся в реанимации. С больничной койки он и призвал коллектив, пребывающий в бессознательной спячке, к штурму недосягаемых рубежей.

Естественно, самолюбию Малютова был нанесён чувствительный удар, но отказаться от лишней десятки он не рискнул и сосредоточился на бичевании единорожьих пороков. В процессе исследования высветились некоторые тёмные стороны этой в целом светлой личности.

Изучив гороскопы с 1894 года, Малютов пришёл к выводу, что Единорог покровительствует людям решительным и психически устойчивым, хотя и подверженным нервным срывам. Благоволя к представителям секретных профессий, помогает оным без протекций и лишней крови подниматься по служебной лестнице. Расцвет сил и способностей, как правило, приходится на вторую половину жизни и с лихвой окупает бесцельно прожитые годы. Здесь и была загвоздка.

И Малютов, и Ираида, и даже усатая тёща, сплошь рождённые под знаком Единорога, никогда не имели доступа к особым сведениям и в возрасте крушения иллюзий не достигли ни славы, ни почестей. Не значило ли это, что они обойдены звёздной милостью? И если да, то в силу каких уважительных причин? И нет ли злого умысла сверху, по крайней мере, политической близорукости? Так или иначе, но распределение судеб велось с явными правовыми нарушениями, а покровительство Сатурна отдавало формализмом. Собственно, Единорог мог и не знать о беззакониях, творящихся на местах.

Умеренность, а точнее, холодность урождённых под знаком Земли объяснялась состоянием природы в зимний период. В таком случае тёща проходила по разряду вопиющих исключений. А заявочки насчёт склонности к холостячеству, корыстолюбию и предательству?

Впрочем, намётки торгашества можно было усмотреть в Ираиде, падкой на подношения. Во всяком случае, Единорог не придерживался чётких убеждений и выполнял свои обязанности спустя рукава.

— Время моё ограничено, — вдруг прервал молчание гость. — Не угодно ли перейти к делу?

Говорил он старомодно, с ужимками и экивоками, но вёл себя вызывающе, как последний авангардист. В насмешливом взгляде и брезгливо поджатых губах читалось нескрываемое презрение. Малютов почувствовал себя дураком.

— Вы мне снитесь? — промямлил он.

— Полноте, голубчик. Что там у вас?

— В должности понизили, — почему-то шёпотом сказал инженер.

— Но вы же бездарь, — ласково возразил толстокожий.

И Малютова прорвало:

— Мало у нас бездарей? Главный механик пятый год диплом защищает, начальник электроцеха и вовсе неграмотный, а этот заочный придурок Лампочкин...

— Таковые в моём ведомстве не числятся, — перебил Единорог. — Товарищи разберутся.

— А тёща? — Малютов напрягся всей грудью. — Борщи пересаливает, с соседями на ножах, двух мужей довела до развода!

— У нас не принято дурно отзываться о дамах.

— У вас? Разве вы не единственный в своём роде? — растерялся Малютов.

Единорог пожевал губами, преодолевая скуку.

— Надеюсь, вы понимаете, что существует профессиональная тайна? «Nabeas tibi», держи про себя, латынь.

Вот образина, подумал Малютов, ещё выпендривается, как будто он человек, а не я.

— Поговорим о вас. Чем обязан столь пристальному вниманию?

Малютов помнил текст наизусть.

— К сожалению, феномен зодиакального влияния на характер и поступки отдельного индивидуума ещё не стал предметом всестороннего, так сказать, научного...

— Нельзя ли покороче?

— В общем, я первооткрыватель в этой области. Хочу проследить, как возник символ священного животного...

— Я животное?

— Не птица же!

— Потрудитесь перечислить основные признаки этого класса.

— Ну, они... двигаются и чувствуют.

— Кто? Животные или люди?

— И не разговаривают.

— Ой ли?

— И не смеются.

Единорог хохотнул.

— Чувствуется, что биология не была вашим любимым предметом, но я готов вам помочь. Единорог существо высшего порядка, субстанция *rationalis*.

— А чем вы, простите, питаетесь?

— Энергией разума. Объяснять не буду, всё равно не поймёте.

— И преемники есть?

— Бог миловал. Есть коллеги, приятели...

Неужто и любовницы, кисло встрепенулся Малютов.

— Я, как видите, в отличной форме и в помощниках не нуждаюсь.

Нам бы так, раззавидовался Малютов, глядишь, и до удовлетворения растущих потребностей доживём.

— А как вы относитесь к гороскопам?

— Никак. Это домыслы праздных умов.

— Значит, не обязательно быть представителем секретной профессии?

— Да как сказать, все вы в душе...

И гость постучал по подлокотнику чем-то твёрдым.

— В чём же заключается ваша деятельность?

— Изучаю характеры моих подопечных, данные занову в таблицу. Увы, системка получается нестройная, ну да вы, батенька, виноваты сами.

— А перед кем отчитываетесь?

— Перед собой, уважаемый, перед собственной совестью. Звучит как анахронизм?

— А мы, выходит, брошены на произвол судьбы?

— Каждый отвечает за себя, от каждого и зависит, на что он способен. Вам бы я посоветовал сойти с инженерной стези и заняться стряпнёй. Вы никогда не готовили пампушки в чесночном соусе? Попробуйте, настоятельно рекомендую. Жена вас обеспечит материально, теща... вскоре сменит место жительства.

— Помрёт? — ужаснулся Малютов.

— Бог с вами. Выйдет замуж и переедет к Илье Николаевичу.

— Кто это?

— Какая вам разница? Майор КГБ в отставке, вдовец, завзятый картёжник, — он глубоко затянулся. — Тоже ваш, зимненский.

Малютов поморщился.

— А нельзя ли кого поприличней?

— Не торгуйтесь, надо же и о майоре подумать.

— А Коля Лампочкин?

— Дался же он вам! Не волнуйтесь, в гору пойдёт... и довольно об этом.

— А Ираида?

— Через десять месяцев у неё родится ребёнок.

— Мальчик?

— Вполне вероятно.

— Наконец-то!

— Я сказал «у неё».

— То есть как?

— И с логикой вы не в ладу. Чему вас учили в школе?

Малютов наморщил лоб, но вспоминались одни лишние люди вроде Онегина с Печориным, да обжора Троекуров. Однако обсуждать проблемы школьной реформы с подозрительной субстанцией он не решился.

Вдруг гость рассмеялся, обнажив крупные жёлтые клыки, и сорвал с головы ермолку. На серой лысине проступили какие-то зловещие знаки.

— Не трудитесь, милейший, вопрос чисто риторический.

— А как насчёт светлого будущего? — отчаялся инженер.

— Временные затруднения, — усмехнулся Единорог. — Вам не о будущем надо мечтать, с настоящим бы разобрататься. Чрезмерно раздут бюрократический аппарат, процветают мздоимство и протекционизм, опять же лень, безалаберность. Вы, например, что сделали для прекрасного завтра?

А ведь прав, подлец, устыдился Малютов, никаких подвигов я не совершал и не собираюсь. И КБ осточертело, и все эти трансформаторы-генераторы, не говоря уже о ширпотребе. И феномен не по зубам, и с орфографией сплошные мучения, и зачем ему осложнять свою и без того нескладную жизнь?

Его глаза набрякли слезами. Плакалось легко и даже приятно. Малютов как-то одновременно ощутил себя беспомощным ребёнком и дряхлым стариком, без прошлого и без будущего.

Очнулся он от рыкоподобного смеха и с трудом разодрал глаза.

— Ну, зятюшка, ты даёшь! — потешалась тёща. — Лежишь весь в соплях, угрелся как недоношенный! Я уже и на рынок сбегала, и зуб запломбировала... Ого, половина седьмого! Вставай, будем Штирлица смотреть, как деток мучают, чтоб им самим околеть!

Малютов дико заозирался. Всё стояло на месте: тумбы, кресла, стенка, набитая хрусталём, и цветной циклоп, лихо берущий четыре канала. На вьетнамском ковре ни соринки.

— К нам никто не приходил?

— Почём я знаю? Ты за хозяина оставался!

— Обедать будем? — жалобно спросил инженер.

— Я пас! — грохотнула тёща. — Ираидка кого-то на пенсию провожает, а у меня кино. Сваргань чего-нибудь сам. Мне тут рецептик дали, пальчики оближешь. Вот, пампушки в чесночном соусе.

Малютов охнул и рванулся навстречу судьбе.

# Чёрная перчатка

В соседнем дворе умерла старуха. Мы с Бубой валялись на траве под ничейной вишней, разделявшей наши палисадники, и вспоминали счастливое детство, когда над нами возник Любка и скучным голосом сообщил эту новость. Мы на всякий случай вскочили и уставились на него.

Любка был на три года старше нас и почти второклассник, вдобавок он был внуком болгарского дедушки, знаменитого в тех краях, и даже носил его имя Любомир, которого никто не мог выговорить. Наконец, он всё схватывал на лету и не делал из этого цирка.

— Надо пойти, — сказал Любка. — Все уже там.

Мы шагнули вперёд, но Любка покачал головой.

— Надо одеться.

Тут до нас дошло, что мы без маек и босиком.

— Сейчас, — бодро ответил Буба, — только ты без нас не уходи.

Кажется, он сдрейфил.

Любка угукнул. Он всегда говорил мало, выбирая самые подходящие слова. С ним мы чувствовали себя людьми.

Я немного волновался, потому что никогда не видел живых покойников. В кино не считается, там не поймёшь, кто действительно умер, а кто притворяется. Например, гуттаперчивый мальчик, когда разбился вдребезги, очень даже заметно подглядывал из-под руки.

О смерти мы имели весьма скудные сведения. Добрая Лида (соседка, девятый класс, ямочки на щеках и улыбка «умру — не забуду») каждый вечер рассказывала нам сказки про Чёрную перчатку, что носилась по городу, как ненормальная, и душила всех без разбору. Кто успевал испугаться,

кричал и сопротивлялся, остальные сдавались молча, не приходя в сознание. У нас, конечно, тряслись поджилки, но хватало ума не слишком верить в эту летающую галантерею. Нагляделись мы и на дохлых кошек и прихлопнутых комаров. Правда, однажды я видел на рельсах раздавленного человека, но это был не человек, а его куски. Я так и не разобрал, где ноги, где туловище. Головы вообще не было.

Я быстро оделся и вышел.

— Давай, давай, — уже кипятился Буба, застёгнутый на все пуговицы.

Ему тоже хотелось быть главным, но он не умел командовать и вечно нарывался на щелчки.

— Только тихо, — предупредил Любка.

Мы сбавили шаг и вошли в соседний двор. У саманной хатки, выбеленной до синевы, толпились старухи. Почему-то одни старухи, как будто их процедили, как свернувшееся молоко, и сыворотка вытекла через марлю. Они что-то шептали друг другу, приставляя ладонь ко рту, но друг друга не слышали, и шёпот поднимался до крика. Все на всех по очереди шикали, на минуту смолкали, и вновь раздавалось: «ась?» и «чиво-чиво?».

По забору вилась повитель, фиолетовые и розовые граммофончики с любопытством тарачились из густой листвы. Прямо у окна пылился большой куст сирени, чуть дальше теснились грядки с горохом и огурцами, в гуще укропа гордо торчал жилистый подсолнух. Я сто раз побегал мимо, но старухи не замечал, да и хатка пригнулась в глубине двора.

А вокруг тараторили без умолку.

— Да бросил он её, бросил, ей-бог!

Подсолнух, не отрываясь, смотрел на солнце.

— И как у тебя язык поворачивается?! Сам на войне погибши, и сын с дочкой!

— Поминки-то во скоко?

— Может, уйдём? — заикнулся Буба.

— Фу ты! Спроси у мово, он с ейным в депо работал!

— Поздно, — отрезал Любка.

Грядки были сухие, и горох выгорел до корней.

— Бедная Еремеевна, всю жизнь на людей ишачила и, на тебе, лежит одна-одинёшенька...

— А ты ложься с ней за компанью!

— Ш-ш! Вы что, очумели?

— Ой, гляньте, деточки пришли! Правильно, скажите бабушке «царство небесное».

Мы не успели пикнуть, а нас уже подталкивали к распахнутой двери. Буба шипел и упирался. Любка опять сказал: «только тихо», и мы очутились в тёмном спотыкающемся коридоре. Пахло керосином и чем-то приторным. Пыхтел примус, в тазу колыхалось большое белое варево.

Мы протиснулись в комнату. Посреди неё стоял стол с гробом, поодаль на лавках и табуретках сидели, вздыхая, старухи. В гранёных стаканах по углам стола, потрескивая, горели свечи. Сирень закрывала окно, и свет просачивался полосами, в которых крутилась пыль.

Кто-то подхватил меня сзади под мышки и поднял. Я разглядел в гробу маленькую старушку в белом платке по самые брови. Она прижимала к груди руки, тяжёлые крупные и как бы отдельные от неё. Ничего смертельного в бабушке не было, и я сразу успокоился, даже обрадовался. Устала и лежит, ни о чём не просит, ни на кого не обижается.

— Ты покрестись, — сказал бородатый дядька, опустив меня на земляной пол, плотно утопанный и блестящий, как горбушка, натёртая чесноком. — Она в Бога верила.

«Поминки», «царство небесное»... и я не знал, как крестятся. Дядька показал, и я в точности повторил.

— Шо ты, як басурман, кладёшь слева направо? — накинулась на меня тётка в огромной юбке колоколом и, скрючив мне пальцы, ударила ими в лоб, живот, по правому и левому плечу.

Хорошо, что подоспел Любка. Он отодвинул двумя руками царь-юбку и вытащил меня в коридор. Буба стоял над тазом и принюхивался к вареву.

— Не зайдёшь? — спросил Любка.

— Не-а, я не люблю мертвяков, — поёжился Буба.

Бабка у примуса фыркнула и позвала подруг, гремевших посудой на крыльце. Нам сунули в руки щербатые тарелки, и весёлая бабка плюхнула в них по половнику белой размазни.

— Кутья это, хлопцы, — сказала она, — прощальная каша. Помяните покойницу, чтобы голодную не осталась.

Это было понятно, я схватил на лету, как Любка, не успев подумать. Неважно, что кутья была какая-то пустая и пересахаренная, я честно съел три ложки, больше не смог.

— Молодец, это по-христиански, выручила бабка и забрала тарелку.

Мы протолкались сквозь охающую толпу и вернулись к вишне.

— А я всё съел, — похвастался Буба. — Мог бы и ещё, хотя гадость страшная.

— Она санитаркой в госпитале работала, — перебил его Любка. — Всё хотела про своих разузнать. На мужа похоронка пришла и на сына, а дочка пропала без вести. Она её ждала. И сирень дочкину не срубила.

Любка впервые говорил с нами так долго.

— Сыграем в шашки? — ни с того ни с сего расхрабрился Буба.

— Сам играй, — нахмурился Любка и, резко повернувшись, зашагал своей птичьей подпрыгивающей походкой.

Вечером я не вышел во двор, хотя Буба трижды прибежал за мной. Лида, как обычно, рассказывала сказки. Чёрная перчатка уже справилась с двумя раззявами и собиралась отколоть следующий номер. Но мне уже было неинтересно. Пусть себе летает без меня.

# Женская логика

У Ксении не было нервов. Она не читала газет, не ругалась в очередях и не считала, что, родив ребёнка, совершит беспримерный подвиг. Ксения ходила на работу в свой плановый отдел, крутила «феликс», а в свободное время занималась тем, что не приносит общественной пользы и личного счастья, то есть домашним хозяйством.

Ксения хотела только одного: быть женой Сокрюкова. И даже этим не отличалась от Варвары, его законной жены. Поэтому Сокрюков не знал, что ему делать с любимыми женщинами и по очереди доставлял им радости и неприятности.

Как-то раз, переживая, Ксения сообразила, что это скучно. Сообразив, поступила в институт, аспирантуру, успешно защитилась и сделалась видным экономистом. А чтобы удержать оскорблённого Сокрюкова, родила ему трёхкилограммовую девочку. Сокрюков вынужден был предпочесть Ксению. Теперь она в придачу к прежним обязанностям стирала пелёнки, варила молочные смеси и штудировала Спока. У неё появились нервы, которые начали сдавать.

Варвара, решив, что она не хуже, ушла из планового отдела и вплотную занялась домашним хозяйством. Назло Ксении она тоже родила девочку и забросала мужа поздравительными телеграммами.

Сокрюков заметался снова. Ксения писала третью по счёту монографию, а Варвара прощала ему всё. И дочка от законной жены относилась к нему с большим уважением. Поэтому Сокрюков покинул Ксению и вернулся домой.

Успокоившись, Варвара занервничала. Не желая оставаться дурой и бабой, она окончила педучилище и университет марксизма-ленинизма и возглавила печатный орган. У неё тоже не стало хватать нервов на Сокрюкова.

В конце концов он предложил всем жить вместе. Но любимые женщины, как сговорившись, разом отвергли его. Так и не понял Сокрюков, чего они от него хотели.

# Итак, пишу

Я калека. У меня нет ног, рук и ушей. Я пишу, зажав карандаш зубами, на стенке коробки от пылесоса «Электролюкс». Я в ней живу. На свалке. Я хочу умереть. Но ещё больше мне хочется есть.

(Это невозможно представить. Это можно только вообразить. Используя художественные приёмы, которыми я владею в совершенстве, и опыт личных терзаний, в коих тоже не испытываю недостатка.)

Коробка маленькая, не развернуться. Она натирает мне бока и больно упирается в лоб. Будь проклята эта новейшая портативная техника, предназначенная для удобства и экономии места. Но в тесноте живут одни бедняки, а им не по карману такой дорогой пылесос. Они пользуются агрегатами допотопного образца, ревущими, словно мамонты перед тем, чтобы вымереть и освободить дорогу новой популяции. В этом глубинный смысл поступательного движения. Не важно чего, куда и какой ценой.

Зачем богачам лишнее место в огромном доме? А зачем калеке язык? Вопросов много, есть о чём подумать. Это отвлекает от мыслей о еде. И работе.

В России мало работают, потому что много думают.

Итак, живу. На свалке. Скажем, истории (не так унижительно). Условий для реального существования — никаких. Из формальных возможностей: зубы и карандаш. Вонь ужасная. Я завидую дохлой кошке и кипе старых

газет, уже переработанных и сгруженных в контейнер. Сбросят ли его на дно океана или запустят в верхние слои атмосферы, знать не желаю.

(Протираю глаза руками, спускаю ноги с кровати, слышу шум работающего пылесоса. И стены моей коробки достаточно разнесены, чтобы не наткнуться на них. Я не калека. Я могу пережить чужое несчастье. Не зря ведь слушаю радио и смотрю телевизор. Все эти киллеры, триллеры, погони по этажам действуют, как наркотики, вырубая сознание вместе со страхом и подавленными инстинктами. Очнёшься и поневоле возрадуешься, что жив и на куске хлеба и глотке воды ещё продержишься, ого-го, ещё как продержишься! И день, и два, пока вновь не засосёт под ложечкой, вновь не захочется чего-нибудь человеческого. Не обязательно съедобного.)

Итак, пишу. Что? «Жизнь ужасна, и она продолжается».

(Умываюсь. Пью кофе. Но не могу забыть о нём, задышащемся в коробке от пылесоса. Он беспомощен, голоден, каждое слово стоит ему невероятных усилий. Надо помочь, но как?

Предположим, я разыщу его. Принесу домой, вымою, накормлю, посажу перед телевизором. Несколько дней он будет счастлив. Потом привыкнет. Потребности возрастут, а с ними и чувство неудовлетворённости. Глядя на меня, здорового, работоспособного, но не имеющего ни минуты душевного покоя, это легко проследить.

Можно, конечно, напрячься и посвятить мою жизнь ему. Так сказать, поменяться ролями. Выиграет ли от этого человечество?

Стыдно. Мне часто бывает стыдно, но долго мучиться нету сил — они уходят на транспорт, работу, воспитание детей. У тех свои проблемы с руками, ногами и особенно

ушами. Они не слышат нас, заклиняющих их не делать наоборот. Навозисься с ними до беспамятыства, и пропадет охота о ком-то ещё заботиться. Самому бы не слечь.)

«Жизнь ужасна...» Нужна запятая? По-моему, знаки препинания тормозят движение слов.

(Я один. Жаркий осенний день. Всё лето дуло, лило, а теперь нате вам, наслаждайтесь теплом, только побыстрому. Не осень, а курортный роман.

Пью... кажется, это я уже говорил. Дети в школе, жена у соседки, осваивает купленный вчера пылесос. Никто не дёргает, не требует, не посылает. Желания в пределах доступного: кофе и покурить. В идеале — что-нибудь написать. Может, это и есть свобода?

А тот, на свалке, кончается. Ему не нужна свобода. Какими будут его последние слова? Какими они вообще бывают? Самыми главными? Самыми искренними? Например: «Передайте Иван Петровичу, что я умер с его именем на устах». В этой связи уместно вспомнить выражение: «ругаться последними словами».

О чём он думает? Да обо мне! Вот, говорит, сволочь, сидит в собственном доме, пьёт кофе, качает ногой и, видите ли, переживает. Мне бы его заботы, уж я бы всем показал! И как работать, и как любить, и как бегать по этажам! Днём бы ел, а ночью читал детективы.

Наверное, он ненавидит меня.

Детективы же любят, потому что они развиваются по канонам любовной интриги: заигрывание, заманивание, захватывающая дух погоня, разоблачение и ах! узнавание на грани разочарования.)

Машина всё ближе. Она щёлкает зубьями и пышет натруженным брюхом. Я уже не хочу есть. Мне даже не хочется умереть.

(Раньше меня спасало вживание в чужой образ. Почувствуешь себя смертником накануне казни или старикашкой, разбитым параличом, и тут же вскипает кровь и жажда бурной деятельности. С фантазиями на тему я завязал, о славе и подвигах не мечтаю. Но как научиться довольствоваться малым, когда так много дано? Как побороть тоску по жизни прекрасной? Не то, что бы без нитратов, а хотя бы без подлости и вранья.)

У меня почти не осталось времени. Сейчас коробку, вместе со мною, сжует эта лязгающая перерабатывающая машина, и погибнет мой труд. Может, другого он и не заслуживает. Да, жизнь ужасна, но всем наскучили прописные истины. Впрочем, ничего нового мир не придумал за последние две тысячи лет. А нужно ли новое? Старое бы понять и прочувствовать! Не умом, как некую закодированную информацию, а всей безнадёжностью нашего существования! Из праха в прах — что ещё безнадёжней? Да к тому же где-то на середине пути вдруг осознать, что и этот отрезок ты прожил неправильно, несправедливо. Кому удавалось не согрешить ни в чём? Разве что святым. Но святыми они становились потом, после смерти, отрешившись от слабостей и соблазнов. Всё человеческое изначально греховно, если смотреть с высоты. Вниз, однако, не глянешь, не склонив головы.

Прощай, шедевр! Никто тебя не прочтёт. Но это не значит, что я трудился напрасно. Я пересилил голод и нежелание жить. Я сделал, что мог, и совесть моя чиста. Значит, жизнь не так и ужасна? Вопреки всему? Надо выправить эту фразу! Не успею! «Жизнь... продолжается».

(Я услышал его слова. Встал и пошёл за хлебом.)

# Мишич

До поездки в Новороссийск, куда мы по просьбе руководителя литкружка Маргариты Львовны сопровождали юнкоров, я видела этого человека лишь мельком. Он был шофёром домпioneerского автобуса, носатой развалюхи небесного цвета, и постоянно находился при нём, что-то подвинчивая и подмазывая. Запомнился механически, как деталь транспортного пейзажа, так что встретить я его на улице без ветоши и гаечного ключа, не узнала бы и прошла мимо. Всё же, думаю, он резко выделялся в толпе: жилистый темнолицый, с настороженным взглядом немигающих глаз. И двигался бесшумно и вообще смахивал на абрека.

Мы с Тутти давно вышли из пионерского возраста. Учились в столичных вузах, перешли на второй курс и приехали домой отъедаться и загорать. Но Кубань, спасибо мелиораторам, вконец обмелела, а водохранилище затянулось ряской и отдавало серой, как перегоревшая мечта. Когда-то крутой и зелёный берег оплыл и выгорел; тут и там бегали нахальные гуси, валялись свиньи, шастали козы, отбивая всякую охоту слиться с природой.

Через неделю прогулки по пыльным скверикам, «скверные прогулки», стояли у нас в горле, не говоря уже о борщах и вареньях. Ничего особенного мы и не ждали от родного города, на две трети населённого пенсионерами. Обжорство и сплетни были здесь главной заботой и, похоже, единственным развлечением. Поэтому мы обрадовались возможности вырваться на море и заодно сослужить добрую службу Рите, как между собой называли Маргариту Львовну. Трудно сказать, кем она приходилась нам: и другом, и учителем, и нянькой, и матерью. Собираемый образ

в чистом виде. Я бы поставила ей памятник за отчаянные попытки приобщить нас к мировой культуре.

В Новороссийск ехали перенимать передовой опыт. Тамошние юнкоры организовали какое-то морячко-журналистское братство, отвоевали страницу в местной газете, печатали свои опусы и звали всех желающих ознакомиться с их активностью. Ритины третьеклашки, участь декламации, тоже слабели при виде печатного слова, но к газете их на выстрел не подпускали, так что моряцкий опыт очень мог пригодиться.

Отправились чуть свет. Автобус завёлся не сразу. Мишич, как звали абрека, свирепо крутил баранку, жал на педали и ругался, заменяя матерные выражения общеупотребительными, но чудесным образом сохраняя смысл. Рита то и дело вздрагивала, а детки были в восторге.

Мы тряслись целый день, обливаясь потом и глядя сквозь приваренные рамы на кукурузные поля и выжженные на солнце виноградники. Юнкоры глушили прихваченный из дому лимонад, горланили походные песни и раскаляли своим нетерпением и без того перегретый автобус. Мишич изредка бросал на них любовно-уничтожающие взгляды и соответственно выдавал: «ну, троекуровцы, мать ваша родина».

Город-герой встретил нас удущьем пыли, прибитой дождём, и запахом сырой рыбы. Свежевыкрашенные дощатые домики тесно стояли вдоль узких улочек, сбегавших к морю, и были похожи друг на друга, как только что отремонтированные катера. Во всём ощущалась небрежность, матросская временность, словно город готовился к отплытию и абы как учился, работал и толкался в очередях.

Нас разместили в спортивном зале пустой школы, и кружковцы, попадав на маты, дружно вырубались. Задремала и Рита, словно придавленная огромной ответственностью, не покидавшей её и во сне.

Мы с Тутти устроились на широченнейшем подоконнике и впервые за день спокойно закурили. Неслышно

подошёл Мишич и спросил, люди мы или нет, не распи-  
вать же ему в одиночку, как алкоголику, эту братскую пол-  
литру. Мы были людьми и обсуждать это не собирались.

Мишич, заметно повеселев, извлёк из авоськи завер-  
нутые в газету солёные огурцы, две луковицы, буханку  
хлеба и ливерную колбасу. Красивенько всё разложил.

— Для вас, институток, стараюсь. Оцените, пока не  
звезданулись.

Достал из кармана три гранёных стаканчика и, хмык-  
нув: «старинная русская мера», наполнил их доверху вод-  
кой. Мы с Тутти поёжились.

— Сперва скажи, — обратился он ко мне, — с какой ста-  
ти-яти подругу тютей обзываешь?

— Тутти, по-итальянски, «всякая всячина». Татьяна,  
конечно, не всячина, но от неё всего можно ожидать.

Подруга посмотрела на меня с неожиданным инте-  
ресом. До сих пор право первого удара принадлежало ей.  
Но всё когда-нибудь надоедает.

Мишич взял огурец.

— Не отвлекайтесь. Передовой опыт пошлём на хутор  
бабочек ловить. Первым делом — сам не верь и другим не  
давай. Поехали.

Мы выпили, закусили и переварили совет.

— Во-вторых, не бойсь. Серунов бьют больней. Усвоили?

Мы выпили, закусили, усвоили.

— На колбасу нажимайте, бобики, не зря её собачьей  
радостью зовут. Мол, жри и не гавкай. Лично я не в оби-  
де — какая жизнь, такая и радость.

— Злой ты, Мишич, — задумчиво сказала Тутти.

— Ага, — легко согласился он. — Добрых мигом в расход  
пустили, а нас оставили для профилактики — недотёпам  
мозги вправлять.

— Кого это вас? — не сдавалась Тутти.

— А ты догадайся. И напоследок: не проси. Где хочется —  
там колется, где колется — там три шкуры дерут. Тягнули.

— Всё-то ты, Мишич, знаешь,— вздохнула Тутти, отодвигаясь от меня.

— А ты не смейся, артистка,— вдруг обиделся Мишич. — Я не сразу умный стал, десять лет учился, без переписки.

Наступила мёртвая тишина. Я собрала объедки и отнесла их в туалет. Тутти с Мишичем курили у окна.

— Вот на старости лет пионером заделался,— повернулся он ко мне. — Я ведь на автобазе вкалывал, грузы перевозил, народнобесхозяйственные. Тут эта зараза распространилась, соцсоревнование долбаное, то километраж накинута, то оборот урежут. Я и встал на рога. В технике разбираюсь, аварий не имел, да и не сямка, чтобы мягкое место рвать за какое-то переходящее знамя. У меня жена инвалид и пацанов двое, а шея одна и та кривая. Короче, два года доставали, пока не плюнул и рассчитался.

— А я слышала, что ты запчасти толкал налево,— опять не удержалась Тутти.

Есть моменты, когда лучше помолчать. Тутти до этого не доросла и не упускала случая блеснуть своей непосредственностью. Не могла же я без конца дёргать её за руку.

Мишич насупился.

— Думаешь, буду отнекиваться? Все химичили, а накрыли только меня. Ладно, замнём для ясности.

То ли водка была паршивая, то ли разговор вышел дурной, но я заснула с тяжёлым сердцем.

С утра потащились в моряцкое братство, и юнкоры уткнулись в газетные подшивки и методические воззвания. Дети играли в скучные взрослые игры и путались в под-сказках, как лилипуты в Гулливеровых штанах.

Мы с Тутти отпросились на пляж, но полил кислый дождик, и пришлось отсиживаться на мокрых лежаках под реденьким навесом, созерцая вздувшееся море.

— Хитрый этот Мишич,— сказала Тутти поёживаясь. — Ни одному его слову не верю.

— «Мишич и три заповеди». Хорошая тема для курсового спектакля. Я бы на твоём месте воспользовалась.

— А ты уши развесила! Как же, Иван Денисович, собственной персоной! А за что он сидел? Словарик у него ещё тот, карманный.

— Десять лет за уголовщину не давали.

— Это он говорит, что десять. Дяди любят маленьких пугать.

— Ты же не испугалась. И покуражилась над человеком, а прощенья просить не будешь. Получается то же самое: не верь, не бойся, не проси. Комбинация из трёх пальцев.

— Ловко он тебя обработал. Ну что ж, набирайся опыта, а я не желаю слушать всякую чушь и улыбаться твоей извиняющейся улыбочкой. Обойдусь без героики.

Тутти спрыгнула с лежака и, помахивая босоножками, зашлёпала к выходу. Видно, мы здорово изменились за год, если перестали понимать друг друга. Но она и раньше ревновала меня ко всем, кто казался мне интересным.

После обеда юнкоры обзирали городские достопримечательности, и мы до вечера проторчали в школе, поджидая их.

Рита, едва вошла, тотчас насторожилась и завела длинный обстоятельный разговор о текущей литературе. Однако мы с Тутти плыли в разные стороны, и расстояние между нами увеличивалось с каждым словом. Мишич был ни при чём, но он обозначил водораздел.

Детки, оставшись без присмотра, бузили от всей души. Колька сорвался с брусьев и расквасил нос. Артёмка стащил у Натки яблоко. Томка взобралась на шведскую стенку и застряла под потолком. Гвалт стоял неопиcуемый. Но происходило ещё кое-что, тихое и безнадёжное. И Рита устала сопротивляться.

На следующий день морячки принимали нас в своей летней резиденции. На опушке леса высилось фанерное сооружение, одновременно похожее на пароход, космический корабль и мусороуборочный комбайн.

Нам выдали настоящие матросские тельняшки и велели построиться вокруг столба, на котором трепетал их священный флаг. Тут же нас посветили в моряцко-журналистское братство и повязали на шею сине-красные галстуки. При этом братцы пели специально для них сочинённый гимн. Наши ребятки стояли, как зачарованные, и смотреть на них было одно удовольствие. Мишич топтался поодаль, покуривая и отгоняя комаров.

Потом нас потчевали рыбацкой ухой и подкисшим лимонадом. Не успели мы отдышаться, как забил барабан, и началась художественная часть: викторина, перетягивание каната, бег в мешках и революционные песни вокруг костра, что никак не хотел загораться. В который раз я порадовалась, что со счастливым детством покончено навсегда. На прощанье мы сдали тельняшки и галстуки и расписались в судовом журнале.

Ночью спали как мёртвые, а на рассвете двинулись в обратный путь. Обессиленные впечатлениями юнкоры клевали носом, и Мишич шуточек не отпускал. Мы с Тутти сидели напротив водительской кабины, в третьем ряду (два первых были завалены рюкзаками), и от нечего делать смотрели в окно. Было душно и тревожно.

Остальное произошло в считанные секунды. Из встречного потока вдруг вынырнул цементовоз и помчался на нас с осязаемой быстротой. Раздался тупой удар, брызнули стёкла, и мы, словно со стороны, услышали наши вопли.

— Выходи! — крикнул Мишич. — По одному!

Тутти бросилась к детям, а меня зажалось сплюснутыми сиденьями, и я никак не могла найти мои ноги. Стоячая не почувствовала боли, только по спине текло что-то липкое и тёплое, как вчерашний лимонад.

Движение на дороге остановилось. Гудели машины, бежали на помощь люди. Всё это я видела будто в тумане, жутко хотелось спать. Трое мужчин отдирали Мишича от руля, он хрипел и отбивался.

Дошла очередь до меня. Извлекли по частям, вынесли, уложили в общую кучу. Обожгло: зелёная травка и ярко-красная детская кровь. Где-то за кадром сдавленный голос Риты: «все живые, все», и наплывом — Туттино лицо, искажённое страхом: «нога».

Подруга лежала не двигаясь, без сознания, но и без единой царапины. Я подползла к ней на четвереньках и начала легонько трясти её. Она приоткрыла глаза, проворботала: «твоя нога» и вновь испустила дух. Встать мне не удалось. То, что недавно было моей любимой толчковой ногой, превратилось в серо-буро-малиновую подушку и вспыхнуло острой нестерпимой болью. Плохо помню, как нас запикивали в чей-то автомобиль, везли куда-то в больницу. Рядом плакала Оленька, у которой ручка болталась на прозрачной кожице, и мы её подбадривали и уверяли, что нам ещё повезло.

Теперь расскажу по порядку. Мишич сразу сообразил, что столкновения не избежать и, развернув машину, принял удар на себя, с расчётом, что та по инерции сползёт в кювет, как и случилось. Надо было обладать не только здравым смыслом, умением и чутьём, но и божьим даром, чтобы, как он, пройти между жизнью и смертью, да ещё протащить за собой шестнадцать душ. Больше всех пострадал, естественно, он: в трёх местах сломана грудная клетка, множественные разрывы связок и мышц. Год пролежал в гипсе и потом два года передвигался в коляске и на костылях. Выяснилось, что виноват был солдатик, водитель цементовоза, сдуру пустившийся на тройной обгон. В момент наезда он очень удачно вылетел из открывшейся двери и отделался фонарём под глазом. Детки тоже особенно не покалечились, получив нестрашные вывихи и ушибы. Тутти растянула запястье, но держалась мужественно и не стала ссориться с медсестрой, сделавшей ей по ошибке противостолбнячный укол. Невредимой осталась лишь Рита, о чём она до сих пор сокрушается.

Спустя месяц, когда мы долёживали и додумывали приключившееся с нами, пришли повестки в краевой суд, куда нас приглашали для установления истины. На совет собрались у Мишича. Все мы, совершеннолетние (совершеннозимние, как уточнил Мишич), то есть он, Рита, Тутти и я, написали заявления, что суду доверяем, что живы-здоровы и солдатику желаем того же, а посему просим обойтись без нас. Заявление Мишича вряд ли огласили в суде, так как в конце он сделал одну остроумную приписку относительно дачи показаний, над которой мы грохнули на всё травматологическое отделение. Даже чувствительная Рита, потеряв всякий стыд, чмокнула Мишича в повязку, под которой угадывалась его угольная щека.

Приехав на следующее лето, я разыскала Мишича, и мы распили поллитру на двоих. Жена от него ушла, а пацаны прибежали каждый день и приносили ему горячий обед из соседней столовки. Наш спаситель не унывал и шутил пуще прежнего. Он подрядился выпиливать на дому колодки для обувной фабрики и даже схлопотал звание ударника «кому-нести-чего-куда».

Набравшись храбрости, я спросила, не жалеет ли он о своём героическом поступке.

— Жалею, что вас не угробил? Да вроде нет. А себя страхуй, не страхуй...

Как мы лечились, учились, боялись, верили, но никого ни о чём не просили, долго рассказывать, это уже другая история.

С тех пор мы с Мишичем не встречались. Он уехал жить к брату, кажется, в Пензу. Переписываясь с Ритой, я имею представление о том, что подельывает Тутти, моя лучшая подруга.

Ближе к осени, на исходе августа, у меня начинает ныть правая нога. Когда становится невмоготу, я иду в церковь и ставлю свечку за Мишича. Невероятно, но помогает.

# Октябрь

Льёт как из ведра. День, второй, третий.

— Хорошо, — говорит моя тётя, — земля напьётся.

— Зачем ей напиваться? — спрашиваю. — Осень.

— Высохла за лето, — отвечает.

Она у меня поэт. В душе. И я у неё поэт. Не в душе, а так, без всякой привязки к месту. На меня действует только время, то есть погода. Летом я высыхаю, как земля, осенью утопаю в слякоти.

— А вообще какой месяц? — интересуется тётя.

Вообще-то октябрь, но лучше не говорить.

— Ноябрь.

— Значит, скоро мой день рожденья. А год?

— Девяносто пятый.

— Мне исполнится... девяносто...

— Один.

— Как много! Никто из наших столько не жил.

Низкое рваное небо похоже на старый зонт, вывернутый от ветра и не защищающий от дождя. Тот, кто его придумал, не был поэтом. Он хотел из любви извлечь пользу.

— Я нашла работу, — наконец сообщаю ей вчерашнюю новость. — Курсы русского языка. Три часа в неделю. Двенадцать человек.

— Слава Богу! — восклицает тётя. — Хоть немного отвлечёшься.

Недавно она восторгалась тем, что ничто не отвлекает меня от писанины, над которой просиживаю-просаживаю дни и ночи.

— Деньги почти никакие, — бросаю.

— Не в деньгах счастье, — подхватывает.

Она действительно так думает. У неё не было возможности убедиться в обратном. Её пенсии едва хватало на лекарства. Там, на родине, по которой мы пятый год тоскуем.

— И автобус туда не ходит.

— Прогулки на свежем воздухе укрепляют нервы.

Тётя верит, что всё, что ни делается, к лучшему. Я молча киваю, не хочу огорчать её своим упадочным настроением. Моего уныния хватит, чтобы затопить океан мировой скорби, и без того переполненный волнами эмиграций. Происходит ведь нечто катастрофическое — очередное великое переселение народов. Может, последнее в новейшей истории, после чего начнётся эра не известно кого и чего. С юга на север и с востока на запад перемещаются тьмы и тьмы с единственной целью — выжить, и без всяких средств, оправдывающих средства. Каждое такое вторжение отбрасывает цивилизацию назад. Вот какие нехорошие мысли лезут мне в голову.

— Я сегодня считала умерших родственников, — говорит тётя. — Сорок четыре человека. Ужас.

А в масштабе планеты, по скромным подсчётам, дали дуба семьдесят семь миллиардов. Это уже не статистика — беспредел.

— Хочешь конфету? — пытаюсь я подсластить горечь наших похоронных раздумий.

— Хочу, — оживает тётя.

Она довольна, что нашлась ещё одна тема для разговора. Я тем временем продолжаю работать. В шестнадцатый раз переписываю пятьдесят седьмую главу.

— Шоколадную или простую?

— Конечно, шоколадную. И простую, если не жалко. На том свете не дадут.

— Угу.

— Всю жизнь я любила сладкое.

Дождь не утихает. Октябрь. Годовщина маминой смерти. Дедушкиной. Бабушкиной. Так возникают мифы.

Бегу к телефону. Звонит наш французский друг, бизнесмен, курсирующий между Ростовом-на-Дону и Ле-Маном на Сарте. Продающий и покупающий пшеницу, запчасти, матрёшек и льняные скатёрки. Говорящий на всех языках.

— Извините, я забыл передать ваше письмо. Был в Москве всего один день, бегал туда-сюда. Вспомнил, когда уже сел в самолёт. Через месяц поеду опять. Вы позвоните друзьям, пусть ждут.

— Спасибо, обязательно позвоню. Спасибо. Я понимаю. Оставьте письмо у себя. Спасибо. До свиданья.

— Как смешно чирикает наш телефон, словно птичка,— смеётся тётя.

— Да,— говорю,— живём как в лесу.

Я у тёти одна, не считая зятя и внучек. И она у меня единственная. По тем же соображениям.

— Пойдём вымоем ручки,— обнимаю её.

Она слепая и хроменькая и без моей помощи передвигается с риском для жизни. Руку уже сломала, ушибла бок, растянула ногу, и всё за каких-то два года. Не берёт меня смерть, шутит. Взяла бы, да я не дам, не шучу.

А дождь льёт.

— Вот выглянет солнышко, и мы с тобой поедем гулять. Я накачала шины.

У неё собственная коляска. Нет, не рессорный четырёхместный экипаж с откидным верхом, в котором она каталась до революции. Инвалидная. Зато бесплатная. Выданная *securite sociale*.

— Какие хорошие здесь люди,— с воодушевлением произносит тётя. — Хороших людей намного больше, чем плохих.

— Это точно,— легко соглашаюсь я.

— Скорей бы начали топить. Холодина.

Я укрываю её пледом и целую в белую голову.

— Какая мягкая теплота,— бормочет она, засыпая. — И работа есть, и октябрь пройдёт, а там видно будет...

Пророческие слова.

# Брюхо

Жило-было брюхо. Ело себе, варило, бурчало, когда что-то не нравилось, словом, делало то, что надо, и не лезло в чужие дела. А это уже немало в наше бесцеремонное время. Ведь наступят на ногу и даже спасибо (правильно: спасибо) не скажут. Наобещают с три короба и тут же забудут и свои обещания и тебя самого с твоим именем и неповторимым носом. И это люди, высокоорганизованные существа, не то что отдельно взятое брюхо. О других органах, которые только называются внутренними, и говорить не стоит. Всех внешних врагов не хватит, чтобы покрыть их невидимый вред. Но терпим, потому что противно связываться. Дураку же не скажешь, что он дурак, обидится. И подлецу доказывать нечего, что он подлец, он и сам это прекрасно знает.

Но вернёмся к брюху. Жилось ему, по советским меркам, неплохо. Случались всякие временные затруднения, но у кого их не бывает? Люди же разучились нормально есть: или обжираются или морят себя голодом. Скучно им быть обыкновенными, хочется всех удивить. К сожалению, иногда это у них получается.

Однажды брюхо перетрудилось и крепко расстроилось. А от расстройства одно спасение — крепко задуматься. И стали брюхо одолевать несвойственные ему мысли. Почему не оно, а кто-то за него решает, как и что ему есть варить? Оно не менее главное, чем голова и сердце, во всяком случае, посильнее слепой кишки.

И постановило брюхо самоопределиться. Заявило о своих суверенных правах и в одностороннем порядке отказалось от диалога. Пищу, разумеется, принимать

продолжало и конечный продукт исправно отбрасывало, но на просьбы о взаимовыгодном сотрудничестве не реагировало.

Вскоре пришлось задуматься ещё крепче, так как пищевод тоже что-то удумал, и начались перебои с едой. С другой стороны, взбунтовались кишки, требуя своей доли в общей неразберихе.

Забегая вперёд, скажу: обошлось без крови. Поломка устранена, организм работает в прежнем режиме. Мораль? А нужна она? Разве брюхо перестанет быть брюхом? И люди лучше людей не станут, на то они и люди. Короче, всё идёт, куда шло, и этому можно только радоваться.

# Профессорская дочка

— Как я вас понимаю, — вздыхает Саша, облизывая пальцы, вымазанные кремом.

Неужели ещё съест, с тоскою думает Митя, а её рука уже тянется к горке пирожных, выложенных на восьмиугольном блюде.

— Ничто в этой жизни нам не даётся даром, — розовея от удовольствия, продолжает она с полным ртом. — И всё-таки вы счастливчик... перешли на четвёртый курс, сочинили симфонию... папа рассказывал, что на концерте вас буквально рвали на части...

При слове «буквально» она закатывает глаза и морщит выпуклый лоб.

Митя разглядывает старинные часы, похожие на собачью будку. Он упорно молчит, убивая время. Каждые пятнадцать минут часы бьют, напоминая об этом.

— Начнём?

Саша кивает и, смочив минеральной водой салфетку, тщательно вытирает губы и липкие пальцы. Митя делает вид, что читает ноты, а сам злится на эту самодовольную куклу, ради которой он отказался от летнего отдыха, вернее, ради репетиторских денег, чтобы, наконец, купить себе зимнее пальто, а матери — давно обещанный пуховый платок.

Тут же он представляет, как мать примеряет его перед зеркалом, продевает в колечко (именно так проверяется настоящий платок из козьего пуха!), как смущённо оправдывается в своей билетной конторе: «Гляньте, девочки, что сын из Москвы прислал. Всё лето прозанимался с профессорской дочкой, даже на свой день рождения

не приехал, дурак родной». И все станут восхищаться, не скрывая зависти, ощупывать платок и прикидывать, сколько стоит и долго ли проносится.

Саша тянет его за рукав.

— О чём вы всё время думаете? Это, знаете, не поджентльменски!

Пристыженный Митя устанавливает на пюпитре ноты и обращается в слух. Саша играет вяло, показывая, как ей скучно и грустно зависеть от человека, не способного её оценить, смотрит поверх рояля и кривит рот.

Бьют часы. Бьют по нервам, с отяжкой, и Митя взрывается:

— Так нельзя! Вы... вы издеваетесь над Шопеном!

Саша впервые видит его рассерженным, ей смешно и чуточку страшно. Наверное, она влюбилась в него, как в Киреева и Мещерского.

— При чём тут Шопен?

У Мити темнеет в глазах. Он срывается с места и начинает бегать по комнате, натываясь на стулья, кушетки и какие-то фикусы.

— Да поймите же вы! Он болен, болен смертельно! Ему изменяет женщина, с которой он связан всем смыслом, всем ужасом своего существования! Он не может порвать с ней и не в силах простить её, он мечется между жизнью и смертью! Это не музыка, это сама судьба!

Митя ударяет по клавишам, словно не Шопена, а его, студента четвёртого курса консерватории, настигла эта смертная мука, ревность всего умирающего к живому. Он ещё сопротивляется, но сердце его надорвано, и безжалостный март врывается в раскрытые окна стуком мокрых веток, треском газовых фонарей, окриками извозчиков и могильным фиалковым запахом прелой земли.

Саша стоит у книжного шкафа, прислонившись лбом к холодному стеклу, и глотает слёзы. Конечно, и Митя на ней не женится, как Киреев и Мещерский, учившие

музыке, а научившие чёрт знает чему. И не нужны ей эти умирающие бемоли, она совершенно нормальная и здоровая, ей хочется обыкновенного женского счастья, как у мамы и артистки Орловой, посылающей в зал ослепительные улыбки.

Она бросается к Мите и жадно целует его, и он прижимается к ней растерянно и благодарно. Вдруг в прихожей хлопает дверь, раздаётся квакающий тенорок профессора, и они отскакивают друг от друга.

Профессор присаживается к столу, требует чистый стакан, Сашина мать несётся, на бегу снимая передник, он пьёт, она подаёт салфетку, он рассеянно вытирает лысинку и затевает беседу. Они говорят, говорят, говорят, потом, вдруг вспомнив про Митю, предлагают ему выпить чаю с пирожными, только что из кондитерской, и Саша смотрит на него умоляюще.

Митя отнекивается, пятится и в конце концов оказывается на лестнице. Одолев её в три прыжка, мчится по улице, проклиная пальто, платок и всё, что ему никогда не достанется даром. О да, бормочет он вслух, сжимая и разжимая окоченевшие пальцы, лучше уголь грузить, картошку копать, схватить воспаление лёгких...

Через минуту ему уже жаль себя, а на следующий день, ровно в четыре, он звонит в ненавистную дверь.

# Прочтите и сожгите

Всё, у меня больше нет сомнений. На мне испытывают глобальный бред.

С трудом выговариваю это слово, как фокусник, глотающий шары. Инверсия, не придирайтесь. Глобает, выплёвывает, какая разница?

Терпеть не могу фокусников. Они сделали надувательство своей основной профессией. Есть что-то воровское в их бутафорских цилиндрах и сорочьих жилетках. А невинно вытаращенные глаза... так и кажется, что сейчас они вывалятся вместе с шарами!

Нет, «бред» вылетает как птичка. Серое слово, общипанное, из класса воробьиных. А вы знаете, откуда взялись воробьи? Из людей, подносивших гвозди, которыми распинали Христа. Так они были наказаны за пособничество. Но кто их наказал? Христос? Он учил прощать. Тот, для кого справедливость превыше любви? Тогда я сомневаюсь в Его милосердии. Какой нравственный урок можно извлечь из этой притчи? Вот как важно вдумываться в суть.

Бред, если хотите, в пределах нормы. Все болеют, влюбляются, что-то пишут. Но глобальный...

Впрочем, что теперь не глобально? Глобальная катастрофа, глобальная хронология, какой-то пер... пardon, предиктор. Умом не объять, а верить — ума не надо. Сказал же один: «Верую, ибо абсурдно».

Почему выбор пал на меня? Я ничем не оригинальней и не типичней других. Значит, все участвуют в эксперименте.

По-моему, нас подслушивают. Станьте ко мне боком и кивайте. Жить стало лучше! Я не кричу, я довожу до сведения. Да не вашего, что вы не понимаете?

Сказать, что чувствую себя плохо, ещё ничего не сказать. Я себя вообще не чувствую! Вроде спишь, то есть не можешь пошевелить рукой, ногой и мозгами, но всё видишь, слышишь и сходишь с ума. Воздуху много, а нечем дышать. И бегают человечки. Те, которые красные, кричат, что они белые, хотя сквозь краску отчётливо проступают коричневые цвета. Зелёные менее агрессивны, они поют, но такими нестройными голосами, что отнимается слух. Голубые сбиваются в ложи, наподобие масонских, с утопической целью объединиться в братском союзе. Лимонные брызжут своей кислотой и отравляют воду, предназначенную для питья.

Опять кто-то идёт. Сорвите цветок. Делайте вид, что нюхаете. Вам говорю, мы уже полчаса разговариваем!

На всех стеклянные колпаки с антеннами. Магнитные, теле, радио и прочие волны наматываются на них, как лапша. Глобальный бред просачивается в сознание, внедряется в кровь и разносится ею по избирательным участкам. В смысле: действует избирательно. У кого слабые нервы, тех пугают повышением цен, у кого слабое сердце — детской проституцией, у кого слабая голова — терроризмом. Все чего-то боятся и охотно пугаются.

Сами колпаки и рога, конечно, невидимы, но весьма ощутимы. Особо бдительные с пеной у рта доказывают, что никаких рогов у них нет, но попробуйте с ними не согласиться, забодают в два счёта.

Думать о будущем некогда, потому что настоящее растягивается, как безразмерный чулок. Вчера, например, полдня стоял в очереди за чапой, ещё полдня добывал замки для входной двери (воруют, как раньше, но больше) и ещё два раза по полдня оформлял бумажки. Войны нет, а день за три идёт. И без конца кого-то хоронят. И всё время — наших.

Продолжительность жизни упала вместе с рождаемостью. Говорят, людям стало невыгодно жить: ни денег, ни сил на эту жизнь не хватает. Как же так? Миллионы лет размножались и сохранились как вид, а тут вдруг устали.

Определённо, кто-то генерирует этот бред, отбивая у нас охоту быть людьми. Не в общем и целом, а по имени-отчеству. Из нас ведь вышли Александры Сергеевичи и Львы Николаевичи, а не только пролетарии всех стран.

Однажды я снял колпак и чуть не задохнулся от злости, бессилия что-либо изменить. Так всё пригнано, так подверчено в этой глобальщине, что поневоле станешь полным ничтожеством, чтобы как-нибудь уцелеть. В перспективе уже не сходишь, а слетаешь с ума.

Кому это нужно? Хороший хозяин не морит работников голодом, не режет курицу, несущую яйца. Эти режут. Им работники не нужны. Эти землю продают. Прямо и переносно. Им плевать, что будет завтра, когда земли не останется. Они за новой пойдут.

Станный вы человек. Как будто слушаете, а не отвечаете. Стыдно не отвечать. Да за всё! Я не провокатор, что думаю, то и говорю. И вам советую. Надо что-то делать, хоть что-то. Не сидеть же сложа руки! Но можно и посидеть. В тюрьме, да не в дерьме. Куда вы меня тащите? Я против насилия! Мы живём в свободной стране!

Месяц не выхожу из дома. Чей дом, не знаю. Меня привёл сюда тот ненормальный, с которым я разговорился на улице. Сначала я не хотел идти, но он притворился глухонемым, и я его пожалел. Потом он орал громче всех, а я мычал и отплёвывался. Но об этом рассказывать неинтересно — бывалых не удивлю, наивные не поверят.

Дом как дом: стены, пол, потолок. Из мебели — койка и унитаз без крышки. Мне дали четыре листка в клетку и огрызок карандаша. Сказали: пиши. Пишу.

Ничего нет дороже жизни. Кто так говорит, имеет в виду свою, а не чужую жизнь. Лично вас он прибьёт не глядя, чтобы спастись или, того обиднее, поживиться вашим добром. Ненавижу категорические формулировки.

За ними стоит надсмотрщик с палкой в руке. Как на какой-нибудь недоразвитой кофейной плантации.

Человек должен много работать и сильно уставать, иначе он быстро не состарится и с радостью не умрёт. Спешите жить, не откладывая желаний на «чёрный день»! Бестолковый курильщик, затягиваясь неглубоко, думает, что он растягивает удовольствие, но сигарета всё равно сгорает, а удовольствие испорчено.

Мои образы кажутся вам навязчивыми? Я вас разочарую. Мне не дают кофе и курева.

Только что увидел: в доме нет окон. Это наводит. Лампочка под потолком в железной сетке. Непрерывно гудит, как в аду. А может, я уже умер? Чепуха, мне бы не хотелось курить.

Ещё одно недоразумение: я путаю дни. После среды начинается суббота, за нею — четверг и пятничный понедельник. Вторники стали редкие и неразборчивые. Вывод: они вторичны, их следует изъять из обихода. Тогда, даже если вся страна перейдёт на четырёхдневку, прибавится два лишних рабочих дня. На сэкономленные средства можно выкупить часть проданной земли и безвозмездно отдать её тем, кто мечтает умереть на родине.

Я не путаю дни, это дни стали путаными. Кто-то перетасовал их, и они не ложатся в колоду. И раз уж речь зашла о нечестной игре, скажу о неделях. Они стали короче, и вторники с пятницами ни при чём. Я без конца мою голову, как обычно, раз в неделю, но волосы не успевают высохнуть, как уже снова грязные и надо их снова мыть. На меня это действует. И мыло лезет в глаза, и на бумагу капает.

Одолевает лень. Часами лежу, мозоля глазами окно. Жаль, что не могу сконцентрироваться. Будь я упорней, оно бы прорезалось. Как у нас строят, не мне вам рассказывать.

Но одному легче написать книгу, чем другому поднять руку. Вставая с койки, я делаю невероятное усилие. Что-то похожее на воскрешение Лазаря в порядке самообслуживания.

Лень — первый признак старости. Буду сопротивляться до последнего. Старость негигиенична. Она наступает в возрасте крушения иллюзий, а всё, что разрушается, смердит. Кстати, моя бабушка любила духи и пахла белой сиренью.

Третий день не топят. Наверное, перебои с водой. Волосы наконец-то высохли, голова не болит, и мысли какие-то безответственные — не о себе.

Что такое божий дар? Сгусток энергии, питающей бездарное большинство. Талантливые люди — доноры. Их надо беречь. Однако они всех раздражают. Ленивые и тугодумы стремятся к бездействию и безмыслию, т. е. к полной гибели, а доноры подпитывают их, заставляют трепыхаться, затягивая агонию. Те и эти по-своему несчастны, но страшное непонимание, что возникает между ними, уравнивает мир.

Если же талант от Бога, а Бога, как утверждает наука, нет, на кого надеяться? На себя? Но о себе я не столь высокого мнения.

Где-то прочёл: «Человек лучше, чем кажется». Умом противлюсь, а сердцем таю. Ум подсказывает: природа сама по себе ни добра, ни зла. Хотя бы потому, что неразумна. Понятиями мы обязаны цивилизации и культуре. Философы навешали ярлыки на инстинкты, рефлексы, моралисты разработали стереотипы поведения, поэты решили,

что поднялись над природой. Многим из нас действительно удаётся преодолевать некоторые слабости и дурные наклонности, но переделать натуру, в том числе и развить талант — никому не по силам. Бывают одноразовые взлёты (подвиги) и долговременное парение (смиренный труд), однако мы совершаем их, отталкиваясь от земли, от своей неразумной природы. Надо совсем уж плохо думать о человеке, чтобы верить в его нераскрытые возможности. А сердце тает, потому что лезть приятнее горькой правды. Человек такой, какой он есть, каким бы он ни казался. Так что мудрец лукавит, соблазняя нас истиной. Нет истины без согласия ума и сердца. Разрыв же точь-в-точь накладывается на разрыв человека с природой.

Ко мне подсадили курицу. Сидит и несётся, и беспрестанно квохчет, не давая мне сосредоточиться. Яйца, не успев появиться, куда-то мгновенно исчезают. Не удивлюсь, если узнаю, что она их сжирает сама.

Чуть не забыл. В стене, на месте предполагаемого окна, появилась трещина. И растёт.

Вчера я свернул ей шею. Кричала, что не наседка и вообще петух. На всякий случай засунул ей голову под крыло, пусть думают, что свихнулась во сне. Не испытываю никаких угрызений совести. От курицы (петуха) зависело, какую выбрать судьбу.

Не вяжется с предыдущим рассуждением. И ладно, на розы и лавры не претендую.

Бумага кончилась. И карандаш. Сказали, что скоро выпустят. Вернули шнурки. И вид из окна прекрасный. Я бы ещё посидел, да не хочу. Надо всем рассказать, что эксперимент провалился. Теперь вместо глобального бреда транслируют симфоническую музыку. Немного скучно, но весело уже было.

# Куа-куа?

Повстречались две подружки,  
две зелёные лягушки.

— Ты жива? — Жива, жива.

— Ква-ква-ква.

Помните эти милые стихи? И я бы забыла, я теперь всё подряд забываю: дни, имена, целые страны, особенно африканские, что без конца возникают... прямо беда. Барахлит, барахлит шкатулка, что-то разладилось в ней, не те колёсики крутятся, молоточки бьют не туда, и порой выскакивает уж совсем неприличный, сто лет нечёсаный чёрт с длинным и подозрительно розовым языком.

Забыла бы, да, если бы не старушки, живущие по соседству в двух кукольных домиках, соединённых общей стеной, «полуприкрытых», как говорят в Ле-Мане. Изобретение терминов, прозвищ и древних обычаев весьма характерно для провинциального городка, знаменитого автомобильными гонками и рийетом (разновидность нашей тушёнки). Кафедральным собором, который строился двести лет, сначала в романском, потом в готическом стиле, и прекрасно сохранившимся старым городом с крепостной стеной (таких комплексов в Европе всего три) почему-то не очень гордятся. По-видимому, французская душа не менее загадочна, чем русская.

Утром, высунувшись по пояс в окно, старушки громко переговариваются. Обе глуховаты, а кричать на всю улицу — воспитание не позволяет. Однако то и дело раздаётся «quoi, quoi?» (что-что?), похожее на ква-ква, и в памяти тут же всплывают две зелёные подружки. Никому из французов я этого, разумеется, не говорю, их и так дразнят

«лягушатниками» за то, что едят лягушек. А и пусть едят, они существа невредные.

Домики эти, как и все в тупичке, строили рабочие за- вода «Рено», по очереди, сколотив из будущих жильцов строительную бригаду. Когда-то старушки были юными жёнами, легкомысленно-очаровательными. Они приходили сюда в нарядных маркизетовых платьях, с пухлощёкими младенцами на руках, и любовно смотрели на своих мускулистых мужей, ловко орудующих стамесками и мастерками. Французы умеют работать на совесть, особенно для себя, это у них как заповедь «возлюби ближнего». Не потому ли запали добрые семена в суглинистую неплодотворную почву?

Старушки давно похоронили мужей, пережили младенцев и в одиночестве коротают деньки от Рождества к Рождеству. В праздник со всех концов съезжаются гости, и наш тупичок становится шумным и тесным от машин, голосов, разукрашенных ёлок, высаженных перед каждым домом.

То, что ёлка святое дерево (не важно, каких корней: христианских или языческих), с умилением и благодарностью вспоминаешь под Рождество. «Зимой и летом одним цветом» стоят они, колючие, пыльные, покрываясь то конусными голубыми, то круглыми коричневыми шишками, а то и красными ягодами, как, например, нормандская ель, и не замечаешь их скрытой прелести, расцветающей раз в году.

К Рождеству оживают и две подружки: носятся по двору в кружевных передничках, что-то вскапывают, переставляют, развешивают. На подоконниках появляются горшки с геранью, на дверях — обязательный еловый венок с золотыми лентами, яблочками и ангелочками. «Блаженны нищие духом» — невидимыми буквами написано на этих вечнозелёных спасательных кругах. А из открытых окон (декабри здесь тёплые) льётся музыка и плывут сдобные запахи — жизнь полна!

Но праздники мимолётны, они вспыхивают и угасают, как огни фейерверка, осыпаясь холодными искрами серых будней. Старушки не ходят друг к другу в гости, не распивают чаёв, не жалуются на болячки и прочие огорчения. Не принято, а они чтут традиции. Зато улыбаются с пониманием, легко соглашаются, не жалеют приятных слов.

Не только они — всё среднее большинство живёт умеренно, как и следует жить в умеренном климате, где зимой не бывает снега, а летом — жаркого солнца, где даже реки текут не понятно в какую сторону. Французам бороться не за что, им вполне хватает их законных прав и обязанностей. Они и бастуют ради прогулки на свежем воздухе и чтобы другие не подумали, что им меньше надо. Да и революционный опыт нет-нет, а даёт себя знать.

Мои подружки — последние в тупичке старожилы. Уйдут и унесут с собою время строящихся домов, зеленеющих саженцев, влюблённых взглядов на работающих мужей. Правда, и мы состаримся, переженятся наши дети, и всё, как прежде, будет строиться, расти и любить. И не нужно нам никаких баррикад, беломорканалов, ни турецкого берега, ни африканского. Это нам не прибавит праздников. Куа-куа?

# Пупа

Он вредный и старый. Никто не любит его.

Жена умерла нарочно, чтобы отравить ему последние дни. Сыновья заходят на полчаса, предупредив за месяц, неизменно вдвоём, как сиамские близнецы, и с каким-нибудь безобразным подарком.

В прошлый раз притащили гипсового осла с дыркой в спине, специально проделанной для горшка с цветами. Он запахал в это чудище грабли с лопатами, и теперь оно отпугивает ворон. Годом раньше всучили настольную лампу, железяку из двух перевитых тел и одной головы, на которой вместо шляпы болтается абажур. Стоит в чулане, освещает мусорный бак.

Родственники ему не пишут, знают, что не ответит. Перепиской, звонками, а также обменом соседских сплетен (кто у кого заболел, родился, где прорвало трубу) занималась жена. Он живо отвалил кумушек, сообщив им, не без удовольствия, что о них думает. Не понравилось, здороваются сквозь зубы.

Все хотят от него избавиться, поэтому он живёт всем назло. Ему ещё пригодится и этот облезлый столетний дом, и сад с гортензиями, черешней и экзотическим деревом, посаженным так давно, что не вспомнить названия. Жена смеялась: пусть будет «пупой» (так его в детстве дразнила мать).

Весною корявая пупа выбрасывала бледно-зелёные узорчатые листья, а летом, в конце июля, покрывалась крупными оранжевыми цветками с красной бархатной сердцевинкой. Особого ухода за нею не требовалось, даже в жаркие дни не поливали, лишь осенью подрезали сухие

побеги да подметали осыпавшиеся колокольца. Южное деревце прижилось вопреки своей нежной природе, приспособившись к свирепому ветру с Атлантики и затяжным, размывающим землю дождям. Было в нём что-то отчаянное и обиженное, как несбывшееся желание.

Он был старшим ребёнком в семье, с ним обращались строже, чем с братом и сёстрами. Пупа, принеси это, убери то, оставь в покое собаку, не облизывай пальцы, ты показываешь дурной пример. Он часто болел, его и за это ругали; учился неплохо — обзывали тупицей, мямлей. Мечтал стать археологом — отговорили, стал механиком и сорок лет проторчал в гараже, собирая и разбирая чужие карбюраторы, коробки передач, меняя помятые крылья и закрашивая царапины.

Жену ему тоже выбрали на семейном совете, рассорив с любимой женщиной, ради него переехавшей из Прованса в их сонный северный городок. Целый год обрабатывали, пока не убедили, что она ему не пара: разведённая, значит, семьёю не дорожит; одна воспитывает сына, который точно вырастет хулиганом; вдобавок смуглая, с примесью португальской или, хуже того, африканской крови. А с нею он был по-настоящему счастлив. И к мальчику привязался, и до сих пор поздравляет его с днём рождения.

По чистой случайности жена оказалась хорошей хозяйкой и матерью. Дом держала в порядке, готовила сносно, ссор по пустякам не затевала. Но радости от неё почему-то не было ни ему, ни детям, что росли послушными аккуратными, да какими-то бесчувственно-бестолковыми. Такими же и остались с их занудными замечаниями и ослиными подарками.

Иногда его навещает сиделка, дневавшая и ночевавшая у постели больной жены. Говорит, что по старой дружбе, но он ей не верит — женщины ничего не делают просто так. Видно, надеется что-то выпросить или тайком

унести. Моей окна, печёт свои хваленые тарталетки. Весь день он с нетерпением ждёт, когда она уберётся.

Обычно он возится в саду или копается в ящике с инструментами. И без конца бурчит. Повод всегда находится: почтальон по ошибке подбросил соседский журнал; льёт дождь, а надо идти за хлебом; куда-то опять пропали очки. Всё его раздражает и отвлекает от главного — дремать на диване с газетой, которую он читает неделями. Раньше смотрел телевизор, но передачи стали неинтересными, изображение — расплывчатым. И краны текут, и полы скрипят, и лампочки слишком быстро перегорают.

После смерти жены он наведалься к той, смуглой женщине. Принёс ей огромный букет пупы, расшаркался как молодой. Вроде обрадовалась, угостила стаканчиком холодного сидра, но о себе рассказывать отказалась. Послушала его, покивала и, сославшись на срочное дело, выпроводила. Он понял, что обратной дороги нет.

Кстати, мальчик, которому прочили большое хулиганское будущее, увлёкся археологией и написал солидную книгу об этрусках, их письменах и несметных сокровищах. Прислал ему с дарственной надписью, мол, помню о вашей детской мечте.

...Он сидит у открытой незажжённой конфорки и жадно глотает сладкий пьянящий газ. Ещё немного, и всё будет кончено, можно сказать, что одной ногою он уже в раю. Там, где круглый год светит солнце и цветёт, не осыпаясь, чудесное дерево, так нелепо прозванное на земле «пупой». Вчера, наконец, он срубил его, вырвал с корнем своё отчаяние и обиду. Он свободен, абсолютно свободен, ему впервые себя не жаль — он сделал то, что хотел.

# Куриная печёнка

В трудные послевоенные годы...

Но это так, для красного словца. Никакими послевоенными пятидесятые годы не были — немцев давно разбили, дома и курятники отстроили, и куры неслись невзирая на.

Мы редко их покупали, разве что по праздникам. И стоили дорого, и тётя любила радио. Особенно передачи про вкусную и здоровую пищу. Ну, что мясо и масло есть вредно, а полезно — субпродукты и маргарин. Тётя верила всему, что говорили, и готовила по новинке, а не старинке, как её отец, знаменитый когда-то повар. Мама дежурила без выходных, и ей было не до обедов. Что касается рогов и копыт, то они шли у нас только на новогодний холодец, а маргарин доверия не оправдал — от него у тётки разыгрывался гастрит.

Короче, мы брали на рынке куриные потроха (называли ласковей: потрошки) и варили из них суп на всю неделю. В потрошковый набор входили: шея с головой и крупным бело-розовым гребешком, крылышки, печёнка, желудочек, весь облепленный жиром, и ножки. Не настоящие куриные ножки с тёмным упругим мясом, а курьи, те, на которых стоят избушки в русских сказках. Иногда, если повезёт, попадались яички, тоже не настоящие, ещё не родившиеся, без скорлупы и белка, просто оранжевые шарики, обтянутые прозрачной плёнкой, но очень вкусные, совсем не похожие на обычные куртые желтки.

Поразительно, как детская память удерживает самые, казалось бы, эфемерные ощущения: вкус, запах, цвет предметов, давно исчезнувших и не сыгравших заметной

роли ни в движениях души, ни в ухищрениях ума. Наверное, ранние впечатления настолько свежи и сильны, и отлагаются на такой большой глубине, что не вымываются временем, как более поздние, а значит, и более поверхностные.

Крылышки, яички и гребешок, само собой, доставались мне, маме — желудок и лапы, тётё — шея и печень. Все как будто были довольны. Суп у нас получался наваристый, с кругами янтарного жира, какой нынче не сварить из целой курицы (не бульон, а вода, в которой курица ноги мыла, как шутит мой муж).

Эти семейные хроники ничем не примечательны и не стоило бы о них вспоминать, если бы через двадцать лет мне не приспичило сварить суп из потрошков. Ностальгического навару не вышло и с яичками не повезло, зато лапша удалась, а главное, восторжествовала идея.

Печёнку я, не раздумывая, положила тётё. С минуту она разглядывала серый угластый комочек, торчавший из супа, и вдруг оттолкнула тарелку:

— Да не хочу я вашей печёнки! Терпеть её не могу!

Надо знать мою тётю. Человек она эмоциональный, но выдержанный и деликатный, не в её правилах говорить в повышенном тоне.

— Раньше ты не отказывалась, — пробовала оправдаться я. — Мы с мамой думали, что ты её любишь.

Мамы уже десять лет, как не было, и никто не пришёл мне на помощь. Дети и муж смотрели на меня с недоумением, перерастающим в осуждение.

— Зачем же ты ела? — вновь попыталась я восстановить моё честное имя.

— Не выбрасывать же! — в сердцах отвечала тётя. — Кто бы ещё ел эту горечь?

И на этот раз желающих не нашлось.

Ночью я не спала, а под утро меня осенило.

Самоотверженность — в природе любящего человека. Он и следует своему естеству и даже испытывает от этого тайное удовольствие. Но как бы ни был человек великодушен, он вправе рассчитывать на благодарность или хотя бы сочувствие. Обидно, когда не замечают твоих жертв, тем самым обесценивая их.

Тётя была старшей в доме и понимала, что я расту, мне нужны силы, как и маме, работавшей за троих. Мама, подозреваю, тоже всё понимала и украдкой подкладывала слепенькой тёте лишний кусочек сахара или сдобного пирога (та была сладкоежкой). Теперь же, когда и я, и мои дети выросли, да и жить стало легче, в том смысле, что радио слушаем редко, а кур покупаем часто, она и восстала против обязанности, навязанной ей как милость.

Сегодня мы снова ели курицу. Мне, как обычно, досталась нижняя часть спинки. И дети и муж уверены, что это мой любимый кусок. Интересно, через сколько лет у меня лопнет терпение?

# Был у меня друг

Был у меня друг. Законченный холостяк. Ушибленный в ранней молодости какой-то трудной любовью. В том смысле, что трудно было понять, чего он хотел от этой любви.

Абсолютного счастья? Но любовь не бывает абсолютно счастливой или несчастной, как не бывает беспримесно чистого воздуха, идеально прозрачной воды, если их не подвергнуть фильтрации, стерилизации и прочим метаморфозам насильственной обработки.

Наши чувства и представления тоже весьма приближительны: от мысли к слову пролегает пропасть, преодолеть которую без потерь вряд ли кому удаётся. От слова к делу дорога ещё длинней. Мы несовершенны и слава богу — есть куда стремиться, о чём в минуту раскаяния пожалеть. И потом, недостатки смешны. Отчаявшись разобраться в себе, мы подшучиваем друг над другом. Это вносит в нашу не слишком весёлую жизнь некоторое безответственное разнообразие. Мы вообще расположены ко всякого рода нарушениям, в силу обратной связи и нашей прямой непоследовательности. Не случайно же любим пьяниц и сумасшедших, восхищаемся Сальвадором Дали.

Между нами не было тайн, но по молчаливому уговору мы обходились без наводящих вопросов и трепетных излияний. Такова специфика дружбы в её женско-мужском варианте, союзе редком и вызывающем (зависть у женщин и ревность у мужчин). Сама скептически отношусь к исключениям, якобы подтверждающим правила.

Наличие белой вороны не свидетельствует в пользу агрессивно настроенной чёрной стаи.

Дружили мы не благодаря, а вопреки тому, что нас объединяло. Оба, по образованию литераторы, зарабатывали на хлеб журналистикой, вместе коптели в шарашке, освещающей славный путь армянской промышленности, общая доходили от придинок и перлов полуграмотного редактора, одержимого страстью к фольклору. У меня сохранился неполный список высказываний, живописующих его «неисчерпаемый карнавал интеллекта». Держитесь за стул.

«В Тихом океане черти водятся»

«Пуганая ворона на куст садится»

«Я всегда в своём ампула»

«Доверили волку пасти капусту»

«Натура сверху нам дана»

«С большого корабля большой спрос»

«Пусть каждый сморчок знает свой смычок»

«Теснота не в обиде»

«Я шила в мешке не могу удержать»

«Семь бед — один привет»

«Кто со мной не согласен, тому белая скатерть» и т.д.  
и т.п.

Услышать такое и не дрогнуть ни мускулом было непостоянной задачей, сопоставимой с выдержкой Штирлица на допросе у Мюллера. Мой друг не терялся и в этой критической ситуации — уводил разговор в сторону либо выдал анекдот, после чего мы уже в открытую покатывались со смеху.

Что до любви, то я и сейчас не вполне понимаю, как может любовь отбить у человека охоту любить.

Как-то раз, возвращаясь с задания, мы с ним зашли в «сквознячок», расположенный на берегу «Лебединого озера», выпить кофе и выкурить «последнюю сигарету» (обилие кавычек не художественный приём, а крик раздвоенного сознания). Мне предстояло тащиться на другой конец города, где открывался слёт изобретателей и рационализаторов, а друг мой по опыту знал, что прямо с порога редактор схватит его за горло и не отпустит, пока не выдавит из него раба.

Жара стояла убийственная, приправленная гарью бензина и гнилью стоячей воды. Плакучие ивы отбрасывали сквозную пыльную тень на столики, заляпанные мороженым и лимонадом; звякали ложки, стучали костяшки нардов — ничто не располагало к душевной беседе и странным фантазиям. Вдруг мой друг, посветлев лицом, произнёс:

— Когда я разбогатею, то каждый день буду спать на новых простынях.

Ни больше, ни меньше.

Случайно вырвавшиеся слова многое объясняют. Как никак, а Канта мы проходили и Фрейда с Фроммом почитывали не из пионерского любопытства, знаем, что всё сказанное строго детерминировано.

Наверное, и в любви он искал этот самый императив, эти новые, никем не смятые простыни. Не нашёл. Не разбогател.

Мой друг был армянином и максималистом, что почти что одно и то же. Он хотел всего и сразу. Поначалу ему везло, как новичку в карточной игре.

Первое стихотворение Гор сочинил в шестнадцать лет. Его тут же напечатали. В той же счастливой последовательности появились на свет два рассказа, повесть и критические заметки о путях современной прозы.

В двадцать лет он написал пьесу, причём не производственную драму, не политический памфлет и не

фольклорно-патриотический водевиль, имевшие спрос на советском рынке, а типично русский романс о влюблённых, да ещё с запойным названием вроде «Ой, цветёт калина».

Опус приняли безоговорочно и в рекордные сроки поставили в молодёжном театре, что по тем временам было чистой воды фантастикой. Кругом, значит, застой, национальный по форме, социалистический по содержанию, а посередке он, трубадур со своей балалайкой.

Через год спектакль повезли в Москву на всесоюзный смотр театральных коллективов, проходивший по линии то ли комсомола, то ли дружбы народов, а скорее всего — театра абсурда, которым была тогда вся наша неменяемая страна.

Армянская клюква-калина взяла первый приз. В центральной прессе замелькали восторженные рецензии, в республиканских газетах были срочно организованы отклики потрясённых доярок и сталеваров, лихо цитирующих Станиславского с его вешалкой и Чехова с одноимённым ружьём. По городу прокатилась волна культурных мероприятий: партийцы брали повышенные обязательства, комсомольцы взывали к личной ответственности, пионеры клялись быть достойными тех, кто не дожил до этого светлого дня. В честь победителей местное руководство устроило грандиозный приём с грамотами, шашлыками и памятными подарками. Апофеозом праздника стал пробный пуск фонтана с цветомузыкой и ликование масс.

Успех был оглушительный. Правда, «злые языки» уверяли, что спектакль не ахти какой, да и пьеска, вот именно, не фонтан, и, если бы не отборный коньяк знаменитого шустовского разлива, которым потчевали жюри, то не известно, кому бы достались лавры.

Так или иначе, но актёра, игравшего главную роль, переманили в московский театр, а молодому автору предложили учиться в писательском вузе.

Осенью Гор без особых усилий перевёлся из Ереванского университета в Литинститут и утвердился на положении восходящей звезды. С ним за руку здоровался ректор, он сделался своим человеком в театре, где литчастью заведовала любовница ректора, дама с большими связями и претензиями. Она настолько прониклась идеями начинающего драматурга, что включила в репертуарный план его вторую, ещё неоконченную пьесу. Помогала ему и в нерабочем порядке: часами выслушивала, сводила с нужными людьми, подкармливала домашними котлетами, дарила галстуки, зажигалки и без конца кокетничала, не забывая напомнить, что он годится ей в сыновья.

Пылкой материнской ласки Гор стыдился, женских хитростей не понимал. Не потому что был глуп и неопытен, он и в сорок лет боялся плохо думать о женщинах, точнее, не позволял себе, оставаясь максималистом.

На одном из актёрских капустников он познакомился с юной гимнасткой, нежной и гибкой, как раненое самолюбие. Лена только что выиграла первенство страны и готовилась к чемпионату Европы.

Их взлёты совпали. Лена была умненькой и хорошенькой, Гор был талантлив и неправдоподобно красив. Его сравнивали с Марчелло Мастоляни, Грегори Пеком и Аленом Делоном. О нём ходили легенды. Говорили, что он внебрачный сын маршала Рокоссовского, протеже Лазаря Кагановича, дружок подпольного миллионера, наркоман, еврей, графоман, стукач. Приблизительно то же самое болтали и о ней, шестнадцатилетней девочке, выросшей в коммуналке на окраине Барнаула.

Всё это не помешало влюблённым объявить о своей помолвке на очередном юбилее, собравшем всех избранных, званных и вездесущих. Приватная новость развеселила публику, подуставшую от протокола: посыпались шутки, советы; кто-то вызвался закатить мальчишник, кто-то пообещал доставить на свадьбу цыган; прослезившийся

юбиляр с криком «верю!» облобызал невесту. Радость была несколько омрачена истерической выходкой упомянутой дамы, которая выхватила из рук Гора зажигалку и подожгла ему галстук, а потом, вдруг опомнившись, принялась заливать огонь слезами.

После этого ректор при встрече с Гором ограничивался сухим кивком, а его любовница желчно спрашивала, как поживает Лазарь Моисеевич.

Гор, однако, не унывал. Он закончил вторую пьесу, несмотря на то, что она вылетела из репертуара, написал кучу стихов и рассказов. Лена крутила свои кульбиты и подыскивала наряды к свадьбе, назначенной на сентябрь. Родители не препятствовали, необходимые справки были оформлены и заблаговременно представлены в ЗАГС.

И тут что-то щёлкнуло в машине судьбы. Сел аккумулятор или лопнул туго натянутый привод, неважно. Гор уловил сигнал.

Дальше всё завертелось само собой. Чем больше тренировалась гимнастка, тем чаще она выигрывала. Чем лучше писал мой друг, тем реже его печатали.

В толстых журналах отделялись общими фразами (портфель переполнен, публикации утверждает редакционный совет, не суетитесь, ждите, грядут перемены), в тонких — либо хамили, либо вежливо посылали подальше, например, на малую родину.

Неожиданно повезло в солидном издательстве. Главный принял по-свойски: угостил коньяком, рассказал о поездке в Штаты, взял рукопись и попросил передать горячий привет Михалычу.

— Кто это? — спросил ошарашенный Гор.

— А вы, простите, от кого? — напрягся редактор.

— От Моисеича, — сердито буркнул мой друг.

Перемены, таки нагрянувшие, обернулись в театре возвратом к классике, в литературе — прорывом в публицистику.

Раньше Гор вполне обходился небольшими, но спасительными гонорарами, заработанными, ну, не левой, а скажем, правой ногой. Тратил, как и писал, легко, разбрасываясь по мелочам.

Тяжесть слова он ощутил внезапно, с тоской и страхом, не понимая, что это начало великой паники и мастерства. В поиске новой формы изобретал немыслимые конструкции, смешивал стили, жанры, ломал размеры — кромсал по-живому. Иногда, на свежую голову, вдруг обнаруживал, что рассказ зарифмован, а стихотворение выхолощено сюжетом.

Безденежье прибавило беспокойства. Стипендия (28 рублей минус полтора рубля за общежитие) целиком уходила на книги, курево и супчики, растворимые без осадка. Перешёл с болгарских «ВТ» на «Приму», устраивал разгрузочные дни — разгружал вагоны на станции Москва-Товарная. Деньги откладывал на обручальные кольца; цветы обрывал в попутных арбатских двориках. Лена, привыкшая к чемпионским букетам, мило гримасничала, разглядывая пучки куцых маргариток и полурасыпавшихся роз. Свадьбу, чуть не поссорившись, решили отпраздновать без цыган, вдвоём. Мать и сестра Гора сами считали копейки, барнаульские родичи тоже не шиковали.

Летом Лена уехала на сборы в Италию. Гор, сдав экзамены, остался в Москве — поработать и подзаработать. Не заладилось: то гнали из общежития, то прихватило спину. Писалось так, что лучше бы не писалось. Открытки от Лены, приходившие с месячным опозданием и без обратного адреса, были какие-то бестолковые: о пальмах, фруктах, о надувном крокодиле, плавающем в её ванне.

За две недели до свадьбы стряслась беда — Лене сделал предложение наследный принц карликового европейского государства. Опасаясь провокации накануне Олимпиады, тренер и сопровождающие гимнастку лица

выдвинули ультиматум: никаких балов, интервью, никаких посторонних контактов, ужинать в номере, спать под замком.

Ночью строптивая сибирячка спустилась с балкона на связанных простынях и, позвонив принцу, согласилась погостить в его княжеском или герцогском (точно не помню) дворце до полного прояснения ситуации.

В Москве забили тревогу. Гора препроводили в известное учреждение, где долго морочили голову, расспрашивая о творческих планах и расположении комнат на даче Кагановича, после чего, убедившись, что он ни сном, ни духом, швырнули на стол телеграмму, в которой Лена общала ему о разрыве помолвки.

Гор запил. И замер, завис, как пьяный корабль над бездной, готовой его поглотить. Те, что с берега наблюдали за ним, радовались напрасно — он и в этом подвешенном промежуточном состоянии продолжал учиться и что-то писать.

Институт окончил с «красным дипломом». Набил чемодан рукописями и отправился на вокзал. В зале ожидания (вот уж не ожидал) столкнулся с Леной, встречавшей тётю из Харькова. Протараторила, что давно вернулась, пожалела родителей, умолявших её одуматься, что интрижку замяли и всё у неё «перфетто», новый тренер и квартира на «Соколе», что в Италии нет сметаны, не делают, вот дураки, и свои рахитские равиоли заправляют кетчупом, а без устриц и пармезана она как-нибудь проживёт...

Он смотрел на неё и думал: надо же, как вымахала, года, кажется, не прошло.

— Ничего не хочешь сказать? — спросила с укором.

— Брови выщипала, — ляпнул Гор.

— А тебе не всё равно?

— Да нет, носи на здоровье.

— Гоголь-моголь! — бросила вслед.

Приехав домой, Гор позвал друзей на шашлык. Заверил:

— Такого вы в жизни не пробовали и никогда не попробуете. Классический. Гоголевский.

Гоголя он боготворил, «Мёртвые души» знал почти наизусть, погранично, поэтому никто не заметил подвоха.

Вы догадались? И я бы не сообразила. Понял только Манчо по прозвищу Великий, обративший внимание на кучу пепла возле мангала и хлопя сажи, разлетающиеся по двору.

Горят рукописи. Ещё как горят!

До шарашки мой друг работал в газетах, молодёжных журналах и сомнительном обществе, где подвизался в должности консультанта по историческим вопросам. Нигде подолгу не задерживался, хотя устраивался и увольнялся по собственному желанию. Его энергичные репортажи, острые фельетоны, очерки, скорее художественные, чем злободневные, были на порядок выше печатной продукции, сплошь состоявшей из лозунгов и «фактического» вранья. Он допускал вольности, о которых газетчики не смели мечтать, вольности поэтические, неуязвимые для цензуры. Сотрудники уважали его, начальство с ним либеральничало, прощая ему и сорванные задания, и дурацкие выходы.

Одну из них он отмочил в названном обществе, официально крепившем культурные связи, а на деле шпионившем за местными и приезжими знаменитостями. На пресс-конференции, посвящённой встрече с прогрессивными латиноамериканскими художниками, Гор спросил у высокого гостя, как тот оценивает убийство Троцкого с позиций абстрактного гуманизма. Мексиканец, лично участвовавший в заговоре (чем и заслужил интерес приглашающей стороны), разразился русскими проклятиями, а культуристы в штатском быстро вывели

консультанта во двор. К счастью, Гор был действительно пьян и отделался ударом под дых и строгим выговором.

Дружить с ним было нелегко. Он мог пообещать и забыть, в последний момент передумать, а то и вовсе не захотеть. Нарочно не уточняю что именно и почему — своих поступков он не объяснял.

Себе был верен, с другими честен и справедлив. Я бы пошла с ним в разведку, но не в кино — точно бы опоздал.

У него не было правил, одни исключения. И вокруг него собирались люди, мягко говоря, нестандартные. Карлик Манчо с несоразмерно большой головой и трагическими глазами, всегда одетый в чёрный костюм и белую накрахмаленную рубашку. Спившийся репортёр, язва и циник, промышляющий криминальной хроникой. Валютная проститутка с замашками королевы, при виде которой мужчины втягивают живот и замирают на вдохе. Потомок старинного рода, вялый, всезнающий, после каждого рукопожатия вытирающий ладони шёлковым платком. Дочь крупного партийного бонзы, мечтательная толстушка, всегда в кого-то влюблённая, то в клоуна, то в почтальона, то в папиного шофёра, словом, в тех, кто её недостоин и кому она ни за что не откроет сердца. Все они, кроме жертвы общественного темперамента, имели отношение к литературе.

Великий карлик писал стихи. Об этом знали мы с Гором и мать Манчо, его преданная помощница и секретарша. Отпечатанные на машинке стансы она сшивала в альбом и по старой привычке учительницы младших классов украшала их завитушками и бордюриками. Сына храбрая женщина родила в тюрьме, там же, где расстреляли его отца. Как вынашивала, что вытерпела, умолчала, но как бы обмолвилась: выжил чудом. Выхлопотать ему пенсию по инвалидности не удалось — карлики в нашей стране считаются полноценными и трудоспособными.

Манчо оправдал доверие законодателей и прозвище, данное ему Гором: серебряная медаль, отличный диплом, явные литературные способности. Казалось бы, все дороги открыты, но... на работу не брали, куда бы он ни стучался. Наконец с помощью Гора пристроился в заводскую многотиражку и вынужден был бегать на своих коротких слабых ножках по цехам, коридорам, взбираться, подтягиваясь на руках, в переполненные автобусы.

Перечень его обид и злоключений был длиннее списка кораблей в «Илиаде», о котором писал Мандельштам. Манчо часто цитировал это стихотворение, утверждая, что «всё движется любовью». Он испытывал к женщинам неодолимый всепоглощающий интерес и не производил впечатления человека, обделённого женской лаской. Мать, уж точно, не чаяла в нём души.

Любитель бандитских разборок строчил детективы, леденящие кровь, непременно кончавшиеся свадьбой с подробным описанием всего выпитого и съеденного. Восхищалась ими только толстуха, сочинявшая поздравления в стихах.

Дальше всех продвинулся аристократ, подпавший под обаяние Сент-Экзюпери и вообразивший себя маленьким принцем. Он издал две книжки с размышлениями об удавах, кроликах и планетах, затерянных в мировом пространстве.

Своим окружением Гор тяготился не меньше, чем одиночеством. Встречались ведь, чтобы выпить и потрепать. Гор в дискуссиях не участвовал. Раньше всех напивался и уходил.

Со мною тоже не откровенничал. Лишь раз, во время командировки, засидевшись в районной гостинице, пропахшей клопами, мы разговорились, и то от некуда деться. Бутылка водки, прихваченная в исполкомовском буфете, сыграла, как понимаете, не последнюю роль.

Рассказывать он умел. Чувствовал собеседника, вёл, попадая в шаг, не отставая и не забегая вперёд. Ощущение — полной правды и при этом никакой исповедальности, обязывающей поддакивать и сопереживать. Я сказал, ты услышал, всем спасибо.

Кое-чему научил и театр. Владел лицом, держал паузу, интонацию, но не актёрствовал. Всё-таки главным для него было ЧТО, а не КАК сказать.

Теперь о драме, переломившей его судьбу.

Семья Гора происходила из Сирии. Там его предки ремесленничали, землепашествовали, сколотили небольшой капитал, что позволило отцу Гора выучиться на инженера и впоследствии стать владельцем суконной фабрики. Мать, ещё до замужества работавшая счетоводом, помогала ему в расчётах.

Сталинский призыв к репатриации всколыхнул задремавшие чувства. Пропускаю тираду о ностальгии, патриотизме и родном языке.

Позвали — откликнулись. Продали фабрику, дом и с семьёю погодками прибыли в Ереван. Девятый, Гор, родился уже на Алтае, в деревушке из трёх землянок, вырытых в голодной степи. Надеюсь, ничего не надо объяснять.

Ближайшая железнодорожная станция — в двадцати километрах, поселковая школа — в десяти, пять классов, один учитель. Зимой, в тридцатиградусный мороз, добирались на самодельных лыжах, весной и осенью месили опорками грязь. «В погоне за знаниями» (иногда Гор шутил по-чёрному) сорвали сердце и умерли семеро из детей. Отец, не выдержав, слёг. Похоронили рядом.

В Ереван вернулись в пятьдесят четвёртом. Как незаслуженно пострадавшим им выдали компенсацию в размере двух тысяч рублей и ордер на квартиру в центре города. За год Гор одолел программу старших классов, сдал экстерном экзамены и поступил на истфак.

Он скупо обрисовал свой алтайский период. Вскользь упомянул, как варили похлёбку из диких колокольчиков; как спал, завернувшись в материну юбку из набивного дамасского полотна; как тащил на спине сестру в полевой лазарет, развёрнутый возле станции, куда доставляли с фронта тяжелораненых, и держал её за руку, пока военврач вырезал ей аппендикс; как ел из солдатского котелка пшённую кашу и прыгал на костылях, выпрошенных у лейтенантика с ампутированной ногой.

Писал ли об этом? Вряд ли. Чистым был беллетристом, документальных подробностей не признавал. И журналистику отбивал как наказание, ссылку, поражение в писательских правах. Оперировал фактами, терминами, но невольно сбивался на отвлечённые темы. Шеф исчеркивал его материалы красным фломастером, превращая их в кровавые отбивные, а на летучках сквозь зубы цедил: «Гор работает холодцом».

Область смешного не имеет чётких границ. Многие, кому я зачитывала шефские афоризмы, не верили, что такое можно сказать не в шутку, а по невежеству, и дичайшему. Сам, поучая нас, уверял: «Пусть в мозгу будет мало извилин, главное — их качество. В данном случае я говорю о себе». Однажды договорился до полного идиотизма: «Ну разве я не дурак?».

На первых порах я впадала в прострацию. Столбнячное недоумение (а что он хотел сказать?) сменялось страхом расхохотаться со всеми вытекающими последствиями — злопамятен был дурак. Так же лихо, как уродовал поговорки, расправлялся с негодными, читай: неугодными. Кого уволил с «волчьим билетом», кого довёл до инфаркта, кого подмял под себя или вынудил хлопнуть дверью (мой случай).

Смех не всегда продлевает жизнь. Иногда укорачивает. Иногда обрывает.

В шарашку затащил меня Гор. До этого у нас было «шляпочное знакомство» (из той же серии). Пару раз сталкивались в институте — наезжая в Москву, заглядывал в альма-матер, да изредка пересекались в кафе при театре им. Сундукяна, где перерывничала журналистская братия.

На открытой террасе хозяйничал Татос, репатриант из Болгарии, лучше всех в городе варивший кофе в медных порционных джэзвушках на раскалённом песке. Любовь к родине стоила ему ресторана в Бургасе и десяти лет поселения на Ишиме. Молодость и прекраснодушие растерял, но благородных манер не утратил, чем выгодно отличался от развязных духанщиков и вороватых дельцов общепита. Завсегдатаев он обслуживал вне очереди, знатокам подносил стаканчик холодной воды, помнил, кто пьёт без сахара, кто — без пенки. Бывало, и угощал. Ко мне и Гору относился чуть уважительней, чем к другим, может потому, что мы всегда платили, или, что более вероятно, считал нас чужими, «московскими».

В тот день в газете, где я работала, разразился скандал — у редакторши исчезла из сумки зарплата. Разъярённая фурия запустила в нас, выстроенных для досмотра в её кабинете, графином с водой. Смертоносный снаряд пролетел в сантиметре от моего уха и, разбившись о стенку, осыпался градом брызг и осколков. Сцена меня потрясла. Вывернув карманы, я бросилась вон и понеслась по улице, не соображая, куда и зачем.

Остановилась на оклик Гора, разговаривающего с Татосом. Не заметила, как отмахала несколько кварталов и очутилась возле театра. Усадили, принесли полотенце, кофе. С мокрых волос течёт вода, руки дрожат, перевернула чашку. Татос приносит вторую. Гор посмеивается.

— Хочешь анекдот?

Машинально киваю.

Говорит не спеша, тихим бесцветным голосом. История такова.

Утром шеф посылает его на шинный завод. Директора наградили орденом, надо срочно взять интервью. Тот отказывается — комиссия из Москвы, занят по горло. Гор звонит из приёмной шефу:

— Интервью отменяется, у директора люди из Госплана, он в запарке.

— Ты с ума сошёл?! — орёт шеф. — Что Госплану делать в зоопарке? Не верь, на заводе сидит!

На меня напала истерика. Нервы ни к чёрту: развод, собачья работа, одна поднимаю дочь. Еле отдышалась.

— Весело у вас, — говорю.

— Вот и перебирайся к нам, — продолжает Гор. — Шефа я беру на себя.

В тот же день я уволилась из газеты и стала сотрудником журнала.

Сначала Гор был моим заведом. Позже мы поменялись местами (после инфаркта он крепко сдал). Я навестила его в больнице, он и там меня рассмешил.

«Открываю глаза — на соседней койке лежит мужик. Спрашиваю, как звать, отвечает: Оюшминальд. Ну, думаю, у меня что-то с головой.

— Это имя?

— Конечно, да. Обратура. Отто Юльевич Шмидт на льдине.

Аббревиатура, дошло. Хочу заржать и боюсь — сердце лопнет. Но это было ещё не всё. Когда на следующий день к нему пришли два его родных брата, Тургенев и Лермонтов, я понял, что схвачу второй инфаркт».

Обстановка в нашей шарашке, как в любой печатной конторе, зацикленной на идеологии и пропаганде, была боевой: или ложись под танк или кидайся на амбразуру.

Позориться не хотелось. Прославиться не могло.

Работали в связке, подстраховывая и прикрывая друг друга на линии перекрёстного огня. Шеф требовал

невозможного: бегать по предприятиям, собирая материал, и в то же время торчать в редакции, отвечая на звонки, принимая авторов, и «не просто сидеть на стульях, а творчески их наполнять». За отправлениями сего следили партком, профком, бойцы невидимого фронта, положенные по штату, неусыпный секретариат и даже ключница Роза, отмечавшая в пухлой тетради наши опоздания и перекурсы.

Нарушителей распекали на оперативках и открытых партсобраниях, специально придуманных для чистки таких, как мы, беспартийных. Устраивались и показательные экзекуции с привлечением «крупных сошек» из райкомов и прочих контрольных служб. Заранее обрабатывалось решающее большинство (в сущности, несчастные затравленные люди).

Мы выпадали из общей картины. Слишком независимые, «не дрожавшие своим местом», то есть не дорожившие (оговорка по Фрейду) и всё-таки незаменимые — кто должен был и писать, а не только водить руками.

Выкручивались, а как же. Информацией запасались впрок, что позволяло выкроить час-другой для собственных неотложных дел, заканчивали друг за друга статьи, затягивали командировки. Когда нас ловили с «наличным» (поличным), я выгораживала Гора, он защищал меня. Товарищи злились, не понимая, что заставляет нас держаться вместе. А ничто и не заставляло, держались и всё.

Справедливости ради: им было несладко с нами. На политзанятия мы не ходили, взносов не собирали, не сплетничали. Выражаясь их языком, противопоставляли себя коллективу (была такая формулировка). Но и голосовавшие против нас и воздержавшиеся с удовольствием пили кофе в нашем отделе. Самая маленькая в редакции комнатка была и самой вместительной, потому что в ней умещалось то, что не лезло ни в какие ворота.

Чем занимался Гор в свободное время, я у него не спрашивала, он мне не докладывал. У меня свободного времени не было, после работы пулей летела к дочке — кормить, купать, рассказывать сказки. Уложив её, закрывалась в кухне и до утра просиживала над стихами. Отсыпалась в автобусе и везде, где можно и нельзя.

Полуночичал, полагаю, и Гор. Однажды мы с ним синхронно вырубились на совещании у министра пищевой промышленности, за что нас лишили премии.

Читал, наверное, или резался в покер, на писанину его уже не хватало. Я попросила показать что-нибудь из последних вещей — всучил мне стопку пожелтевших измятых страниц. Одноактная пьеса, а вот про что, хоть убейте, не помню. Не задела, не произвела. Возвращая рукопись, я что-то промямлила, он поморщился: «брось, ерунда».

Не забылось сказанное мимоходом, вдруг. Милая шуточка: «Любишь кататься — катайся». Едкая реплика: «Труд, превращающий обезьяну в осла». На подковырку шефа: «Очерк тебе не рассказ — сел и написал», с ходу отреагировал: «А вам бы хотелось, чтобы написал и сел?».

Были и зарисовочки вслух и наброски с натуры.

Прогуливаемся по цветущим аллеям Бюраканской обсерватории, поджидая редакционного шофёра, полдня назад отпросившегося на пять минут. Интервью с Амбарцумяном, светилом астрономической величины, взяли, заглянули в 100-сантиметровый телескоп (ничего не увидели), опросили замов и референтов.

На душе легко, бабье лето, теплынь. Склоны Арагаца пылают охрой и киноварью, воздух острый, высокоградусный, «можно пить не закусывая», роняет Гор.

Чуть поодаль, у питьевого фонтанчика, энергично жестикулируют молодые бородачи. Предмет научного спора сугубо метафизический — «оттепель». Впрочем, кому, как не звездочётам, предсказывать светлое прошлое?

Сворачиваем к столовой, откуда доносится птичий гвалт. Расхрабрившиеся воробьи подбирают с асфальта хлебные крошки. Из-за угла появляется дворник, замахивается метлой. Ш-шу! Кинулись врассыпную.

— Почирикали, — синтезирует Гор.

И резко меняет тему: американская литература и условно русское помешательство на её почве. В шестидесятых интеллигенция зачитывается Фолкнером, аппаратчики по бумажке цитируют Стейнбека, рабочий класс восхищается Джеком Лондоном, домохозяйки рыдают над Теодором Драйзером. Бунтари (подростки и переростки) присягают Хемингуэю — в моде стойки и примитивный подтекст.

— Много пили, крепко ругались, даже резали вены. Казаться было важней, чем быть.

Достаёт из кармана часы с оторванным ремешком.

— Где он, этот Годо?

— Вон едет.

Гор останавливается.

— Папа Хэм не отказывал себе в удовольствии пошутить по-хэмски. С его подачи «потерянное поколение» сделалось термином деградации. Подхватил слушок и с газетной ловкостью запустил его в книжный оборот. Не зря говорил, что чеховские рассказы отдают репортёрством, знал за собой этот грех. А романчик растиражировали, и теперь это праздник, который всегда с тобой. Вот увидишь, когда-нибудь и нас назовут пропащими, за то, что не приспособились к нашей прекрасной действительности. И будут правы. Мы эту войну проиграли.

Оглядываясь назад, понимаю, что он предчувствовал скорый конец и рассудочно, по-мужски, сводил счёты с жизнью. Второй инфаркт перенёс на ногах, третьего не заметил — элементарно проспал. Врачи запретили пить и курить — высмаливал по три пачки,

с перерыва приходил изрядно повеселевший. Шеф бурчал: «Сразу видно, что Гор выпил — глаза соловьиные».

Сто граммов водки для сорокалетнего мужика не бог весть какое излишество. Принимал, чтобы взбодриться, запустить мотор. Как сказал его врач, подписавший медицинское заключение, иначе бы он не выдержал, ему постоянно нужен был допинг.

Внешне он оставался прежним, изменилась походка — передвигался мелким западающим шагом. У шефа от этих «зигзугов» начинался «припадок ума». Подстерегал, приноживался, топтался под дверью. «Мне кажется, Гор двадцать четыре сутки пьян».

Опоздал — выговор, заупрямился — командировка на дальний рудник. Слетал, привёз готовый материал. Шеф «рвётся и мечется».

— Репортаж без визы нам ни к чему не даёт. Поезжай добывать директора. Вернёшься живым или мёртвым.

Как в воду глядел.

Поздним вечером Гор вернулся из командировки. Расплатился с таксистом, взял почту из ящика и уже переступал порог, когда его настиг четвёртый инфаркт. Успел шепнуть матери, бросившейся к нему в слезах:

— Без паники, это всё.

Хоронили его с оркестром, цветами, слёзы и речи текли рекой. Неожиданно выяснилось, что он умный, талантливый, благороднейший человек и память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Бедная мать не слушала. Грела ему руки.

## «Сказала Когелет...»

Что мы знаем о книге Екклесиаста, в древнееврейском каноне называемой Когелет?

1. Приписывается царю Соломону.
2. Один из наиболее сложных текстов Библии.
3. Вызывала споры среди талмудистов в связи с канонизацией Ветхого завета.
4. Автор не летописец, а поэт и мыслитель.
5. Автор скорее философ, чем религиозный догматик, несмотря на то, что философия, как наука, в Иудее ещё не зародилась, а богословие переживало бурный расцвет.
6. Автор скептик и отрицает существование потустороннего мира, противопоставляет ветхозаветной идеологии любомудрие, независимость духа и эмпирическое стремление к радостям жизни.

Книга начинается словами «Когелета, сына Давидова, царя в Иерусалиме».

«Но что такое когелет? Иудейская традиция утверждает, что это имя собственное. Однако сына с таким именем, по Ветхому завету, у Давида не было. Защитники традиции, не задумываясь, выдают Когелета за Соломона, т. е. за человека, который, по Библии, был сыном Давида и царём в Иерусалиме»<sup>1</sup>.

Возникает два вопроса. Почему Соломон, ведущий родословную от Давида, не назван своим настоящим именем? Почему Когелету, даже если он сын Давида, приписывается царский титул?

---

<sup>1</sup> М.С. Бельный «О мифологии и философии Библии». Изд-во «Наука», М. 1977.

Законоучитель Иегуда, рассказывая о спорах, возникших в период канонизации Ветхого завета, приводит одну из причин, по которой Когелет отказывались включить в священное писание: слова «противоречат друг другу» (Шаббат, 30 б.). Однако спор решился в пользу книги, так как её начало и конец идентичны основным положениям Торы, по свидетельству того же рабби.

К началу книги Иегуда относит 3-й стих I главы («Что пользы человеку от всех трудов его под солнцем?»), а к концу — 13-й стих XII главы («Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека»). Эти стихи, суть «слова Торы», и спасли Когелет от забвения.

Приписав книгу царю Соломону, чьё имя было залогом мудрости и благочестия, талмудисты тем самым «освятили» и её коварные противоречия, и вольнолюбивые эллинистические призывы, и откровенные выпады против общественного устройства и религиозных догматов.

Авторы «Когелета-рабба», комментария IX в. к этой книге, ссылаясь на более ранние источники, утверждают, что она была произнесена «мудрым царём на публичных собраниях». Но в этой роли, как правило, выступали глашатаи общины, а не царь, облечённый верховной властью. Тем более не Соломон, правление которого отмечалось крайней деспотией.

«В Ветхом завете слово «когелет» встречается только в одноимённой книге и нигде более. При этом один раз (VII, 27) когелет произносится в женском роде: «Вот что нашла я, сказала когелет: надобно соединить одно с другим, чтобы найти вывод»<sup>2</sup>.

Кроме того, «один раз рефрен «суета сует, всё суета» произносится, согласно древнееврейскому оригиналу, ха-когелет (XII, 8), а по правилам еврейской грамматики

---

<sup>2</sup> Там же. Стих дан в дословном переводе с древнееврейского. Богословы скрыли эту несурязицу и в переводе пишут: «вот что нашёл я...»

префиксальная форма «ха» присуща только именам нарицательным»<sup>3</sup>.

Значит, не имя собственное и вообще не мужчина?

Комиссия переводчиков, осуществившая первое пере­ложение Библии на греческий язык (известное нам как Септуагинта, по числу толмачей, которых было семьдесят), сочла, что «когелет» — женская форма древнееврейского «кагал» (собрание мужей), и перевела его словом «экклесиаст», дословно: проповедник. Но коль скоро когелет — сбор жён, могла бы и счесть, что книга написана проповедницей, то есть женщиной.

Принято думать, что автор Экклесиаста не храмовый жрец и не синагогальный священник, а провозвестник истины, кем и был выступающий в многолюдном собрании. Однако на женские сходки ни те, ни другие, ни третьи (тем паче цари) не ходили, презирая бабы пересуды как ха-когелет.

Зачем же понадобилось автору, и без того вынужденному отстаивать свои «противоречия», говорить от имени женщины, если он не был женщиной? Умного и пронизательного Экклесиаста трудно упрекнуть в недомыслии, но заподозрить в мистификации всё-таки можно.

Кто он? Насмешливый стихотворец, выдающий себя за проповедницу, или философ в юбке, претендующий на поэтические лавры?

Обратимся к тексту. Согласимся с Иегудой, что первые два стиха — явная интерполяция, и опустим третий стих, который суть «слова Торы». Предположим, что книга Когелет начинается с 4-го стиха I главы: «Род проходит и род приходит, а земля пребывает вовеки», а кончается на 7-м стихе XII главы: «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его»<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Цитаты приводятся из библии издания «Библейское общество»; UPS-EPE 8219—25 M-043X.

Образ земли, дающей и забирающей, композиционно завершён, смысловая и религиозная идеи исчерпаны. Поэт, прекрасно владеющий стихотворными приёмами, избрав рефреном звучное и легко запоминающееся «суета сует», не мог ни начать с него книгу, ни кончить им.

Освобождение текста от этих заведомо поздних вставок позволяет заключить следующее. Подозрения в том, что Когелет покушается на царский трон и приложение к роду Давидову, беспочвенны. Назидания, больше похожие на угрозы, и явное запугивание Божьим судом невесть откуда взявшегося сына — от лукавого.

Итак, «Род проходит и род приходит». Что поражает сразу же, смущает с первой строки? Отсутствие мужской логики. Не может уйти то, что ещё не пришло. Мужчина бы написал: «Род приходит и род проходит».

Вторая глава в толковании апологетов так называемой «научной критики Библии» традиционно считается издевательской. Якобы Когелет, поясняя, что он был «царём в Иерусалиме», рассказывает о себе и своих деяниях и одновременно сокрушается о бесполезности предпринятого труда, сетует по поводу царских порядков. Монолог-де содержит саркастический тон и разоблачает фальшивое сочувствие угнетённым. В данной трактовке противоречий больше, чем во всей книге.

Снова обратимся к тексту: «И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною» (II, 9). «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость: ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано?» (II, 12).

Но дома и виноградники, водоёмы и скот, слуги и драгоценности могут пониматься метафорически. Также сделать нечто сверх царя может любой человек, всё зависит от того, что подразумевать под нечто. Прямого намёка на царское происхождение здесь нет.

Стих 12-й I главы: «Я, Екклесиаст, был царём над Израилем в Иерусалиме» и стих 13-й I главы: «И предал я сердце моё тому, чтобы исследовать и испытать мудростию всё, что делается под небом; это тяжёлое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нём» — не только компилятивны и тенденциозны, но и стилистически разноречивы. Они согласуются с более поздними вставками, что лишний раз подтверждает допустимость вкраплений. Вторая глава если и разоблачает автора, то как прекрасного поэта и остроумного мистификатора.

А что говорит в пользу того, что книга могла быть написана женщиной? Мысли при всей их афористичности отрывочны, сюжета нет, мотивировка событий неубедительна, идея как принцип мировоззрения отсутствует, образы скорее чувственны, чем умозрительны. Кому, как не женщине, знать, что «притесняя других, мудрый делается глупым и подарки портят сердце»? Что «терпеливый лучше высокомерного»? Что «кротость покрывает и большие проступки»?

«Не будь слишком строг, — читаем дальше, — не выставляй себя слишком мудрым: зачем тебе губить себя?» (VII, 16). И это слова царя? Об отношении к царю сказано довольно чётко: «Даже в мыслях твоих не злословь царя, и в спальне твоей не злословь богатого; потому что птица небесная может перенести слово твоё, и крылатая — пересказать речь твою». Поистине женская осторожность и, образно говоря, «бедная» осторожность, ибо тому, кто велик и богат больше всех в Иерусалиме, такое просто не придёт в голову.

Но могла ли женщина написать: «И нашёл я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце её — силки, руки её — оковы; добрый перед Богом спасётся от неё, а грешник уловлен будет ею»?

Могла. Женщина, испытывавшая горечь мужской измены, могла так сказать о сопернице.

Как понимать: «Чего ещё искала душа моя, и я не нашёл? Мужчину одного из тысячи я нашёл, а женщины между всеми ими не нашёл» (VII, 28)? Любопытно, что этому стиху предшествуют строки, где «когелет» произносится в женском роде.

Примем, что Когелет действительно женщина, более того, талантливый поэт, предвосхитивший философское направление мыслей, и представим состояние иудейского общества, богословское отношение к женщине, как к носительнице всех отрицательных черт. Легко вообразить, в какой духовной изоляции она находилась, и согласиться, что не было рядом с ней ни одной достойной жены, равной ей по уму и таланту. Мужчина и тот, один из тысячи, мог вызвать в ней хоть какой-то интерес.

И, наконец, ключевая фраза, в которой говорится о тяжёлых временах, как их понимает автор, призывая помнить «Создателя твоего в дни юности твоей, доколе...»

«Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем» (XII, 6).

Кто носит цепочки и повязки? Кто ходит с кувшином к источнику? Кто набирает воду из колодца? Ни эллин, ни иудей. Ни глашатай общины, ни тем более мудрый царь Соломон, сын Давидов. Ха-когелет делают только женщины, причём не имеющие служанок. И потеря единственной, быть может, серебряной цепочки и золотой повязки — это женское представление о конце света, экспрессивное описание которого завершается этим стихом.

Что можно добавить? Когелет мыслит свободно, но она религиозна. Плоть от плоти своего народа, она впитала его культуру, но духовно сориентирована на греческую философию, столь ненавистную талмудистам. Она уважаема в своём доме (иначе откуда у женщины, таскающей воду, золото и серебро?), но имеет горький опыт любви: «Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?» (IV,

11). У неё нет друзей, но есть ребёнок, хотя она и не знает, «как образуются кости во чреве беременной» (XI, 11). Ребёнок, который становится на её сторону во время семейных раздоров: «И если станет преодолевать кто-либо одно, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвётся» (IV, 12). В пользу этого предположения говорит последовательность стихов IV главы: 11-го и 12-го.

Так это или нет, можно только гадать, но отметим удивительное качество, позволяющее посмотреть свысока на любые догадки — непредвзятость, с какой умница Когелет пытается понять окружающий мир. Огромный и непостижимо прекрасный: от Создателя в головах до серёбряной цепочки на её смуглой щиколотке.

И пример того, как сродственны женской природе скепсис и жизнерадостное легкоеверие, казалось бы, исключаящие друг друга, как естественно усваивает женский ум форму притчи.

## **СКАЗАЛА КОГЕЛЕТ**

1. Я ещё не пришла в этот мир, а он был; я уйду — он останется; радуюсь: он есть.

2. Ветер вчерашний не более завтрашнего, а завтрашний не осилит вчерашнего; он равен себе, и круги его неизменны.

3. Что было, то и будет; но если не делается, что делается, чему быть?

4. Время стирает память о прежнем, но всегда находится человек, через которого «до» переходит в «после»; берега стремятся друг к другу, и мосты наводняют реки, и что сегодня понадобилось одному, завтра, быть может, пригодится многим.

5. Я росла в четырёх стенах, но столько же и сторон у света, и сердце моё высоко стояло, словно порог из камня.

6. И преступила я сердце, чтобы увидеть мир, исполненный благодати; не увидела и вернулась к тому, с чего начала.

7. Но преступивший сердце, сердцем жить обречён. И стала мне жизнь пустыней, а жажда жизни — тоской.

8. Выход не ищет прямых путей, сомненье не выбирает; блуждать ногами и бродить душой — одно и то же.

9. Я искала смысл во всём, а его не было; в страдании я нашла угнетение, в блаженстве — блажь.

10. И сказала себе: смотри и запоминай, потом поймёшь.

11. Время текло, размывая годы и дни; уступая ему, я от него отставала; обгоняя, теряла его.

13. Я не просила власти и славы, а только знаний и сил. Но знанья меня состарили, а силы ожесточили.

14. Я не просила богатства и красоты, а только любви и удачи. Но любовь и удача ко мне приходили врозь.

15. Ха-когелет, вот что я поняла, перейдя пустыню, ха-когелет!

\*

1. Мне нечего сказать ни женщине, ни мужчине — кто теперь настолько наивен, чтобы кому-то верить?

2. Каждый в себя обращён; язык запутался в мыслях, а зрение не обнажает сердца, ибо забыло к нему дорогу.

3. Все говорят, но никто никого не слышит; и лишь немой изобразит то, что глухой не разберёт.

4. Уважают тех, кого боятся, унижают тех, кого любят.

5. Легко берут, нехотя отдают; дружбу водят из выгоды, трудятся ради достатка и даже в детях видят не надежду, а опору.

6. Не имея согласия в собственном доме, пытаются навести порядок в мире, и мечтают от скуки, потому что им нечем заняться. Так цыган, подобрав на дороге подкову, говорит: осталось найти ещё три и коня, и я буду разъезжать верхом.

7. Всё, что не доставляет им удовольствия, они презирают.

8. В горе не делаются умней, а радостью не хотят делиться и пресыщаются ею.

9. Бездарный занял место сильного, ему стараются уподобиться, и убожество возведено в пример.

10. Мужчина ищет в женщине мать, которая будет о нём заботиться, а женщина ищет в мужчине ребёнка, которым будет повелевать.

11. Но не это страшно, а то, что мужчины стали изнеженными, а женщины приобрели мужские черты, и потомство от них — узкогрудое и неплодящее.

12. Ленивые истощили утробы пищей, беспокойные иссушили головы пожиранием новостей; все мудрствуют и недовольствуют.

13. И увидела и запомнила; но противно мне было любоваться уродством и восхищаться безумием.

\*

1. Будь, как все, сказала мне сердце; не примерив цепочки, как узнаешь, что она тебе по ноге?

2. Я жала и сеяла, пряла и выращивала деревья, собирала гостей и накрывала столы; и нажила богатство и уважение.

3. Несметны мои сокровища: дома родства и соседства, виноградники дружеских возлияний, сады учеников, весьма плодовых.

4. Были и домочадцы и почитатели, готовые мне услужить; и недругов было не меньше, чем скота на пастбищах Иерусалима.

5. Я дорожила тем, что имела, и не жалела о недоступном, ибо моё со мной, а лишнего всегда мало.

6. Но бездельник, что сладко спит по ночам, счастливей меня — он не знает бессонницы; бесчестный спокойней меня — совесть его не мучит; жестокосердый свободней меня — чужая ноша не тянет.

7. И горше есть правда: бескорыстный труд бежит благодарности, и благодарность бежит его; доверие безответственно, сострадание мнительно.

8. Богатство можно отнять или перекупить; уважение требует постоянных расходов; жить с людьми значит жить по их законам.

9. И поняла: я не хуже других и не лучше, но не такая, какой мне следует быть. И раздала я своё добро, а цепочку бросила в воду.

10. Чего я добилась? Соседи, не поделив подарков, рассорились; друзья не простили мне одиночества; ученики отступились, домочадцы оскорблены, и почитатели зря не служат — избранных стало больше, чем званых.

11. Я смеялась, сказали: она легкомысленна; горевала, сказали: притворщица; говорила правду, сказали: дурно воспитана; молчала, сказали: она презирает нас. Я закрылась на семь замков, и сошлись на том, что худое не выставляют напоказ, потому и прячут.

12. Нет, я не возненавидела жизнь, потому что не я выдумала её, и не моими руками построен этот безумный мир.

13. Но я сказала: ха-когелет, живи, ибо другой жизни у тебя не будет, и радуйся, ибо это время — твоё.

\*

1. Всё, что даётся даром, даётся взаймы. Бери и помни.

2. Дочь моя, много радости на земле для любящих и много печали для исполняющих долг; испытывая одно за другим, испытываешь себя.

3. Копить силы впрок — всё равно, что запастись воздухом; сколько вдохнёшь, столько и выдохнешь.

4. Напрягайся, но знай: слишком туго натянутая тетива быстро рвётся, и стрела не долетает до цели.

5. Кто боится страданий, уже страдает; кто страдает, тому не до страха; в любом утверждении кроется отрицание; подумай перед тем, как доказывать свою правоту.

6. Истинное горе молчаливо, а радость сурова; не так уж они и отличаются друг от друга.

7. О чём бы мы ни говорили, мы говорим о себе. Научись слушать других и поймёшь себя.

8. Чем меньше делает человек, тем больше он преувеличивает значение сделанного; и самая гордая птица — индюк.

9. Кто сам плох, тому всё плохо: и виноград зелен и ночь коротка; будь лучше, если жизнь стала хуже.

10. Не зарывайся в прошлое и не загадывай наперёд, но и не живи со дня на день; идущий не смотрит назад и вверх, а под ноги и по сторонам.

11. Не горюй о вечном; если память временна, временно и забвение; семя не помнит своих корней, но это ему не мешает стать деревом, и человек возникает из рода в род.

12. Не спеши ни в делах, ни в чувствах — кто торопится жить, торопится умереть.

13. Ничего не проси: ни малого, ни большого — по тебе воздастся и узнаешь себе цену.

14. Дух не пресекается, он мерами вспыхивает и мерами угасает, а суета сует — это путь к нему.

\*

1. Зло на земле многолико и приманок его не счесть; оно рядится в ризы и рубища, произносит слёзные и высокопарные речи, но доброе сердце всегда узнает его.

2. Дети рождаются с чистым сердцем и чистыми руками; честь и хвала матери, научившей ребёнка мыть руки; но держать в чистоте своё сердце каждый учится сам.

3. Не смейся над тем, чего не понимаешь, и не стыдись показаться смешной; всё знать нельзя, всему есть предел, кроме глупости.

4. Не хвались, а делай доброе, и тебя похвалят; не унижай и не унизишься; не гневайся и не будешь просить прощения.

5. Сравнивай себя с другими, но старайся быть лучше себя, а не других.

6. Не завидуй богатому, ни облечённому властью, ни вознесённому славой, а пожалей — их желанья исполнились. Каждый имеет то, что хочет: сребролюбивый — деньги, деспотичный — повинование, тщеславный — почести, и любвеобильный жатвы не сеет. Выбери, что тебе дороже, и помирись на том. Но помни, что, выбрав одно, ты лишаешь себя остального — дважды душу не отдают.

7. Не трудись с ожесточением, не нахлёстывай упрямого мула, и ты устанешь, и он не сдвинется с места; старание отдыхает в радости.

8. Веселись, веселье — вино, оно взбадривает и освежает, но выпитое сверх меры отупляет мозг и оглушает уста; навёрстывать утомительней, чем продвигаться свободным шагом.

9. Думая о небесном, не презирай земного; всё хорошо в свой черёд: несобранный хлеб гниёт на полях, а снятый до срока — плесневевает.

10. Душа обитает в теле. Я гостила во многих домах и видела разных хозяек; самой милой была опрятная в опрятном доме.

\*

1. Будут тяжёлые времена, ибо есть и другие. Не отчаивайся — в пищу идёт и горькое и безвкусное.

2. Родители состарятся, возлюбленные переженятся, друзья окупятся в свои заботы.

3. И богатый не избежит нищеты, и бессребреник не дожждётся достатка, и вчерашний царь будет петь петухом на ярмарке, забавляя народ.

4. И грешники насмеются над праведниками, а безбожники ударятся в проповедничество, брат на брата пойдёт, и прольётся кровь.

5. И не миндаль зацветёт, а папоротник бесполой, и не каперс рассыплется, а свежий масличный лист, и не кузнечик отяжелеет, а голубь камнем падёт.

6. Но и в эти последние времена встань на сторону слабого и падающего удержи.

7. Есть утешение и в безотрадном; медный грош в бедности покажется золотым, помощь в болезни — милостью, и даже ласточка на чужбине поёт на своём языке!

8. Ты ещё не пришла в этот мир, а я была; я уйду — ты останешься; радуйся: я была, ты есть, будет новое время.



# ПОВЕСТИ

# ДОРОГА К МЕЛЬНИЦЕ

Когда мне не хочется думать о том, что будет, я вспоминаю о том, что было. А было детство. И мельница. Старая ветряная мельница на краю земли. К ней ведёт широкая просёлочная дорога, запорошённая пылью, сквозь которую пробиваются ярко-жёлтые цепкие одуванчики и пугливые нежно-синие васильки. Этой исхоженной, заезженной дорогой я всю жизнь двигаюсь к счастью. Оно совсем уже близко и машет мне крыльями, перемалывая воздух.

Я вспоминаю не всё подряд, а картинками. Связь между ними существует только в моём воображении. Вы скажете: ну, вспоминаешь и вспоминай, нам-то что, у всех бывает какое-никакое детство. Но речь не обо мне — о дороге. Может, и вы рискнёте пройти её, чтобы ещё раз понять себя и других. Это не займёт много времени, мельница почти рядом, но без меня вам её не найти. Дело в том, что пройденная дорога тут же зарастает травой в человеческий рост. Жаль, если она, такая полезная и надёжная, исчезнет вместе со мной.

У меня дурацкое прозвище — Булька. Не помню, кто придумал его, мама или тётя, но оно ко мне прицепилось, и я на него отзываюсь.

Мы живём втроём, без отца. Мама с ним разошлась характером, но об этом лучше не заикаться, иначе сразу начнутся расспросы и нравомучения, которые кончаются поджатыми губами. А чужой обиды я боюсь больше моей.

Тёплая летняя ночь. В палисаднике, под окном, цветёт ночная фиалка. Её сладкий густой аромат плотным

облаком окутывает нас, восседающих на крыльце. Шагах в двадцати громыхает железная дорога, в ярком свете прожектора крутится мошкара. Мама, тётя и я смотрим на звёзды и месяц, похожий на улыбку.

— Неужели и там есть жизнь? — мечтательно произносит мама.

— Вот бы слетать туда и всё увидеть своими глазами, — подхватывает тётя.

Она плохо видит и поэтому верит лишь собственным глазам. Тётя у нас деловой человек, работает в узловом партийном комитете и говорит коротко и по существу. «Повестка дня», «вопрос ребром», «напрашивается вывод» — её любимые словечки.

— Можно на месяце покататься, — предлагаю я.

— А вдруг там чудовища?

Наверное, мама шутит.

— Со всеми можно найти общий язык, — не сдаётся тётя.

В этом она права, потому что со всеми находит его, даже со мной. Но где он, этот «общий язык», и зачем его искать, я пока что не знаю. И у меня во рту он точно не поместится.

С разрывом в несколько минут проносятся поезда. Я различаю их по стуку.

Мерно, враскачку, тра-та-та, тра-та-та, идут пассажирские, вздрагивая на стыках. Десять-тринадцать вагонов. Последние останавливаются прямо напротив нашего дома, и пассажиры с любопытством высовываются из окон.

— Какой город, хозяйюшки? — кричит тот, что посмелей.

— Армавир! — отзывается тётя, дежурная по общему языку.

— Солёные огурчики есть?

— Нет, нет! — недовольно отмахивается мама, хотя их у нас навалом. Но купля-продажа, которой занимаются все наши соседи, ей не по нутру.

Паровоз даёт гудок, и поезд медленно отъезжает.

— Спокойной ночи, хозяйюшки!

— Счастливого пути! — со смехом отвечает тётя.

— Черти, — сердится мама, — ни себе покоя, ни людям.

Даже если бы в небе жили разумные существа и туда проложили железную дорогу, и поезда по ней ходили каждый день, и билеты раздавали бесплатно, всё равно мама ни за что бы не сдвинулась с места. Она настоящая женщина и страшно боится перемен.

А вот приближается грузовой состав, по-нашему — товарняк. Чух-чух, перечух, чу-хи, чу-хи, чух. Вагоны бегут косяком, до сорока штук. Ничего особенного.

Веселей, когда на подходе наливной — всё в доме трясётся. Издалека нарастает лязгающий гул, вытянутый в одну жирную линию. Цистерны летят десяткой, отливая в свете прожекторов мазутными боками: вжик, вжик, та-да-да.

Врасхристь толкуются поезда с открытыми дверьми, забранными до половины досками. В них перевозят свиней и коров. Хрюти му-ути, хрюти му-у... Эти ещё короче, но пахнут длиною в целый час.

Самые интересные — платформы с танками и грузовиками. Они мелькают по-солдатски: ать-два, ать-два. На каждой из них — часовой в плащ-палатке, с ружьём наперевес. Транзитки мчатся со свистом, рассекая воздух, лишь изредка останавливаясь для заправки у водокачки.

Ещё я люблю агитки. Вагон, разукрашенный транспарантами, подолгу стоит в тупике, и репродуктор, похожий на огромное ухо, распевает всякие жизнерадостные песни. С агитками связаны все наши праздники, субботники и воскресники. Двор словно просыпается от спячки: тараторят столетние бабушки, заливаются смехом грудные младенцы, а вчерашние ненавистницы начинают душить друг друга в объятьях. На столике, врытом в землю посреди двора, появляются тазы с пирожками и четверти с вишнёвой

наливкой, и агитаторы постепенно втягиваются в гулянье, что кончается танцами или дракой.

Здесь же иногда застревает вагон с рентген-кабинетом, окна которого задёрнуты чёрными шторками, и всех железнодорожников просвещают невидимыми научными лучами.

Ещё реже на запасной путь загоняют вагон с заключёнными. За решётками люди похожи на зверей в зоопарке — у них небритые лица и тоскливые глаза. На подножке дремлет солдатик, то прогоняя, то подзывая нас.

— Сынок, — вдруг обжигает шёпот из-за решётки, — будь другом, кинь письмецо!

Затевая хитрую возню, мы окружаем солдатика и незаметно перехватываем на лету скатанную бумажку.

— Адрес на обороте! Не забудь про конверт! И марку, марку наклей!

Это мы сделаем. Кому повредит нечаянная радость?

Самые пакостные поезда — с допризывниками. Недаром их возят в свинских вагонах. Стриженные под нулёвку пациенты страшно ругаются и швыряют бутылки куда попало. Мама подбирает их в палисаднике и от возмущения не находит слов. Эти поезда, набитые соломой и матом, ходят, спотыкаясь, будто обзываются: я те тра-та-та, я те та.

Я почти засыпаю, кутаясь в душистое облако.

— Пора спать, — говорит тётя.

В нашей семье она принимает решения.

Мама берёт меня на руки и прижимает к своей мягкой вздыхающей груди.

— Сокровище моё, — словно жалуется она.

Меня любят. Мне хорошо. Это самое чёткое, что я уношу с собой из тёплой летней ночи. А небо со звёздами и чудовищами подождёт.

Тётя сидит за столом и с выражением читает китайскую сказку. Я сижу на столе, упираясь подбородком в колени,

а пятками в клеёнку, и шевелю пальцами босых ног, отчего книга в тётиных руках подрагивает.

— Не интересно? — тётя с обидой.

— Интересно.

— Сейчас дракон набросится на Храброго Ли. Это очень важное место.

— Читай.

— Неужели тебе его не жалко? — кажется, она меня презирает.

— Мне тебя жалко.

— А я-то при чём?

— Ты устала.

— Или ты будешь слушать, или марш в постель!

Старая песня. И сказка, зачитанная до дыр. Но тётя считает, что она имеет воспитательное значение. Мы дружим с Китаем, об этом без конца твердит радио, и китайские сказки валяются на всех прилавках. Они для меня кончаются «или-или». Наверное, по-другому со мною нельзя. Но сказки вечно врут. Им верит только тётя.

— «Дракон открыл пасть, и оттуда вырвалось красное пламя».

Конечно, язык, типа «общего».

Плохо быть маленьким. Все пытаются тебя обдурить.

Тётя несёт чайник. Она ходит с трудом, прихрамывая на обе ноги, потому что болеет поясницей, которая всегда ноет. А нить, знаю по себе, дело скучное и безнадёжное.

Тётя у меня замечательная, лучше, чем некоторые отцы. Может, они с мамой родили меня поровну: мама — с головы до живота, а тётя — всё остальное. Но это несправедливо, маме досталась умная половина. А если наоборот: мама родила левую сторону, а тётя — правую? Но в левой сердце, а в правой... неизвестно что. Лихорадочно думаю, а сердце уже разрывается на две части.

— Я, китайский дракон,— пою на мотив цыганского барона, чтобы развеселить себя и тётю.

— Не безобразничай,— обрывает она.

А что такое образничать? И разве честно притворяться, если ты не тот, за кого тебя принимают?

Меня никогда не жалели чужие люди. Поэтому с утра перевязываю бинтом грязную ногу (и как это тётя вчера не заметила?) и, сделав несчастное лицо, выхожу во двор.

Наш двор — это ничейная земля с ухабами и буграми, которые во время дождя превращаются в лужи и острова, а зимой — в ледяные горки и катки. Двор окружён десятком одноэтажных домов с палисадниками. У нас даже улицы нет, а просто железнодорожные дома с номерами: 13, 18, 26, 85. Эти номера, как говорит наш управдом, видно, раздавали в большом подпитии, и гости ломают себе головы и заодно ноги, разыскивая нужную квартиру. С одной стороны двор зажат полуразрушенной с войны электростанцией, с другой — туннелем, по которому мчатся грузовики и тащатся подводы, с третьей — железной дорогой. Четвёртая сторона упирается в привокзальный сквер, где хозяйничают цыгане. На кустах они сушат свои цыганские юбки и бахромчатые платки. Корытом им служит фонтан, где они и купаются, и стирают. В нашем дворе никогда не бывает тихо.

— Тебя что, перина укусила? — спрашивает Буба, мой лучший друг.

Буба младше меня на полгода, но вредность его древнее китайских сказок.

— Муха,— отвечаю я.

— Ага, с пропеллером,— ухмыляется Буба.

Мы всегда спорим до первой крови.

Назло Бубе я всем телом налегаю на высоченную поленницу, сложенную у сараев.

— Это наши дрова, не шатай,— шипит Буба.

Я что есть силы ударяю в поленницу забинтованной ногой. Трах-тара-рах! Чурки сыплются градом, мы падаем, но продолжаем спор.

— Здорово же болит твоя нога!

— Нисколечки!

— Ох, и будет тебе от матери!

— А она на работе!

— Тогда от хромоножки!

Вот этого я от Бубы не ожидал.

— Ах ты, свиноферма!

Я прыгаю на Бубу и, схватив его за уши, катаю по земле, пока он не начинает орать как резаный.

— Ещё наподдай! — вопит из своего окна Вовка Бахирь, дылда и двоечник.

Я посылаю его подальше. Мы с Бубой обойдёмся без сопливых.

Нас разнимает толстая, в три обхвата, Бубниха и каждому отвешивает по оплеухе. Я отлетаю к нашему крыльцу.

— Ну, Бубочка, берегись!

Он грозит мне двумя кулаками.

Тётя тут как тут: что за дети, никакой ответственности за поступки, с этим надо как-то бороться.

— Отстань, — буркаю по привычке.

Не скажешь ведь, что хотелось, чтобы меня пожалели чужие люди.

Весь день я жду расправы. Тётя уже сбегала к Бубнихе и со мною не разговаривает. Был бы отец, он бы всыпал Бубе. Но отца нет и не будет. Мне было два месяца, когда он понял, что даром теряет с нами время. Я стараюсь о нём не думать, но он сам лезет в мои мысли.

У Бубы есть отец. Майор милиции. Что это значит, я пока что не разобрался, а спрашивать не хочу. Во всех палисадниках растут майорчики, никто же не спрашивает,

почему они так называются. Наверное, и майоры пошли от них. Большой разницы нет — и те и эти сажают.

Отец частенько поколачивает Бубу в подвале, где хранится их блатное вино. Буба визжит на весь двор, а тётя сходит с ума. С тех пор, как в эвакуации умерли от диспепсии её годовалые близнецы, она не выносит детского крика. А Буба тот ещё фрукт. После каждой порки он задирает нос и хвастается синяками. А какие они синяки? Разноцветные и нарядные, как цыганский платок. И не болят совсем.

У Галки тоже отец. Маневровый диспетчер. Суточный, худой, с ёрзающим кадыком на морщинистой шее. Он цепляется к нам, а нас от него мутит. Харкает прямо под ноги и обзывается.

— А ну, подь сюда, квашеное рыло, — говорит Вовке Бахирию. — С чего это мать твоя, итить её сапогом, вырядилась, как на пасху? Ух, и любите вы шикавать! Курей ещё не завели? Кому ж вы, хитрожопые, деньги скармливаете? — и в кашель, и в хохот.

Бахирь стоит, развесив уши, и глупо улыбается.

— Да не бзди, недоделок, я ж любя! Ну, жизнь пошла, ёлки-палки, никому слова не скажи! Эй, Бубёныш, куда намылился? За керосином? А мать на што? Ишь, тетёха, заездила пацана. А ты чего насупился, Булька-шмаровоз? Не нравится моя пропаганда? Правильно, отрабатывай тёткин харч! Папаня твой, часом, не объявился? Вот сучье вымя!

И в том же духе. Вроде сочувствует, а всем тошно.

Бахирев отец — кондуктор. Дядя Ванюшка, как дразнят его соседи, сопровождает грузовые составы: едет в конце поезда, в тендере (такая длинненькая верандочка, но без стёкол), и следит за порядком в пути. На работу он ходит с большой кожаной сумкой, где аккуратно сложены справочники, планшеты, расписания поездов, сигнальные флажки и свистки. Дядя Ванюшка мал ростом и безобиден, как кролик.

Бахирева мать вечно пилит его, потому что он у всех на побегушках: то пилит дрова с Бубном, то мчится в магазин за бутылкой для диспетчера, каждому, кто ни попросит, старается удружить. И руки у него золотые — всё у них в доме прилажено да подверчено.

Только нам никто не помогает, потому что мама гордая и не разрешает нас жалеть. А гордым быть нелегко. Это поймёшь, когда на пару с ней разгрузишь машину с тремя кубометрами дров и подводу с тонной угля, а потом всё порубишь, поколешь и перетаскаешь в сарай. Или наносишься воды на весь наш горе-огород: восемнадцать шагов в длину, одиннадцать в ширину, а кустов и деревьев столько, что некуда ногу поставить — две черешни, вишня, слива, яблоня, груша, пять виноградных лоз, два тополя, ясень, малина, жасмин, сирень, не считая петрушек, редисок и разноцветок. И всё, как назло, цветёт и разрастается.

Короче, я не выбрал бы ни одного из этих отцов. Они бы не подошли мне по характеру.

Расплата приближается. Тётя нарочно гремит посудой и меня игнорирует.

— Тётъ, а для чего отцы?

Глухое молчание.

— Ну, тётъ...

— А ты для чего? Можешь не отвечать — для безобразий!

Кажется, тучи рассеиваются. Она не умеет долго злиться.

— Для тебя и для мамы.

Тётя машинально кивает:

— Все люди нужны друг другу.

— Неправда. Отцу я не нужен.

— Много ты знаешь!

Почему взрослые уверены, что они знают всё?

— А ты объясни.

— Сам поймёшь, когда вырастешь. «Жаль только, жить в эту пору прекрасную...»

Это строчка из железнодорожного стихотворения. Там тоже какой-то Ванюшка был, косточки считал.

Тётя вновь начеку. Её не интересует отцовская тема. И вообще взрослые боятся правды. Им проще себя обманывать.

— Я уже понял, — говорю я великодушно. — И ты, и мама, и я — все мы нужны друг другу.

Вечером приходит мама. Она пахнет клеем, чернилами и своей товарной конторой. Мама работает кассиром и сидит на международных грузах. Может, поэтому у неё отсутствующий вид.

Мама носит суконный китель с железными пуговицами и узкую юбку, которые, спасибо Дорпрофсожу, обходятся ей в полцены. Так она экономит на себе. В кителе мама похожа на милиционера, и мне за неё обидно. Она ведь у нас красавица: большие серые, с поволокой глаза, тёмные шёлковые волосы до колен. Только рот у мамы крепко сжат, как у сердитой девочки. И она редко смеётся.

Тётя на изготовке.

— Сегодня он, — уничтожающий жест в мою сторону, — подрался с Бубой. Перевернули поленницу, вывозились в грязи. Анна жаловалась. Бубу наказали.

— Выйди, — устало говорит мама.

Видно, у неё нет сил воспитывать меня. Я опускаю голову и плетусь в коридор, но за дверью наостряю уши.

— Кто первым начал?

— Буба обозвал меня хромоножкой, а этот взбесился, ну, и пошло-поехало...

— За что же его наказывать?

— Бубу же наказали, — тётя. Борец за справедливость.

— Ну, пусть посидит дома, — мама. Борец за мир.

— Ты слышишь? Вечером — никаких гулянок! Будешь читать букварь!

Тоже мне наказание. Нет, этим взрослым ничего не ясно про нас.

— Выдрали? — спрашиваю я, с опаской подходя к Бубе, забравшемуся на козлы за сараями.

Это место так и называется «засарайки», с моей лёгкой руки. Круглый лужок с двумя приземистыми шелковицами и мусорной свалкой был нам убежищем в тяжкие дни родительского террора.

Буба слизывает сахар с хлеба, смоченный водой, чтобы не сыпался. Это его собственное изобретение. По-моему, гениальное.

— Не твоё собачье дело.

— И мне досталось.

Буба вмиг забывает про сахар и смотрит на меня с любопытством.

— Честно?

— Не хочешь — не верь.

— Надавали по заднице?

— По башке. Сковородкой стукнули.

Буба морщит нос.

— А шишка есть?

— Вчера была.

— Врёшь ты всё. Тебя не лупят.

— А тебя ремнём?

— Ага, — вздыхает Буба.

Мне становится стыдно.

— Помиримся или подерёмся?

Он снова принимается за сахар и бурчит:

— Чуть уши не оторвал.

— Сам напросился.

Подходит Бахирь.

— Что за шум, а драки нету?

Мы не отзываемся. Бахирь ковыряется в носу. Нам это действует на нервы. До него не доходит. Стоит и накручивает резьбу. Упорством он в мать, рослую, грудастую, со сдвинутыми бровями. Все знают, что она приторговывает, от них всегда уходят с узлами. А Бахирь второгодник

и сопля. Ни за что не полезет в драку, всё норовит сделать исподтишка. То сопрёт ремень у отца, и дядя Ванюшка разгуливает по двору, подвязавшись верёвочкой, как па- стушок. То стянет у матери помаду и перемажет нам май- ки и штаны. Бюстоносица объясняет это издержками ро- ста, а у нас эти издержки вон где сидят.

— Пошёл бы ты выпался, — не выдерживает Буба.

— Чё вы, ребята, — канючит Бахирь.

— Видел, как в туннельке машина перевернулась? — придумываю я.

— Не-а. А шофёр угробился?

— И шофёр, и куча народу, кровищи... — включается Буба. — Ты сбегай, глянь!

Не зря я его люблю, несмотря ни на что. Бахирь улепё- тывает.

— Я не нарочно, — вдруг покраснев, буркает Буба. — В общем, ты понимаешь. Тётка у тебя что надо.

Я протягиваю ему руку, он, не раздумывая, пожимает её. Вот что значит мужская дружба. Другу всё можно про- стить, кроме предательства. Но что считать предатель- ством, я пока что не знаю. Был бы отец, он бы мне объяс- нил.

Повалил снег. Вот здорово! С утра до позднего вечера мы пуляемся снежками, катаемся на лыжах и коньках. А когда наматывает сугробы, съезжаем со склона туннеля. Де- лается это так. Садись на самый край, подвернув под себя полы пальто, и задираешь ноги, чтобы снег не набил- ся в бурки. Обрастая снежным комом, летишь к тротуару, а прохожие шарахаются, но уже через минуту смеются вместе с тобой. Безобразие заразительно.

Наконец мама приносит ёлку. Зелёная пушистая, она сразу отвоёвывает полкомнаты. Диван задвигают в угол, а тумбочку выносят в коридор. Ёлка пахнет лесом и ска- зочной тишиной. Тётя стаскивает с кладовки деревянный

крест с дыркой посередине и коробку с ёлочными игрушками, завернутыми в вату. С ёлкой мы возимся до потери сознания, устанавливая её то так, то сяк, но она никогда не стоит у нас прямо. Это ничего, если смотреть на неё, свернув голову набок.

Мама целыми днями пропадает в очередях. Она у нас добытчица. Разгружает набитые всякой всячиной сумки, пересчитывает деньги в кошельке и вновь убегает.

Тётя ходит с таинственным видом и всё время что-то перепрятывает. Подарки, само собой. Мне ни разу не удалось отыскать их до праздника. Ох, уж эти Бабы-морозы!

В новогодний вечер мама заступает на всенощную, как говорит тётя. Она варит холодец, томит в духовке гуся с яблоками, печёт пироги. Тётя отвечает за рецептуру: замешивает тесто, заливает копыта нужным количеством воды и так далее. Мама — технический исполнитель. Поэтому в десять часов мы с тётей заваливаемся спать, а мама страдает за идею.

Проснувшись, я босиком шлёпаю к ёлке и вытягиваю из-под неё мой драгоценный синий мешочек в красных цветочках, доверху набитый мандаринами, орехами и конфетами. К конфетам я равнодушен, и мне их хватает до следующего Нового года. Но они идут в комплекте, тётя всё делает по правилам.

Труднее найти игрушки. Они спрятаны с интересом: иногда под слоем ваты вокруг креста, иногда на ветках. Я прямо дрожу, пока развязываю атласные бантики и разворачиваю шуршащую бумагу. Я готов поверить и в Деда-мороза, и в Снегурочку, и в счастье всех народов на земле, лишь бы тётя всегда была такой догадливой.

Ну, конечно, это чёрный сверкающий лаком пистолет и коробка с пистонами, да ещё котёнок с белой мордой, лапками-шариками и ситцевым пузом. Он больше похож на человечка и тарашится на меня зелёными стекляшками и дразнится красным фетровым язычком.

— Как тебя зовут? Кизя-Мизя?

Кизя-Мизя смотрит недоверчиво, но дружелюбно. Пусть посидит под ёлкой, освоится, а я займусь пистолетом. Наскоро отпробовав гусиных яблок, бегу во двор. Никого нет.

— Бубка! — кричу я в закрытые ставни. — Выходи! С Новым годом!

Ставни приоткрываются, и в окне возникает заспанная Бубкина физиономия. Вот тетеря, праздник же начался! Я поднимаю пистолет и стреляю в воздух. Бубка тут же исчезает и вскоре появляется с большой мяукающей куклой. Мы идём к поленнице, откуда виден весь двор, заваленный снегом, искрящимся, как сливочное мороженое. Он ещё никем не отпробован, ешь не хочу.

Бубка брезгливо поднимает куклу за ногу, и та закатывает глаза.

— Вот дураки, что подарили, — говорит он пристыженно. — Давай меняться.

— Ещё чего!

— Тогда я пошёл домой.

И, круто повернувшись, Буба уходит, стараясь попасть отцовскими галошами в свои следы. Кукла волочится по снегу, галоши спадают. Печальное зрелище.

— Эй, постой! — кричу я. — Чёрт с ними, с подарками, давай покатаемся с горки!

Буба останавливается вполоборота.

— Ладно, — как бы между прочим соглашается он, — только отделаюсь от этой дуры. А ты унеси пистолет, не то я лопну от злости.

По-хорошему с Бубой можно договориться, но у меня не всегда хватает терпения.

Вечером вся дворня собирается на детской площадке. Со всем недавно здесь был пустырь, а теперь целый культурный центр: два фонаря, цветочная клумба, стол со скамейками

и четыре персиковых саженца, что никак не хотят расти. Это благоустройство претворила в жизнь моя неужённая тётя, которой, как считает мама, больше всех надо.

Сейчас мы будем колядовать. Вырядимся посмешней и начнём ходить от крыльца к крыльцу, орать весёлые песни, колотить ложками в тазы и кастрюли, а соседи примутся хохотать до упаду и задаривать нас пирогами.

Я надеваю мамину шинель, обвязываю голову полотенцем и нахлобучиваю алюминиевую миску. Получается настоящий фриц. В руке у меня пистолет, я стреляю и кричу: «Хенде хох!», «Донер ветер!», «Ауфидерзейн!», «Гитлер капут!», «Юбер алес!», «Гутен таг!» Это всё, что я знаю по-немецки из фильмов про войну.

Буба напяливает поверх пальто цветастое материнское платье и повязывается косынкой — ни дать ни взять матрёшка. Бахирь в отцовском кителе размахивает флажками и тупо дует в свисток.

Есть и цыганка, и поросычья морда, и врач с пилой на плече, и что-то животное в вывернутом тулупе.

— «Ой, мороз, моро-оз, не морозь меня...», — надрываемся мы до упора.

На Кубани, на Кубани  
не найти приличной бани.  
Взмылить бы за это  
Дядь из горсовета! -

заводится Галка. Мы чуть не плачем со смеху.

На базаре говорят,  
что в Казани кур доят.  
Надо с нашим Дроботом  
съездить к ним за опытом!

Мамочки! И Дробота приплели, лучшего дояра области.

Не журишь, кума,  
что мужик без ума,  
с дураком намучишься,  
зато не соскучишься!

Хватаясь за животы, катаемся по снегу. Двор гудит. Соседи кидаются снежками и подзадоривают друг друга. Дядя Ванюшка разошёлся вовсю и лихо отплясывает вприсядку. Диспетчер спаивает Бахиреву мать вишневкой прямо из четверти, та нехотя отбивается. Бубниха осуждающе качает головой и цепко держит Бубна за рукав полосатой пижамы, а Бубн вырывается и ревёт: «Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна!» Тётя, фыркающая и отдуваясь, удирает от тёти Моти, которая скачет за нею верхом на метле. Где же мама?

А, вот она, стоит, прислонившись к Бугрихиному забору. Бугриха что-то рассказывает, размахивая руками. От неё летом сбежал муж, оставив её с двумя дочками, и бедная Бугриха честит его не переставая. Надо маму спасать.

— Чтоб ему пусто было, — жалуется Бугриха, отпихивая меня, — таким хорошим прикидывался, всё в дом тащил, жить бы да радоваться, без ножа зарезал, кобель проклятый, ох, моченьки моей нет, ох, Параскея, золотая моя, удавлюсь, детки мои сиротиночки-и...

Я утягиваю маму, и мы по сугробам идём к дому. Мама украдкой смахивает слезу.

— Когда я вырасту, — говорю, — я куплю тебе розовое платье, розовые туфли, розовое пальто и шляпу, всё розовое, как у принцессы!

Мама наклоняется и жадно целует меня.

— Дурачок ты мой, — и без всякого перехода: — Посмотри на себя, весь мокрый, завтра свалишься, будешь знать.

Мама из всего делает трагедию.

У меня корь. Градусник жутко холодный, а чай еле тёплый. Под потолком мечутся птицы с длинными красными хвостами. Очень хочется спать, но едва прикрою веки, они спускаются и пышут мне в лицо своим противным дыханием. Я не могу их прогнать, руки и ноги ватные, и без конца ворочаю глазами.

Однажды ночью в комнату влетел совёнок. Пригнув голову, он ринулся к потолку и сцепился с моими обидчиками. Перья хлынули красным дождём, и я раскидывал их и раскидывал, пока не выбился из сил. А совёнок присел на кровать и уставился на меня не мигая.

— Жапомни,— сказал он, пришепётывая,— дружья пожнаются в беде.

Я кивнул, и мёртвые птицы поплыли в окно.

— Ешли надо, жови,— и клюнул меня в левую щёку.

Я очнулся и позвал маму.

— Перелом,— всхлипнула она.

— Слава богу,— спросонья пробормотала тётя, сто раз до этого говорившая, что бога нет.

А утром на левой щеке появился синяк. Да так и остался.

Потом прицепилось воспаление лёгких. Нет, сначала я затолкал зимнее пальто под матрас, и мама, обыскавшись, разрешила надеть демисезонное. Кто же знал, что поднимется ветер? Это он погнал по луже бумажный кораблик, а я погнался за ним и промочил ботинки.

От кашля ломило в висках. Доктор Евдокия Ивановна всего меня ощупала, простукала и строго сказала:

— Крупозное двустороннее. Лёгкие в тяжёлой форме. Ничего, девочки, всё будет хорошо.

Такая глупость: то ли лёгкие, то ли тяжёлые. И начались уколы, припарки и прочие зловредные процедуры.

Через месяц снова-здорово. Тётя отдыхала в санатории, и мама выкладывалась за двоих. «Перестань жевать

платок». «Не высовывай ноги». «Опять рисуешь на простыне!» «Куда подевал котлету? Нет, я видела, ты не ел».

Из маминых мудростей можно собрать целую библиотеку. Но кто принимает всерьёз родительские таланты?

Всё-таки нас уложили в больницу. Вскоре вернулась тётя и организовала нам усиленное питание. Передачи мы уплетали всей палатой, и нас за это зауважали. Я попросил тётю принести Кизю-Мизю, но в больнице объявили карантин и никого не впускали. Я ревел и смотрел в окно на белую морду в тётиних руках. Со второго этажа Кизя-Мизя был похож на подопытного мышонка. Мама отогнала меня к двери и распахнула раму. Тётя подбросила Кизю-Мизю, да так удачно, что он упал на меня. Я спрятал его под подушку и тайком с ним играл. Не знаю, что бы я делал без мамы и тётки.

В больнице я со страху забыл имя одного министра. Дело, конечно, не в нём, просто надо было вспомнить и всё. Тётя говорила, что хорошая память это признак ума. А кому не хочется быть умным? Я таких дураков не встречал.

Так вот, я никак не мог вспомнить, как звали министра, и приставал к врачам. Имя было чудное, что-то вроде «между стран». Когда приехала тётя, я тут же спросил у неё, и она по слогам сказала: Мен-дес-франс. Я успокоился и побежал просвещать врачей, чтобы они не подумали, что я слабоумный.

После больницы меня ещё неделю продержали в постели. Я умирал от скуки. Вот тогда и пришла мне в голову мельница. Мне не хватало воздуха, а когда я придумал её, дышать стало легче и почти не больно. Поэтому я думал о ней днём и ночью.

Но болеть неинтересно. От Бубы никакого толку — сидит и вздыхает, как старый дед, советы даёт. А больной человек, если он нормальный, в жалости не нуждается, ему хочется поболтать и отвлечься.

С мельницей было проще. Она кружилась в собственном вихре и не мешала мне ни болеть, ни выздоравливать, но от неё исходила светящаяся укрепляющая сила. Я понял, что глупо ждать от счастья каких-то чудес, надо только настроиться на его волну, и всё само собой образуется.

Сошёл снег, и расцвели черешни, загалдели галки и воробьи, белым вихрем ворвался в окно жасмин, вспыхнула и погасла пятизвёздочная сирень.

Когда после болезни я вышел на свет, все запахи, краски и звуки ударили мне в лицо, и я чуть не свалился в голубую гущу петушков. В палисаднике гудели неповоротливые шмели, ручные, совсем не кусачие; носились стрекозы, восьмёрками порхали бабочки, и, словно маятники, но только ногами вверх, мерно раскачивались разноцветки. Как мне хотелось жить! Я всё любил. И всё любило меня.

Но к лету я снова закашлял, и Евдокия Ивановна, Всё-будетхорошо, категорически потребовала отправить меня в санаторий. Мама с тётей, конечно, запротестовали, но Евдокия Ивановна и бровью не повела.

— Хватит, девочки, сырость разводить, никто ваше чадо не съест. Пусть подышит вольным воздухом и почувствует себя человеком.

— Я уже человек, — буркнул я.

— Вижу, — усмехнулась умная Евдокия Ивановна. — Какой защитник растёт, а? Ну, мамки, теперь не пропадёте. Завтра оформим путёвку и в путь. Плавать умеешь?

— Научусь.

— Вот это другой разговор. Ну, счастливенько.

И, сгорбившись, пошла к двери. Почему-то она казалась мне очень старой. А ей не было тридцати. Она жила с безногой сестрой и выжившей из ума матерью. Работа была для неё единственным утешением.

Мы долго прощались с Бубой у поленницы.

— У тебя белое лицо,— сказал мой лучший друг. — Хочешь, обопрись на дрова.

— Ещё развалятся.

Мы помолчали. Было подозрительно тихо. Как в процедурной.

— Спорим,— спохватился Буба,— что лёгкие прозрачные, а по краям розовый пух.

— Спорим,— обрадовался я. — Ты что, никогда не видел рентгеновских снимков?

Не спорилось. Мы опять помолчали.

— Спорим, что ты умрёшь,— неуверенно сказал Буба.

— Почему?

— С тобой бы столько не возились.

— От воспаления лёгких не умирают.

— А вот... — Буба наморщил лоб, но ничего такого не вспомнил.

— Может, и умру, тебе же лучше. Возьмёшь у тётки мой пистолет.

— Очень надо,— у него заблестели глаза.

— Послушай,— решил я,— почему мы никогда не говорим друг другу правды? Вот ты, например, жадный и вредный.

— А ты трепло.

— Когда я тебе врал?

— А когда не врал? То про совёнка заливаешь, то про мельницу. Никогда не поймёшь, что у тебя на уме. Мне всё время кажется, что ты надо мной смеёшься.

— Я?!

— Тётя-мотя.

Кстати, он всем осточертел со своей тётей-мотей. Сейчас объясню. Наша соседка тётя Мотя, самая добрая во дворе, держала штук пять котов, трёх собак, целый выводок уток, дюжину кур и красавца петуха в огненно-сине-зелёных перьях. Один петя стоил целого зверинца.

Он налетал на нас, растопырив перья и свирепо клохтая. Мы, естественно, задавали стрелка. И Буба этим воспользовался. Незаметно подкравшись сзади, он набрасывался на очередную жертву с криком: «Щип-щип, тётин-мотин петух укусил!». В общем, радости полные штаны.

— Ещё одна тётя-мотя, и мы с тобою враги, — сказал я. — Малышня тебя ненавидит. Ты этого хотел?

— Ну ладно, я вредный, — вдруг согласился Буба, — но не жадный. Помнишь, я подарил тебе перочинный нож?

— Ага, со сломанным лезвием. Нашёл на помойке.

— Зато со штопором.

— Ты же его на яблоко обменял.

— Тоже сравнил! Яблоко съел и привет, а ножик не съешь, даже без лезвия.

— Буба, ну что ты придуливаешься?

— А ты чего врёшь?

— Да не вру я! Просто выдумываю, для интереса. Мы же не ходим без ничего, а надеваем всякие вещи: штаны там, рубашки, носки. Все знают, что под ними мы голые, для этого не надо раздеваться.

— Опять смеёшься?

— Но ведь говорят: голая правда. Зачем доказывать то, что есть?

— Тогда и я буду выдумывать.

— Валяй.

— Сам валяй.

— Ну?

— Меня тоже отправляют в санаторий.

— И что?

— Ничего. Отправляют и всё.

— Вот и хорошо, вместе поедем.

— Поедем. К чёрту на кулички.

Мы надолго замолчали.

— Нет, — замотал головой Буба, — лучше говорить правду. Хочешь, я подарю тебе увеличительное стекло? Трофейное.

— Хочу.

— Сейчас принесу. Не уходи.

Я ждал Бубу битый час. Сидел на траве и смотрел, как Бахирева мать в крепжоржетовом платье кормит кролей. Те хрумкали капусту и щурили красные, словно заплаканные глаза. Невдалеке важно расхаживал подлый пегух. Меня тошнило.

— Сыграем в жёстку? — крикнул из своего окна Бахирь, высовываясь по пояс, чтобы похвастаться новой матроской. Бескозырка на его длинной, как огурец, голове стояла торчком.

— Неохота.

— Кого ждёшь?

— Бубку.

— Ну и дурак!

Бахирь сдёрнул бескозырку, и на лбу осталась красная полоса.

— У тебя череп треснул.

Он тут же пропал из виду. И тут же включил сирену.

— Ах ты, гадёныш! — накинулась на меня Бахирева мать, слышавшая наш разговор. — Иду, Вовочка, иду! — и с размаху захлопнула клетку. — Да не ори ты, как ненормальный, кишки порвёшь!

Сомнений не оставалось. Буба меня надул.

Мы разговариваем с мамой. Завтра я еду в санаторий, надо многое обсудить. Это она так считает.

— В море сразу не лезь. Ешь всё, что дают. Не пей сырую воду. Деньги на фрукты зашью в голубую майку. От хулиганов держись подальше. Слушайся воспитателей.

И в том же духе. Я, конечно, киваю, зачем её злить?

Вступает тётя. Сейчас последует очередь дельных советов.

— Набери плоских камешков, мы их потом разрисуем. Что я говорил.

— С медузами не играй, среди них есть ядовитые. Возьми с собою альбом и засуши цветы, будет хорошая память.

— У меня и так хорошая память.

— Память-то хорошая, а вот язык...

На этом официальная часть кончается. Мы поочередно целуемся (что вы хотите, женское воспитание) и укладываемся спать.

Местечко называется Макопсе. В нашей палате девятнадцать мальчишек и девчонок от четырёх до шести лет. Но дружить со всеми невозможно, и я выбираю Котьку, соседа по койке. У него один недостаток — быстро засыпает, а мне перед сном обязательно надо поговорить. Котька страшно много ест, хоть и худущий, потому что постоянно думает о еде. Его сестра Ленка, из старшей группы, называет это «не в коня корм» и украдкой подкармливает Котьку своими котлетами и сырками.

Я медленно привыкаю к новым друзьям. Сначала мне нравится в них всё, потом ничего и только потом кое-что. За кое-что трудно полюбить человека, но можно. Скажем, вы любите мороженое, но вам противен розовый цвет. Станете вы есть розовое мороженое? Я, например, ем.

И вообще люди тянутся друг к другу, как ртутные шарики из разбитого градусника. Не прошло и дня, а все нашли себе подходящих друзей. Лишь маленькая Симка с цыплячьей шейкой всегда была в стороне.

Когда кому-нибудь плохо, у меня сразу портится настроение. Я показал ей книгу братьев Гримм. Она долго разглядывала обложку и шевелила губами.

— Ты любишь сказки? — спросил я.

— Не знаю, — ответила Симка.

— А написать книжку хочешь? Вот такую, с картинками?

— Не-е... — протянула она.

Потом рассказала, что родители у неё геологи, работают на Дальнем Востоке, ищут какие-то минералы (из них,

наверное, и добывают минеральную воду), а Симку спихнули на слепую прабабку. И книжек ей никто не читал. А туберкулёз у неё с тоски, как сказала прабабка.

Я взял у Симки адрес её геологов и написал им моё первое в жизни письмо. Выглядело оно так:

«Дарагии радители ваша доч силна бална а вам всиравно эта ничесно приижаити она бес вас умираит дасвиданя симкин друк».

Письмо мы отправили сами, не доверяя воспитателям, которые за нас писали наши письма, вроде бы под диктовку. Можно представить, что они там плели, потому что из дома приходили сплошные «ахи» по поводу нашего замечательного отдыха. Жилось нам, конечно, неплохо, но уж никак не замечательно.

А Симке день ото дня становилось хуже. С утра она ходила вялая, тайком поплёвывая в платочек, который прятала в рукаве. Кормили её насильно и заставляли часами валяться в пустой палате. К вечеру она слегка оживала и даже играла с нами, но не радовалась ни конфетам, ни фильмам. На море её не брали.

Ночью она не спала. Сидела в кровати, обняв колени, и тихо раскачивалась. Лунный свет окутывал Симку, и она казалась серебряной. Иногда она пела что-то очень печальное: «и колокольчик дарвалдая...» Так, дарвалдая, она просиживала до утра.

В тот день нас, как обычно, погнали на зарядку, но я спрятался под кроватью и ждал, пока все уйдут. Эта уловка мне удавалась не раз, и к завтраку я успевал доспать свою норму.

Досчитав до ста, я вылез из-под кровати. Симка лежала на животе, уткнувшись лицом в подушку. Её руки и ноги были сплошь покрыты голубыми пупырышками, и меня как током ударило: у Симки «гусиная кожа».

(Позже, узнав про это ходячее выражение, я страшно обиделся, словно его у меня украли).

— Симка, проснись! — заорал я, захлёбываясь от восторга. — Я про тебя такое придумал!

Она не двигалась. Я перевернул её на спину и увидел, что лицо, грудь, подушка — всё было залито кровью.

Такого быть не могло, но Симка умерла, я как-то сразу это сообразил. Ещё ночью она была, серебряная Симка, а теперь её нет и не будет уже никогда. И я впервые заметил родинку у неё на виске, рыжие и вдруг распрямившиеся кудряшки, полупрозрачные ушки за побелевшими щеками. И только глаза, чуть закатившиеся, синие симкины глазки, смотрели с прежней тоской.

За окном раздались голоса, Котька вопил:

— Симка, слышь, я съем твою порцию! Вставай, засоня! Я быстро протянул руку и закрыл ей глаза.

Они всё-таки приехали, её минеральные родители. На двенадцатый день. Я разглядывал их из беседки, прикрывшись газетой, которую выклянчил у медсестры для пилотки. Они были ничего, молодые и спортивные. Опустив головы, слушали воспитательницу, которая их отчитывала. Наконец та повернулась в мою сторону и громко сказала: «больше некому». Я догадался, что речь идёт о письме.

С опаскою, как нашкодившие дети, геологи подошли к беседке. Отец остановился на пороге, а мать уселась рядом со мной.

— Ты написал? — миролюбиво спросил отец.

Мать захохла и полезла ко мне обниматься. Я отодвинулся и кивнул. Отец картавил, но ему это шло. Он был курносый и вихрастый, с выгоревшими бровями. Что-то талдычил про свою профессию разведчика недр и без конца работал руками: вытирал пот, расстёгивал пуговицы на рубашке, хлопал себя по карманам и всё такое. Он был здорово похож на Симку. Мать жалобно всхлипывала и смотрела на меня с укором.

— Ну, скажи что-нибудь, — приставала она.

— Недр, выдр, кедр, — сказал я.

— Понятно, — сказал отец. — Уходим.

Мне захотелось закричать, затопать ногами, но я уперся и промолчал.

Догнал я их на вокзале. Это недалеко, если бежать напрямик через васильковое поле.

Мать сидела на скамейке, прижав к губам Симкину панамку, а отец стоял над нею с билетами. Плечи ему оттягивал большой рюкзак.

Я открыл рот, и меня понесло. Рассказал и про Симкину кровь, и гусиную кожу, про её песню и бессмертную тоску. Лучше бы я остался в беседке, несчастный дурак. Отец словно окаменел, а мать тряслась, как в лихорадке. Хорошо, что поезд быстро пришёл.

— Ну, бывай, — хрипло сказал отец и пожал мне руку.

— Напиши нам, ещё напиши, — заплакала мать, делая шаг ко мне.

Мы обнялись. И они на ходу вскочили в поезд.

А лето продолжалось. Я не то что бы забыл про Симку, а просто старался не вспоминать. Хотя бы днём. Ночью мысли сильнее меня. Вот опять захотелось поговорить, и я растолкал Котьку. Он вскинулся, словно его ошпарили кипятком.

— Коть, это я.

— Да ну тебя, лунатик! — разозлился он и нырнул под простыню.

— Послушай, Коть, я теперь ничего не боюсь.

— И Симки?

— Честное слово.

Он заскрипел зубами.

— Правда, Коть, я никогда не умру.

— Симка тоже так говорила.

— У неё была гусиная кожа.

И тут во мне что-то оборвалось. Я почувствовал, что покрываюсь пупырышками.

— А у меня нет гусиной кожи? Глянь скорей! — Котька задрал майку и показал свой впалый, прилипший к спине живот.

— Нет, не бойся.

— Ты настоящий друг, — горячо зашептал Котька. — Хочешь, я завтра отдам тебе компот? Я всё равно не наемся, мне без разницы.

— Лучше поговори со мной.

— Угу, — промычал Котька и тут же заснул.

Я лежал на животе, как Симка, и слизывал солёные слёзы. Я понял, что все мы однажды умрём.

А лето не кончалось. И были радости: дуб, который мы еле обхватывали вдвядтером; дикая груша с тёмно-коричневыми душистыми грушками; завтраки с богатырскими порциями салатов; кино, здесь же, в столовой, под стрёкот старенького проектора; бабочки в полосе света, летящего на экран; крупные сизые сливы за санаторской оградой и море, море...

Мы непрерывно что-то грызли, жевали, но не от голода, а от скуки. Больше нечем было заняться. Все заботы врачей и воспитателей сосредоточились на нашем здоровье, а мы развивались сами по себе, за что им всем огромное спасибо.

Неожиданно в санатории объявились гниды. Мы про них ничего не знали и чесались до остервенения. Поэтому нас обрили наголо, вымазали вонючей синькой, и мы стали похожи на марсиан. После обеда всех повели в баню и дочиста выскоблили. Головы сделались маленькими и скользкими, панамки на них болтались и, если бы не уши, сползли бы на плечи. Лысая башка мне сразу понравилась, она была лёгкая и нахальная. Погладишь вперёд — шёлковая, назад — дикобразная. Наподобие характера.

Так же внезапно у меня появилась привычка рифмовать. Я и раньше сочинял сложилки, не подозревая, что все слова парные, и можно соединить самые неподходящие вещи: шило — мыло, семья — свинья, пушка — подушка. Ох, и доводил я этим воспитателей!

Например, Даковна (она всё время дакала) говорит:

— Жуйте хорошо.

А я:

— И ещё, и ещё, и ещё!

— Сегодня холодно. На море не пойдём.

— Какое горе! Мы пропадём!

— Прекратите балаган!

— А не то достану наган.

В общем, вы понимаете. Вдобавок я придумал игру: из двух слов собирать одно, но со смыслом. Мы часто объедались и, страдая пузом, бежали в изолятор промываться. И возник «пузолятор». Или компот из сухофруктов — «сухомпот». Отвратительный ребёнок — «отвратёнок». Вскоре моя болезнь перекинулась на всю палату. Мы рифмовали всё подряд и здорово подружились. Котька сочинил «пожевеливайся», Райка — «хрюкотищу», Валька — «чумазилу».

Через двадцать лет у меня заведётся Машка и напридумает кучу потрясающих вещей. Санорин обзовёт «носорином», горчичники — «пожарниками», вертолёт — «ветролётом». Скажет, что оmlет это «ам и нет», а «в доме ветер» — страшное немецкое ругательство. Затормошит вопросами: луна приклеена или пришита, почему воюют одни армяне, то есть «красноарменцы». Объяснит, что дети такие же, как и взрослые, только им всё интересно. Не желая слезать с моей шеи, прикажет: «терпись».

Потом появится Катька и, сверкая своими синющими восторженными глазами, предложит: «давай шаловаться». Я не разрешу ей гулять во дворе в нарядном платье,

она тяжело вздохнёт и скажет: «ну ладно, давай дворняжкино». А на Первое мая споёт:

Перед — зад,  
перед — зад,  
все идут  
на парад!

Мои девчонки переймут у меня все фокусы и всерьёз займутся моим воспитанием.

До Макопсе я никогда не видел кузнечиков. Когда мне их показали, я решил, что они сделаны из травы, а прыгают потому, что их сносит ветром.

Этот день был необыкновенный. На завтрак не дали ма кашу (манную кашу) и не заставили пить кофемол (кофе с молоком). Воспитательница прочла мне письмо из дома. Мама ужасно скучала, тётя волновалась за моё здоровье — было очень приятно. Мама советовала мне каждое утро причёсываться (тут все заржали), а тётя — поменьше выду мывать и побольше есть. Тут я с нею полностью согласен, у человека варит что-то одно: или голова или желудок. У меня варила голова, и поэтому я носился как угорелый.

Когда все ушли на море, я остался потрещать с кузнечиками. Сразу за пузолятором начинался огромный луг, где цвели одуванчики, маки, колокольчики, ромашки, ковёр чики с золотистыми лапками и «симкины глазки» — ва сильки.

Я с разлёта прыгнул в гуляющее поле и покатился по цветам. Солнце брызгалось лучами, и облака, как сырые оладьи, пеклись в подсолнечном масле. Зажмурившись от счастья, я смотрел на гудящую мельницу и дышал её кру говоротом.

И вдруг мне на живот опустился кузнечик. Большого ловой глазастый, он смотрел на меня и шевелил усами.

— Это здорово, что вы живые, — сказал я ему.

Кузнечик исчез и вернулся. Наверное, так он разговаривал.

— Я Булька. А ты?

Исчез.

— Исчезник?

Расправил крылышки и улетел. Я помахал ему вслед и побежал к терновнику грызть кислые твёрдые шарики и плевать шершавыми косточками.

Лето закончилось на сыпучей платформе, с полотняным мешком в руке и выброшенным за окно вагона чёрным камнем, подаренным мне Симкой. Я не люблю памятных подарков, потому что боюсь их потерять. Симку я и так не забуду.

Поезд набрал скорость, и лето скрылось за поворотом.

С Бубой мы больше не спорили. Я ему не верил. Он хитрил и подлизывался, а я не поддавался. Хватало других забот. С Полиной Никитичной, например.

Она пришла в наш детсад недавно, но уже успела всем насолить. У меня с ней «сплошные проблемы», как у мамы со мной.

Полинична сравнительно молодая, но уже безнадёжная карга: костистая, плоская, в глухом клетчатом платье, с глазами-буравчиками и деревянным лицом, вечно недовольным. Не улыбается, а кривится, не смеётся, а каркает, как тётин Мотин петух.

Полинична меня не переваривает, потому что я несъедобный. Она и других ни во что не ставит, просто пишет диссертацию на дошкольную тему, как сказала наша повариха тётя Даша, и мы ей вместо живого материала. Вот она и кроит нас, как вздумается. Меня так и подмывает её спросить, при чём тут мы, если ей на нас наплевать, но всякий раз прикусываю язык. Меня и без того считают трудным.

С лёгкими она не церемонится. Разобидит человека, а потом достанет из квадратного кармана красное яблочко и цедит сквозь зубы: «будешь умницей, получишь вот это». А «это» говорило само за себя. До сих пор помню «говорящие» яблоки послевоенных лет. Мне они редко доставались. У меня было время запомнить их и возненавидеть.

Сначала я думал, что у Полиничны тяжёлая жизнь, и она обозлилась на всех, но тётя Даша сказала нянечке, что Полинична зажралась, что её отец — шишка на ровном месте, и они нас держат за дураков. Я перестал жалеть Полиничну, но раздражал её не назло, а нечаянно.

В еде я привереда. Меня мутит от холодных макарон с сахаром и от кофе с мыльными пенками, не говоря уже о кашах и киселях с комками. Мне проще совсем не есть.

Однажды Полинична застала меня за интересным занятием: я сливал кофемол в широкую щель между половицами. Она расสวิрепела, и меня заперли в кабинете заведующей, которая где-то заседала. И я засел на кушетке, застеленной оранжевой клеёнкой. Странно, заведующая вроде вышла из возраста, когда без клеёнки не обходятся.

Я прозаседал весь день, потому что потерялся ключ от кабинета. Сквозь оконную решётку на меня глазели клопы из младшей группы. Одни корчили рожи, другие меня изучали, третьи просовывали мне ягоды крыжовника, который рос возле забора.

Я поиграл с пресс-папье. Соорудил кораблик из листа бумаги с колонками цифр. Но запустить его было некуда, так как я перевернул вазу с цветами, когда выпускал канареек из клетки.

Было скучно, и я размечтался. Сводил Симку к мельнице и рассказал ей про геологов. Ей понравилось, что они всё поняли и больше её не бросят. Потом мы позвали Бубу и сделали два круга на мельничном крыле.

Дверь взломали топором, когда стало совсем темно, и в коридоре раздался гневный мамин голос. Полинична пыталась всучить мне красное яблоко, но я наотрез отказался.

Мы шли домой молча, я спал на ходу, прижимаясь щекой к маминому тёмно-синему платью в белый горошек, которое шуршало морем и галькой. Я снова вырвался на волю.

Говорят: у чёрта на куличках. Где они, никто не знает, кого я ни спрашивал. А мне обязательно надо туда, я люблю куличики. Их для меня печёт на пасху тётя, тайком от соседей, чтобы не донесли в партком. Я выстраиваю куличики в шеренгу и расписываю шапочки взбитым белком, а потом посыпаю разноцветной леденцовой крошкой. Мы и яички красим, и в доме становится веселее от их игрушечной красоты. Мне нравится пасха. Всё сияет, цветёт, и хоть кто-то воскреc.

Кое-как проглотив завтрак, я запираюсь в туалете, только что построенном во дворе детсада. Это даже не туалет, а просто дощатый домик с приступкой, в которой и дырку ещё не вырезали.

Я жадно вдыхаю запах леса, свободы и ни с чем не сравнимых куличек. Я слышу, что меня зовут, но не отвечаю. Опять заставят играть в викторину. Какой помидор? Красный! Какая слива? Синяя! Какой огурец? Зелёный! Какая мама? Хорошая!

Кто этого не знает? Одни идиоты.

Или загонят нас в игровую комнату, и мы начнём вырывать друг у друга игрушки: машины без колёс, лупоглазые куклы (глупоглазые, как скажет Машка) и ободранные кубики. Других развлечений у нас не бывает. Нет уж, лучше сидеть у чёрта на куличках.

После мёртвого часа я врубаюсь в общую суматоху. Вдруг Полинична замечает меня.

— А ну, подойди.

Подхожу.

— Где ты был?

— У чёрта на куличках.

— Все слышали? — радостно спрашивает она.

— Все! — дружно отвечают ребята.

Викторина сработала.

— Иди за мной.

Пришли к заведующей. Та опять заседает. Полинична сажает меня на клеёнку.

— Давай поговорим начистоту.

— Давайте.

— Я знаю, что ты меня ненавидишь.

— И вы меня.

Она удивлена. Неужели я ошибся?

— За что?

— Вы злая.

— А ты?

— Я разный.

— Тогда почему меня любят другие?

— Не любят. Они вас боятся.

— А ты не боишься?

— Нет.

— Ну, а чего ты боишься?

Разве она поймёт?

— Говори, говори, если ты такой смелый.

— Ну, смерти.

Полинична разочарована — она не может меня убить. И говорит с откровенной злобой:

— Ах, какие мы умные, ах, какие мы разные... выродок ты, вот кто! Ну, погоди, я покажу тебе чёрта на куличках.

— А что такое кулички? — с надеждой спрашиваю я.

— Всё! Хватит! — кричит она позеленев. — Пусть заведующая решает, кто из нас останется в этом вертепе!

Ещё одно словечко. Но к детскому саду подходит — все здесь вертятся как заводные.

Меня не выгнали. И Полинична не ушла. Со мной она больше не связывается, и я стараюсь не попадаться ей на глаза.

Спустя две недели мы отравились творогом. Тётя Даша отказалась его принимать, а Полинична заглянула в бидон и сказала, что сойдёт. Я всё слышал, потому что помогал нянечке вытирать тарелки. Нянечка совсем старенькая, но дети её бросили, а пенсию она не заработала, потому что растила своих пятерых негодяев. Я часто ей помогаю, без всяких просьб, а она мне рассказывает, какими хорошими были её детки, пока не выросли.

Короче, у всех началась рвота. У всех, кроме меня. Я затолкал горький творог в машину, которую ещё до полдника пристроил под моим столом.

Все лежали на кроватях и пускали слюни в горшки и тазы, выделенные заведующей «в индивидуальном порядке». Обычно их было штук десять на весь детсад, и к ним прорывались с боем.

Я тоже из солидарности валялся вместе со всеми и складывал из трещин на потолке смешные картинки. Полинична сверлила меня буравчиками. Наконец подошла и резко пригнула мне голову.

— Рви, — сказала с ненавистью, — рви, чудовище.

И треснула по затылку. Я не удержался на кровати и рухнул лицом в таз. Из носу пошла кровь, да так сильно, что я чуть не захлебнулся.

Полинична испугалась и, крикнув нянечку, начала отмывать меня и промокать.

— Я нечаянно, — стала оправдываться она, когда всё обошлось, и нянечка ушла, сказав ей пару ласковых слов. — Никому не скажешь? Дай честное слово.

Только бы не зареветь. Я дал.

— Больно? — допытывалась она.

— Не очень.

— И дома не говори, слышишь?

Я отвернулся к стенке. Я больше не мог. Но никто ничего не заметил.

Я не выдал её и не проболтался, но вскоре Полинична собрала свои бумажки, застегнула карманы на пуговицы и навсегда убралась из моей жизни. Аминь.

А в нашу группу пришла новая воспитательница, Нина Ивановна. Маленькая, пухленькая, с ямочками на щеках. Она говорила нараспев и по любому поводу смеялась. Тётя Даша сказала, что она хохлушка. А нянечка покачала головой и поправила: хохотушка. А я сказал: хохлатушка. И меня выставили из кухни. Но она была хлопотушка, это точней всего. По-моему, она просто боялась нас.

Сначала со всеми в отдельности побеседовала. Задавала неожиданные вопросы и вообще не была похожа на воспитательницу. И все в неё влюбились. Настала и моя очередь.

— Ты Булька, да? — спросила она, устраиваясь на детском стульчике.

Притянула меня к себе и покраснела.

— Да, — я уже улыбался.

— Что любишь: петь, танцевать, рисовать?

— Всего понемножку.

— А помножку? — у неё в глазах прыгали чёртики.

— Маму и тётю.

— Правильно. А папу?

— Он нас бросил.

Она ойкнула и прикрыла ладошкой рот.

— Прости, я не хотела тебя обидеть.

— На правду не обижаются.

— Согласна. Как считаешь, мы с тобой поладим, голубушка?

Вот ещё, голубушка, птица мира.

— Не знаю. Я трудный.

— Кто тебе сказал?

— Полина Никитична.

Она так расстроилась, что целую минуту молчала.

— Но можно попробовать, — промямлил я.

Очень не хотелось её огорчать.

— Ну да! Ты это здорово придумал! — обрадовалась она. —

А я-то хороша, раскудахталась, как курица на яйцах!

— Вы не курица, — испугался я, — вы... голубушка!

И кинулся вон из комнаты.

В Голубушку я влюбился сильнее всех. Крутился возле неё и первым бежал выполнять её просьбы. А если возникали недоразумения, она шутливо грозила мне пальчиком: «голубушка-а», и мы, как по команде, начинали смеяться.

Голубушка договорилась с заведующей, и мне отменили мёртвый час. Я всё равно не мог уснуть и другим не давал.

Когда я остался один в игровой комнате, то сперва растерялся. Вот красная пожарная машина с лесенкой на боку, полосатый волчок, целый ящик кубиков, из которых можно сложить картинку или построить дом. Куклы, лошадки, собаки — бери что хочешь.

Я не взял ничего. Влез с ногами на подоконник и уставился на дождь. Он хлестал косыми острыми струями, словно зачёркивал последние летние дни.

Меня обняла Голубушка.

— Что ж ты, молодец, не весел, что ж ты голову повесил? Я думала, тут раздолье, пыль столбом...

Я пожал плечами.

— Сейчас мы с тобой уберём этот раскардаш, — она кивнула на разбросанные игрушки, — потом расставим столы для полдника и ещё что-нибудь придумаем. Интересному человеку никогда не бывает скучно, — и сделала загадочное лицо.

Через много лет я встретил её в магазине. Она хлопотала за прилавком и припевала: «Вы что хотели? Минуточку!» «А вы? Конечно, пожалуйста!» «Миленькие, я не успеваю!», и все улыбались ей.

Она спросила и у меня: «Вы что хотели?» Я тихо сказал: «Голубушка». Нина Ивановна подняла глаза и всплеснула руками.

— А ну, повернись! Прямо не верится! Дай, я тебя потрогаю! Да это же настоящее чудо!

Когда она наойкалась, я спросил, почему она ушла из детсада.

— В какой-то момент поняла, что не умею воспитывать. Меня никто не слушался. Все любили, но никто не слушался. Жаль, я всегда тянулась к детям. Видно, мне что-то мешало.

Я перегнулся через прилавок и чмокнул её в горячую щёку.

— Крылья, — сказал я, — всем голубушкам мешают крылья. Поэтому в детских садах их подрезают.

Она погрозила мне пальчиком, «голубушка-а», и мы рассмеялись.

Плавая в привокзальном фонтане (моя идея), мы с Бубой сильно поранились осколками бутылок. Пришлось бежать в медпункт напротив. Нас обработали йодом и вкатили по уколу против столбняка. Хромая, мы кое-как доскакали до дому. И понеслось. Родители пилили нас целый вечер, а наутро заперли на ключ, каждого в своей квартире. И спокойно ушли на работу.

Мы с Бубой перестукивались через стенку, но потом подключился Бахирь, и нам это надоело.

За окном распевала агитка. «Мишка, мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня, самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня!» — звенел, не отчаиваясь, женский голос. Вот такой глупый медведь попался. С ним по-хорошему, а он дал дёру.

Я встал на цыпочки, просунул голову в форточку и с полчаса разглядывал поезда. И кто только выдумал эту работу? Сидели бы мамы дома вместо того, чтобы уставать и срывать свою злость на детях. Именно это и называется у них воспитанием.

Пора вспоминать. Когда не мечтается, я отправляюсь в обратную сторону.

Счёт годам я веду по сандалиям.

Например, Лето Белых Сандалий. Няня пичкает меня солёной капустой. Она жульничает, а я покрываюсь красной сыпью и худею не по дням, а по часам. Хорошо, что часы тянутся медленно. За окном вперевалку ходят паровозы, двигая локтями, цветут маргаритки, летают большие пчёлы. Самое яркое — белые сандалии с блестящими пряжками и коричневыми рантами.

Лето Синих Сандалий. Мне три года. У крыльца оставливается цистерна. Тётя лузгает семечки и ссыпает мне на ладонь золотистые тёплые зёрнышки.

Начинается дождь. Мы быстро снимаем с верёвки высушенное бельё и гамузом сбрасываем на диван. Мамы нет, дежурит в ночную смену.

...Мы с тётей как-то подсчитали, что за сорок лет работы она двенадцать лет не спала. Подсчитали, когда она, наконец, уснула, чтобы выспаться навсегда. А пока мама жива, и я скучаю по ней во все смены, ночные и дневные.

Цистерна угрохотала, а синие сандалии уплыли под кровать.

Лето Жёлтых Сандалий прикатило на велосипеде. Старые синяки не успевали слинять, как появлялись новые, лучше прежних. В шалаше из веток сидит Буба и пускает мыльные пузыри. Его выдрали за разбитую статуэтку, и поэтому он со мною не разговаривает. Я ни при чём, но такой у него характер.

А ещё этим летом умер Сталин, но было холодно. Меня закутали в мамин пуховый платок и на руках понесли

к памятнику. У входа в Сталинский сквер толпились люди, которых по частям пропускали две милиционерши. Худая что-то писала в блокноте, а толстая раздавала чёрно-красные повязки.

— И ребёнку дай, — сказала худая толстой.

Но мама крепко прижала меня к груди и пошла вперёд.

— Шляпу сыми, стерва! — крикнула толстая вслед.

Памятник в распахнутой шинели стоял на каменном кубике и глядел поверх голов каменными глазами. Тётя всхлипывала, а мама растирала мне руки. Было страшно, потому что все плакали в один голос.

...Спустя годы, когда памятник сбросят с пьедестала, а на земле будут валяться медали и партбилеты, я узнаю, что скульптора расстреляли, потому что он поставил вождя лицом к тюрьме. Тюрьма была километров за десять, и не думаю, что бедняга сделал это умышленно, почерк не тот. Но идолы требуют жертв.

Потом мы с Бубой помирились, и я подарил ему калейдоскоп. А он отдал мне зайца, которого у меня нечаянно спёр.

А когда закружились жёлтые листья, Лето Жёлтых Сандалий укатило на том же велосипеде.

Лето Никаких Сандалий проходит в Макопсе. В санаторий меня собирали наспех, и я бегаю в комнатных тапочках.

Лето Голубых Сандалий пахнет ночной фиалкой. Мы изучаем небо и поезда.

По выходным дням мама с тётей отправляются в кино или на концерт, а я сижу дома, то есть играю сам с собой. Надеваю мамины резиновые сапожки, беру в руки ружьё и иду на охоту. То медведя поймаю, то зайца — других зверей у меня нет. А то налью в таз воды и самодельной удочкой ловлю рыбок. Иногда попадается золотая, но ещё ни одно желание не исполнилось. Или устраиваю партийную чистку. Собираю разных товарищей, и они меня судят.

— Вот ты, — говорит Дикарь из племени Съелбыменя-ты, — почему злишься, когда родители просят тебя помочь? — и тыкает меня стрелой в живот.

Мне больно, но я мужественно отвечаю:

— Потому что им плевать на меня. Я лодку долблю, а они: «Сбегай за хлебом», я изобретаю стекло, а они: «Не играй с огнём», я думаю, а они: «Принеси воды».

— Он и хлеб исподтишка выбрасывает! — встречает сватья баба Бабариха.

— И за меня не боится! — пищит Храбрый Ли.

Лилипуты галдят и раздают друг другу тумаки.

— А по-моему, он ничего, — вступается за меня Вовсе Дурак из «Конька-Горбунка».

Дикарь стучит стрелой по графину и приказывает гнать меня из рядов. Тут на выручку прилетает Сивка-Бурка или вваливается Гулливер, и товарищи остаются с носом. Концы у меня всегда счастливые, я же себе не враг.

В углу комнаты стоит печь. Не такая, как у Емели, но с дымоходом до потолка, с чугунными конфорками, духовкой и поддувалом. Мы её топим дровами и углем, а она нас греет и кормит. Мама белит её два раза в год, и вообще у нас дома всё белое и крахмальное, как в больнице. Мне хочется сделать что-нибудь хорошее для родителей, которым я мало помогаю, и я разрисовываю печь большими красными цветами, чтобы радовали общий глаз.

Мама с тётёй приходят из кино весёлые и приносят мне в награду пирожное и бутылку крем-соды. И смотрят на печку.

— Совсем с ума сошёл! — кричит тётя.

— На днях побелила, — обречённо вздыхает мама.

И начинается новая чистка, только с плохим концом. Теперь вы понимаете, почему я люблю выдумывать.

— Но ведь красиво, — буркаю я.

— О да! Такого никто не видал! Это точно, всех удивим! — изводится тётя.

— Но ведь красиво.

— Ни звука!

Со мною разговор короткий. Утром цветы забелят и станет, как было. И даже хуже.

После нашего неудачного фейерверка в честь Дня железнодорожника мы с Бубой договариваемся бежать в Америку. Слушаем пластинки Поля Робсона и учимся говорить руками. Заодно тренируем мышцы, плавая в корыте с нагретой водой, потому что Америка далеко, аж за Кубанью. Но тётя подслушивает нас, и Бубу увозят к бабке в Пермь, а меня держат под замком. Лето Голубых Сандалий выброшено на ветер.

...Есть что вспомнить.

За окном быстро темнеет. Приходят с работы родители. Кормёжка, долбёжка, зубрёжка. Букварь я знаю наизусть и шпарю без остановки. Тётя читает «Крушение» Рабиндраната Тагора (мы дружим с Индией). Мама готовит обед на завтра и присматривает за мной. Потом берёт своё «Преступление и наказание» и тоже забывает про меня. Ну и, пожалуйста, я сам напишу роман. Про карлика, который мечтал стать великаном, пока не встретил великана, который ничего не хотел. Великан поплёвывал в потолок, а подвиги за него совершал карлик. Карликом все восхищались, а великан от зависти потерял покой и заодно — размер. Посмотрел на него карлик, да и раздумал быть великаном. С тех пор на земле живут одни карлики. Такая дурная история.

Дописав, я потребовал тишины и залпом прочёл моё «Крушение и наказание». Родители похлопали мне, как артисту. А тётя сказала, что, если из меня ничего путного не выйдет, то писатель получится обязательно. Я не понял, обидеться мне или обрадоваться, и пошёл спать.

Лето Красных Сандалий началось в сказочном городе Адлере. Обыкновенный Адлер остался далеко позади,

когда разбушевавшееся море хлынуло под колёса нашего поезда, и весь детский сад повис на спущенных окнах вагона. Воспитательницы кричали, дёргали рамы; стёкла со скрипом ползли вверх, мы обмирали, но поезд подбрасывало, и они снова падали, а в открытые окна градом сыпались золотые брызги.

Вдруг в море возник ослепительный столб. Он качался, гудел и, как живой, двигался к берегу. Вспыхнув электрическим пламенем, он надломился и рухнул на песок, обвившись вокруг испуганной женщины с полотенцем в руках. Забился в судороге, взбурлил и умчался в море, рассыпаясь на тысячи цветных осколков. Женщины как не бывало.

Ах, какая это была красота! Жаль, что поезд не остановился, и я не увидел, как выплыла женщина. Воспитательница Варвара Тимофеевна сказала, что это был смерч, очень редкое погодное явление. Что за лето нас ожидало!

Я сразу обзавёлся множеством друзей. Первым другом стала лодка. Смолёная, крутобокая, с перекладинами, отполированными ветром, морем и просоленными штанами, с рваной сетью на дне и жестяной банкой-черпалкой, настоящая рыбацкая лодка, брошенная на песчаной отмели.

За пляжем вставали стеной непроходимые заросли ежевики (здесь её называли ажиной). Я даже сказку придумал про недотрогу Ажину, которую злая ведьма превратила в колючку, но Варвара Тимофеевна сказала, что это мои очередные глупости. Голубушка с нами не поехала, у неё в семье кто-то заболел, а нянечку не взяли по старости, и сказка никому не пригодилась. Ажину я не обдирал, как другие, и мы с нею поладили.

Третьим другом я выбрал собаку Аглаю, охранявшую нашу дачу. Она здорово плавала, быстро бегала и всё понимала. Лучше бы она работала воспитательницей, а таких, как Полинична, сажали на цепь. Я нашёптывал мои тайны в дрожащее Аглаино ухо с розовыми буторками и белёсым пушком, а она фыркала от удовольствия и лизала мне руки.

Самым загадочным местом в Адлере было русло высохшей реки. Зацементированное на территории дачи, оно поднималось в горы, прорастая сорняками и бледными ромашками. В дождь русло наполнялось водой и, обмелев, долго хранило прохладу. В неглубоких впадинах стояли чистые озёрца, в которых сновали вёрткие головастики.

Я у всех спрашивал, куда уходит река и зачем во время дождя она возвращается, но ни от кого не добился толкового ответа. А потом стало не до реки, потому что пошли неважные дела.

У Аглаи завелись щенки. И вот как это обнаружилось.

В солнечные дни нас кормили во дворе. Под деревянными грибочками расставляли столики, и противная процедура превращалась в праздник. Кормёжки на песке я обожал, сами понимаете, почему. Я выкапывал ногой ямку и сбрасывал в могилку клейкие макароны, манку и прочую дрянь.

Как-то раз за обедом у жирного Кали схватило живот, и он на всех парах помчался в кусты. Не успели мы обхотаться, как в кустах раздался звериный рёв, и на площадку выскочил Каля, на ходу натягивая штаны и вопя во всё горло:

— Волк! Волк!

Стало ясно, кто ревел по-звериному. А из кустов вышла Аглая, держа в зубах чёрный комочек. Мы повскакали с мест и, перепрыгивая через Калю, кинулись к ней. Опустив щенка на траву, Аглая угрожающе зарычала. Все попятнулись, а я подошёл к ней и погладил её по голове. Она ещё порычала и успокоилась. Я раздвинул ветки. На измятой траве, уткнувшись друг в друга, лежали два детёныша, рыжий и чёрно-белый. Их глаза были подёрнуты молочной плёнкой, а шерстка влажно поблёскивала на солнце. Они были такие крохотные и беспомощные, что я за них испугался. Тут Варвара Тимофеевна вышла из себя, и я вернулся на место.

Во время мёртвого часа, когда мы уже лежали в кроватях, Варвара Тимофеевна объявила, что Аглая взбежала. Только все заснули, я тихонько вылез в окно и побежал к тётке Даше. Она рассказала, что Аглая укусила сторожа за ногу, а тот, удирая, упал и расшиб себе затылок.

— Так ему, поганцу, и надо, — сердито прибавила она, — весь день на кухне отирается. Жрёт и шпионит, шпионит и жрёт. Дать вареничка?

Я сделал вид, что ухожу, а сам спрятался за большим грушевым деревом. Аглаю загнали в пустую курьячью клетку и заперли на замок. Сторож приволок щенков. Уборщица держала ведро с водой, а сторож их топил. Глупыши даже не сопротивлялись. Я еле добрался до палаты и уснул как мёртвый.

Остаток дня мы проторчали на веранде под наблюдением врача. Едва стемнело, я прокрался к Аглае и бросил ей горбушку хлеба. У неё текла с языка серая пена и дёргалась голова. Вдруг она завывала, жутко, протяжно, поволчьи, и начала биться головой о клетку.

Я долго не спал. Конечно, нас обхитрили. Аглая цапнула сторожа, чтобы не лез, а когда утопили щенков, озверела от горя. Если бы сторож не грохнулся, ничего бы и не было. Он отомстил собаке, жалкий трус.

Среди ночи сторож загремел замком и, подозревая Аглаю, стукнул её лопатой по морде, запихал в мешок и, держа его на весу, захромал к лесу. На плече у него болталась винтовка. Я услышал выстрел. Всё было кончено.

В тоске и бессильной ярости я катался по кровати. Ну почему нет никакой справедливости? Злые всегда распоряжаются, мучают, бросают, а добрые молчат, молчат, молчат! Да какие они добрые после этого?

Ненависть душила меня и во сне. Мельница остановилась, и воздух стал тягучим, как смола. Я разыскал в траве ружьё и выстрелил в сторожа, но, кажется, не попал.

Новое известие было не веселей: нам будут делать прививки против бешенства. Всем по двадцать пять уколов в живот, а мне сорок, «за тесный контакт», как сказала врачиха. Кон такт, кон не такт.

Началась паника, но Варвара Тимофеевна оказалась на высоте. Вот что она придумала. В докторском кабинете, рядом со столом, на котором нам делали уколы, поставили ведро с фруктами и конфетами. Уговор простой: не будешь дрыгаться и скулить, бери, что хочешь, но одну штучку. Разумеется, все бежали на укол, как на концерт, и целыми днями ломали голову, что взять в следующий раз. Всё это попахивало яблочками из квадратного кармана, но теперь нас обманывали ради нас. Даже мне, разгадавшему хитрость, было интересно заглядывать в ведро, хотя я брал только персики. Мама их не покупала, да я и не просил, они стоили очень дорого.

Но нашлись и такие, что боялись уколов больше бешенства. За них кололся Каля. Врачиха была близорукой и не сразу его застучала. От обжорства у Кали началось расстройство желудка, и его заперли в пузоляторе. Но этот ловкач не растерялся и там. Он таскал из шкафов бинты, вату, стеклянные палочки и сбрасывал их через форточку в обмен на любую еду. При этом он сволочился и торговался.

И всё-таки лето было не совсем плохое. Мы ходили в походы, пекли в золе картошку, гонялись за головастиками и купались в море.

Лодку кто-то перевернул, и я, сделав подкоп в песке, пробирался в её смоляное нутро и подолгу там сидел, воображая себя то пиратом, то мельником, ворочающим жернова. Сквозь щели пробивались узкие солнечные лучи, в них роились пылинки, и я впервые увидел воздух. Оказывается, он только на свету пустой и прозрачный.

Но свою тайну хранить трудно, и я позвал ребят. Когда нас набилось в лодку больше, чем могло поместиться,

кто-то жалобно запищал, и Варвара Тимофеевна заподозрила неладное. Нас пропесочили и к лодке уже не подпустили. Так я потерял второго друга.

С Ажиной мне тоже не повезло. Недотроги — ужасные самолюбывы, они не думают о других. Я опять остался один.

Сегодня мне сделали последний укол. Все пятнадцать дней, исключительно для меня, Варвара Тимофеевна приносила «геройское» ведро. Я брал два персика и съедал их в кабинете, чтобы не дразнить ребят. Варваре Тимофеевне это понравилось, и она простила мне лодку. Кончился и карантин. До отъезда оставалось три дня.

С утра полил дождь. Тёплый, реденький, домашний. Гулять не пустили, и мы слонялись по веранде, приставая друг к другу. К обеду тучи рассеялись, и на песке соорудили столовку.

На этот раз я не выкрутился. Видно, у Варвары Тимофеевны лопнуло терпение, и она встала надо мною, как смерч. Я ковырял, ковырял макароны, кое-как проглотил одного червяка, а она всё стояла. Я понял, что сейчас умру.

И вдруг! Прямо с неба! В брызгах дождя и солнца! Спустилась! Она! Моя! Единственная!

— Мама! — заорал я не своим голосом, опрокидывая стул, макароны и всё, что мешало мне жить.

И уткнулся лицом в её вечные горошки и сцепил руки за её спиной, и дышал ею и не мог надышаться. Мама чмокала меня и ощупывала, словно проверяла на плотность, размер и вкус, а я цеплялся за неё и смеялся с дурацким бульканьем, как всегда у меня выходило.

Мама поговорила с Варварой Тимофеевной, и нам решили отколоться от коллектива. Я сразу потащил маму купаться. Я плавал, нырял и выделывал всякие коленца, чтобы покорить её окончательно. Мама восхищалась, но каждый раз вскрикивала, когда я уходил под воду.

Она сидела на песке, не раздеваясь, скинув босоножки и поджав ноги, как девочка. Сколько я ни уговаривал её выкупаться без купальника (его у мамы никогда не было, как и нормального отдыха), она так и не согласилась.

В конце концов она выманила меня на берег и растёрла нашим китайским полотенцем. Я нарвал для неё ежевики и рассказал про Ажину. Мама слушала с удивлением, словно не узнавая меня. Потом я повёл её вверх по руслу и показал чёрных головастиков. Она поморщилась, но поиграть разрешила.

— А теперь, — сказала, когда я вдоволь набесился, — давай поговорим.

Я был готов на всё, лишь бы она не уезжала.

— Через две недели ты пойдёшь в школу. Мы с тётёй решили сделать тебе подарок. Завтра едем домой, а оттуда все вместе — в Москву.

Я задохнулся.

— Купим тебе всё необходимое, — продолжала мама, — покажем столицу, словом, увидим мир.

Я издал победный вопль.

Москва нас ошеломила величиной, скоростями, шумом, звоном и давкой. Она напоминала огромную ярмарку, где можно было что угодно найти и потерять.

Мы побывали на ВДНХ и подивились на тыкву размером с Калю; весь день бродили по Третьяковке, разглядывая картины, знакомые нам по вкладкам из «Огонька»; облазили снизу доверху и сверху донизу Василия Блаженного; исходили вдоль и поперёк Кремль и сфотографировались у Царь-колокола и Царь-пушки.

В Кремле мы попали только в Архангельский собор. Успенский был на ремонте, Благовещенский оцепила охрана — снимали кино, а билеты в Оружейную палату надо было брать за десять дней вперёд.

В соборе, тёмном и гулком, мигали свечи, со стен смотрели на нас строгие и печальные лица.

— Это святые, — шепнула мама.

Я никогда не видел святых. Иногда друзья говорили тётё: «ну, ты прямо святая» вместо того, чтобы сказать: «просто-филя». Тётя свято верила в добро и боролась за справедливость, не жалея сил. Кого-то устраивала на работу, выбивала саженцы в Зеленстрое, организовывала лекции на медицинские темы, и весь двор рассаживался на детской площадке и, открыв рот, слушал про колиты, гастриты и всякую гадость. У нас была не квартира, а дом советов — все приходили просить и жаловаться. Тётя никому не отказывала и строчила заявления, оббивала пороги собесов, военкоматов, орсов, жэков и даже не выговорить чего. Но редко добивалась правды.

Святые не были похожи на тётю. У них были отсутствующие глаза, как у мамы после работы.

— А они за красных или за белых?

— За всех, — рассердилась мама и вытолкала меня на улицу.

Вечером я решился задать тётё открытый вопрос. Так на их партсобраниях называлось то, от чего все увиливали. Тётя часто брала меня на заседания, если мама дежурила в ночную смену, и я вдоволь наслушался прений, регламентов и резолюций.

— Тётъ, а для чего строят церкви? — начинаю издалека.

— Отойди от слоников, — по привычке одёргивает она.

В комнате Ирины Петровны, бывшей заведующей нашего детского сада, у которой мы остановились, множество безделушек, в том числе и шесть фарфоровых слоников. Седьмого разбил не я.

— Ну, тётъ...

— Вот прицепился.

— Для красоты?

— Для людей! Потому и стоят, всех царей пережили.

— А цари не люди?

Тётя молчит. Защищать царей ей не позволяет партийная совесть, а соврать — её собственная.

— А знаешь, я видела живого царя. В августе четырнадцатого он приезжал в Карс на открытие железной дороги. Весь город встречал его, вокзал украсили флагами, играл духовой оркестр. Я думала, царь появится в золотой короне, пурпурной мантии, важный такой. У нас в гимназии, прямо у входа, висел его парадный портрет, и каждое утро перед уроками мы пели хором: «Боже царя храни». А из поезда вышел обыкновенный военнослужащий: китель, фуражка, солдатские сапоги. Папа мне говорит: «Ну, куда ты смотришь, вот он, честь отдаёт!». Царю докладывал комендант Карского гарнизона. Затем подошёл мэр города и другие чины. Царь ласково поздоровался с ними, а потом снял фуражку, повернулся к людям и склонил голову, почтительно, но по-царски. Только тут до меня дошло, что он и есть «Мы, Николай Второй, император Всея Руси». Совсем рядом стоял, в двух шагах.

И я увидел десятилетнюю девочку в матроске, как на одной из тётиных фотографий. Держит в руках букет маргариток, или что там росло у них Карсе, и вместе со всеми поёт своё «Боже».

— Значит, Бог есть?

— А бог его знает... — и вдруг, нахмурившись: — Ты это брось! Когда в двадцатом году Карс отдали туркам, мать убили у нас на глазах, мы чудом добрались до Александрополя и в церковь, к попу, а он за мамины золотые колечки отсыпал нам полстакана пшеницы... мы жарили её на костре и ели по зёрнышку, не представляешь, как было вкусно... тогда я возненавидела всех попов!

— И Бога?

Тётя мучается.

— Нет, он бы такого не допустил...

Покачала головой, вытерла слёзы и потащила меня на «прогулку по ночной Москве». Не зря мама называет её неисправимым оптимистом.

В Москве я впервые почувствовал себя богачом. Мы без конца что-то покупали (значки, открытки, мороженое, пирожки с сосисками) и пьянели от собственного транжирства. Из зоопарка меня дважды уводили силком. Целый день ушёл на ГУМ, похожий сразу на улей и оранжерею. Мне купили школьную форму и пальто на вырост, толстое и неповоротливое, как диван, и внеочередные красные сандалии, а к ним — белые гольфы. Самым потрясающим был портфель, с которым я возился всё свободное время: гладил чёрные бока, щёлкал блестящим замочком, то засовывал, то снова вынимал тетради, пенал, карандаши, переводные картинки.

В ГУМе я, конечно, потерялся и нашёлся сам, «в центре ГУМа, у фонтана», как подсказала догадливая репродукторша. Меня даже не отругали.

Поход в Мавзолей был последним в нашей программе. Меня к нему готовили несколько дней. Тётя рассказывала про Ленина и Сталина, а мама учила тихо говорить и стоять на месте.

С Лениным и Сталиным было, как с Китаем. О них весь день говорили по радио, писали в газетах, торжественно отмечали их дни рождений и другие скорбные даты. Полинична вместо сказок читала нам приключения из жизни замечательных вождей. В игровой комнате на деревянной тумбе стояла гипсовая голова Сталина, подходить к ней ближе, чем на метр, не разрешалось.

Я запомнил главное. Ленин ничего не ел и всё отдавал народу, а Сталин ничего не носил и курил трубку. В детстве у Ленина были валенки, в которых «он тоже бегал» с кудрявой головой, а Сталин вообще не был маленьким. Ленин не выговаривал букву «р», а Сталин нарочно рёкал и рыкал. У Ленина не было детей, и поэтому он их очень любил. А у Сталина были усы, в которых он прятал улыбку.

За всё это надо было их помнить и благодарить. Получалось, что без вождей жить нельзя, даже когда их нет.

Мы отправились в Мавзолей в шесть утра. Лил дождь, и на меня напялили новое пальто, в котором я чуть не сварился. Мы медленно двигались в длинной очереди, переминаясь с ноги на ногу. В полдень мама повела меня подкрепиться в ГУМ, а тётя осталась в строю. У неё ныла поясница, но она держалась молодцом. Пока я глотал сосиски, мама раздобыла большой кулёк конфет «Цитрон» в золотисто-зелёных слюдяных фантиках и кулёчек поменьше с «Раковыми шейками». Названия были дикие, но конфеты ничего.

Наконец наша очередь подошла, и мы очутились в низкой полутёмной комнате. Я узнал Ленина слева, а Сталина справа. Они были как нарисованные. Но мне не дали их разглядеть, сзади напирали, и нас волною вынесло из мавзолея.

Мне было никак, а мама с тётей смотрели на меня с ожиданием. Я спросил, а почему вождей караулят, разве они могут сбежать. Мама с тётей расхохотались, и мы пошли пить газировку.

Из Москвы уезжали ночью, усталые, но страшно довольные. Тётя сразу вытянулась на верхней полке, а мы с мамой стояли у окна и прощались с орлиными башнями, узорчатыми мостами и огнями, бегущими вслед.

Буба очень изменился за лето: вытянулся и похудел. Его круглое лицо осунулось, голубые глаза потемнели. Видно, он здорово наскучался у бабки в Перми. Ему тоже купили портфель, только жёлто-коричневый (он его называет какашным), и всякие принадлежности для письма и рисования. Мы перебираем наши сокровища и строим дерзкие планы.

Однажды Буба говорит:

— Слышь, Бахирю компас отвалили.

— Нам не отвалят.

Буба свирепо защёлкивает портфель.

— Можно заработать.

— Как?

— Воду продавать. Кондукторам. Или мешочникам на базаре.

Мы наливаем полные бидоны воды, отходим подальше от дома и торчим на солнцепёке, пропуская пассажирские поезда. Останавливается товарняк.

— Купите водички! — кричит Буба запарившемуся кондуктору в расстёгнутом кителе. — Отдам за копейку!

Лысый дядька чертыхается и долго шарит в карманах.

— Держите, архаровцы! — и залпом выпивает поллитровую бубкину кружку.

— Добавки не надо? — наглеет Буба.

— Ну, если бесплатно, — хитрит кондуктор.

Я киваю. Чёрт с ней, с копейкой, не разорюсь. Буба молча злится.

Поезд трогается, кондуктор кидает кружку, на дне которой поблёскивает золотой пятак.

— Ловко провернули, — успокаивается Буба, а мне противно.

Три состава проходят порожняком. Кондуктора обызывают нас дармоедами и прохиндеями.

— Сами ехиндеи, — огрызается Буба.

С транзитных солдатиков денег не берём, поим за так, и они разрешают нам потрогать винтовки. День тянется, как резина.

К вечеру подсчитываем выручку. У Бубы девять копеек, у меня семь. Не густо, и трещит голова.

С утра тащимся на базар и, завывая: «вода, вода, холодная вода», обходим длинные ряды телег с обалдевшими от жары колхозниками. Эти берут охотно и выдувают по нескольку кружек зараз.

За неделю набираем необходимую сумму и заявляемся в магазин. Компас выставлен на видном месте, мы вываливаем копейки на прилавок. Продавщица, выкатив глаза, начинает считать.

— Вы что, под церковью стояли? — ворчит она, складывая монетки в столбики.

— Прямо, — небрежно бросает Буба, — сами заработали.

— Каким образом?

— Не образом, а бидоном. Воду продавали, — и, солидно откашлявшись, добавляет: — Слава богу, неверующие.

— Вот крохоборы! — взрывается продавщица. — Ничего вам не дам! Берите свои медяки и брысь отсюда!

Буба возмущается, а я сгребаю звякающую кучу в носовой платок. Оплёванные, идём в другой магазин. Компасов нет. В третьем — то же самое.

— Давай отдадим нянечке, — говорю я Бубе и объясняю, какая она бедная и добрая.

— Ага, — легко соглашается он, — не солить ведь.

Мы бежим в детский сад. Там ремонт, но нянечка, как всегда, на подхвате. Она кормит рабочих манной кашей, те матерятся, но съедают по три тарелки. Мы отзываем нянечку в сторону и вручаем ей нашу медь. Она растерянно спрашивает:

— Уж не украли?

— Скопили, скопили, весь год собирали, — испуганно бубнит Буба и невинно хлопает глазами. У него это классно получается.

Я толкаю его, и мы удираем.

Ещё два дня шатаемся по базару и раздаём воду задарма. Нам по привычке суют деньги, но мы гордо отказываемся.

На третий день родители нас выслеживают и загоняют домой. На этот раз мы не оправдываемся, и они не знают, что с нами делать.

Пройдут годы. Евдокия Ивановна не вылечит всех ветрянок, свинок и скарлатин. Она оставит работу ради нового утешения — гулять по городу в платье, вывернутом наизнанку, и уверять прохожих, что всё будет хорошо.

Её отправят в Краснодар, и она состарится в клинике для душевнобольных.

За беспомощной нянечкой, уже не встающей с постели, начнёт ухаживать соседка по коридору. На кладбище мы повезём её втроём: Буба, соседка и я. Нянечкины дети не придут.

Буба станет мастером спорта по прыжкам в воду и прославит наш забубённый город на всю страну.

Бахири переберутся в Ростов и пропадут из виду.

Диспетчер вконец сопьётся, а его дочь Галка нарожает кучу ребятишек и превратится в толстую тётку.

К Бугрихе вернётся муж, и она сразу помолодеет лет на десять, но жаловаться не бросит.

Тётя Мотя продаст подлого петуха и заведёт ещё одну собаку.

Детскую площадку заасфальтируют, а к высохшим деревьям привяжут верёвки и развешат выстиранное бельё.

Вскоре наши дома снесут, и все разъедутся.

Мама не пожалеет сил и, вырастив меня, со спокойной душой уйдёт из жизни, а тётя с удвоенным рвением примется за моих девчонок. Она посидит добела и почти ослепнет, но дом будет ходить ходуном от её кипучей энергии и неиссякаемого оптимизма.

Из меня ничего путного не выйдет. Сочинять я не разучусь.

А пока последний день перед школой. В комнату вносят корыто, вёдра с горячей и холодной водой, на табуретках раскладывают щётки, гребни, мочалки, ножницы и живодёрские вафельные полотенца. Мне не дают вздохнуть — мылят, трут, выкручивают уши, подрезают ногти. Мама с тётей волнуются больше меня. Если бы не портфель, я бы и вовсе не волновался. Подумаешь, школа! Опять начнётся: «не вертись», «прекрати болтать», «вон из класса» и всё такое.

Надраив до скрипа и блеска, меня усаживают за стол. Тётя, скрестив руки на груди, говорит с умилением:

— Прямо ангел...

— Ангел? — переспрашивает мама. — Как же! С рожками и копытцами.

Я перечитываю букварь, и детство кончается.

Утром первого сентября мы поднимаемся по звонку будильника. На меня надевают школьную форму и белый фартук с оборками.

Теперь придётся признаться вам — на самом деле я девчонка, как и Буба. Но мы вели себя, как мальчишки: не ябедничали, не кривлялись, презирали ленты и рюшки, ойканья и хихиканья. Мы мечтали о настоящей, мужской, нерушимой дружбе и кое-чего добились. Буба перестал вредничать, а я — трепаться. Не знаю, как дальше у нас пойдёт.

Плечом к плечу, с большими букетами разноцветных махровых астр мы с Бубой топаем в школу. За нами плотной стенкой вышагивают родители, нагруженные портфелями, свёртками и чернилками-непроливайками в специально сшитых мешочках.

— Эй, воображалы! — кричит из-за угла Бахирь, этот сопливый, везде успевающий второгодник.

Мы с Бубой переглядываемся, но продолжаем идти.

— Фифочки из рюмочки, пирожное эклер! — надрывается Бахирь.

Это конец!

Мы срываемся, как с цепи, и, настигнув Бахирия, зажимаем его и отхлёстываем букетами.

Когда нас растаскивают, понимаем что натворили. У Бубы лопнула по шву форма, отлетел бант, у меня оторваны воротничок и манжета. Букеты стали похожи на веники, и мы их выбрасываем.

Бубу быстренько переодевают, но не перечёсывают, а просто цепляют бант. Мама наспех, прямо на мне,

пришивает воротничок, но он получается скособоченным, и она в сердцах отшвыривает манжету. Нас ведут, крепко держа за руки и ругая на чём свет стоит.

После торжественного приветствия во дворе школы наш первый «А» фотографируют на память.

... С улыбкой смотрю на эту пожелтевшую фотографию. Сияющие мальчишки и девчонки в обнимку с букетами. Учительница в первом ряду, тоже как будто довольна. И только мы с Бубой стоим без цветов, сердитые и несчастные. Я в кривом воротничке прячу за спину левую руку без манжеты, а Буба оттягивает вниз куцее крепдешиновое платье. Бант болтается над её плечом, как оторванное ухо.

Можете сами удостовериться. Найдите минутку и взгляните ко мне. Конечно, если у вас ещё не пропала охота слушать мою болтовню. Заодно я покажу вам дорогу к мельнице.

1986 г.

# АНГЕЛ ЛЕТЕЛ

Дождь лил с упорством идиота, который всегда доказывает обратное. Одного такого я терпел десять лет, пока не хлопнул дверью. Он был большим начальником. Преуспевает и теперь. Отчасти потому, что никто не хочет с ним связываться. И потом у нас принято поощрять идиотов. Они научились этим пользоваться. Мой, например, специализируется на крылатых фразах. Беда в том, что он, выходец из Закавказья, забыл свой родной язык, а русский так и не выучил, несмотря на то, что им разговаривал Ленин и другие классики, от которых у него «ум на разум находится». Когда его поправляют, он морщит мясистый лоб, выпячивает губы и важно изрекает: «все вы одним мылом мазаны». Или: «если память меня не ошибает». Или ещё что-нибудь элементарное до неузнаваемости. Я насчитал более пятисот абракадабр и развлекаю ими друзей.

Стёкла машины заливало сплошным потоком воды, и дорога, выхваченная фарами, так и плясала перед глазами.

В кино считается романтичным путешествовать в дрянную погоду, и самые жгучие мелодрамы завязываются на фоне проливного дождя, ревуших моторов и эротоманов нордического типа. Действительность куда как скучна.

Я гнал машину в город, чтобы удостовериться в измене жены. Собственно, от неё я и удрал на дачу, окончательно запутавшись в своих подозрениях и её оправданиях. Месяц заставлял себя работать, но кисти валились из рук.

Ночной звонок прозвучал сигналом к действию. Незнакомая доброжелательница сообщила, что в данный момент некто наносит визит интересующей меня даме.

И вот я мчался сквозь фонтанирующую темноту, мысленно прокручивая плёнку наших семейных дрызг.

Человек на дороге возник внезапно, словно материализовался из дождя. Я чудом успел затормозить. Существо, вымокшее до нитки, рвануло дверцу и, стуча зубами, спросило:

— Подвезёшь?

Тут же рядом шлёпнулся мокрый рюкзак, а следом плюхнулось это самое в драных джинсах и вылинявшей ковбойке. Оно обхватило руками трясущиеся колени и уткнулось в него лицом. Вздохнув, я стянул с себя пуловер и набросил его на плечи незваного попутчика.

— Вам куда?

— В город, — пролязгал он.

Я выжал сцепление.

Вскоре вибрация на соседнем сиденье прекратилась, и человек поднял голову.

— Дай закурить, — голос был низкий, с хрипотцой.

Я молча протянул сигареты и зажигалку.

— Выпить не найдётся?

Если его и учили хорошим манерам, то он оказался плохим учеником.

— В бардачке.

Выхватил фляжку с коньяком и сделал несколько жадных глотков. Пока он, зажмурившись, приходил в себя, я его рассмотрел.

Пожалуй, девица. Смазанное лицо. Круги под глазами, острый вздёрнутый нос, надутые губы. Было в ней что-то жалкое и в то же время вызывающее.

Впереди прорезались высотки нового микрорайона.

— Где сбросить?

— Один чёрт.

— А точнее?

— Слушай, малый, — сказала она с нажимом, качнувшись в мою сторону, — мне до фени ваша география, мне никто не нужен в этом паршивом городе.

Я обиделся за родину и подрулил к автовокзалу.

— Приехали. Не стоит благодарностей.

— Пошёл ты... — и, подхватив рюкзак, выпрыгнула из машины.

— Эй! — крикнул я вдогонку. — Мой пуловер!

— Обойдётся!

Пока я соображал, как поступить, она вбежала в освещённое здание вокзала и смешалась с толпой.

Я выругался и, как бы она сказала, отвалил.

Вера плескалась под душем. На журнальном столике стояли две рюмки, пустая бутылка из-под финского вишнёвого ликёра и пепельница с окурками. Других следов супружеской измены я не обнаружил и, чертыхнувшись, вытянулся в кресле. Давно бы мог догадаться, но такой уж я недотёпа.

Шум воды затих, и Вера, мурлыкая, вышла из ванной. Увидела меня и отшатнулась, будто ей залепили пощёчину.

— Привет, — сказал я игриво. — Надеюсь, не помешал?

Она передёрнула плечами, что у неё означало высшую степень недовольства.

— У Галки неприятности, надо было поговорить.

Предполагалось, что это объяснение меня удовлетворит, как бывало уже не раз. Звонить Галке не имело смысла. В дамскую дружбу я не верил, но в женской солидарности не сомневался.

— Разочарован? Чего ты добиваешься?

Сейчас построит свои упрёки «свиньёй» и двинет их на меня. Я притворился глухонемым.

Вера долго расчёсывала перед зеркалом чёрные шелковистые волосы, разглаживала морщинки у глаз, смахнула непрошенную слезу.

Это было волнующее зрелище, рассчитанное на слабые нервы. Она беспомощная, но гордая, я бешеный, но

отходчивый. Примерно так и кончались все наши бесконечные ссоры.

Но сегодня это не пройдёт. Я и так получил, чего добивался, и начинать новую жизнь мне не улыбалось.

Через несколько дней позвонил Букреев, небезызвестный лауреат и весьма посредственный скульптор. Рокотом, не допускающим возражений, он пригласил нас с Верой на пикничок по экстра-случаю.

Вера словно очнулась от обморока, в котором пребывала всё последнее время, валяясь на тахте и листая французские каталоги. Она работала манекенщицей в Доме моделей и своё пристрастие к шмоткам объясняла служебным рвением. Отпуск пошёл ей на пользу: ходила в чём попало и не жеманичала. Но час пробил, и она задрапировалась в сногшибательное платье из дымчатого шифона, обвешалась серебром и сделала лицо, достойное мировых стандартов. Вера была женщиной, умеющей постоять за свои недостатки.

Отработав последний штрих с чёрным бантом, она уверенно произнесла:

— Конечно, если ты не хочешь, мы никуда не поедем.

И я поймал себя на мысли, что начинаю тихо ненавидеть её.

Вечер был душный, и мы запарились, добираясь до места. Вера обмахивалась платочком и без умолку болтала, я невпопад поддакивал. Наши отношения пришли в полный упадок.

Букреевская дача светилась, как ладанка на ладони. Она стояла в лощине, окружённая старыми липами и стилизованным частоколом. Резные ставенки и крылечко с затейливыми перильцами составляли предмет особой гордости хозяина, вечно увязавшего в деталях.

Букреев, дряхлеющий сердцеед с косматой гривой и чеканным профилем, встретил нас у калитки. Виртуозно поцеловал Вере ручку, мне с чувством пожал плечо.

— Все в сборе, — сказал он многозначительно, любуясь собой.

Стол был накрыт на веранде. В плетёных креслах и на грубо сколоченных табуретах кружком расположились гости: график Федя Николаев с женой Тamarой, театральный художник Костенко, отсиявшая звезда экрана Аля-Шурочка-Сашок, субъект из худфонда и бледная личность, как выяснилось, букреевский племянник. Демократический набор был для нас неожиданностью, так как лауреат предпочитал свадебных генералов. Последний раз я был у него в гостях прошлым летом.

Вера изобразила приятное удивление и уселась рядом с Тamarой, болезненной женщиной с фарфоровыми глазами.

— Прошу за стол, — скомандовал Букреев.

Он почему-то волновался, и его спесивое лицо ходило пятнами.

Гости шумно придвинулись к столу, и я оказался зажатым между Фeдeй Николаевым и звездой в ультрамариновом балахоне.

— Маэстро, туш! — рявкнул Букреев.

В глубине дома грянул марш Мендельсона. Все непроизвольно повернулись к двери, и оттуда выпорхнуло небесное создание с лицом падшего ангела. На кудрявой головке белел венок из полевых ромашек, а подвенечное платье пенилось вермейеровскими кружевами.

Я словно проглотил ежа. Это была моя ночная пассажирка. Она сразу уставилась на меня ярко-синим недоумённым взглядом. Всё произошло, как в сказке: Золушка попала на бал.

Невесточка протиснулась к Букрееву, свят, свят, и грациозно присела на краешек стула. Федя толкнул меня локтем и что-то пробормотал. На всякий случай я кивнул.

— Я пригласил вас, господа, — прогремел этот выживший из ума юморист, — с тем, чтобы сообщить вам приятное известие: я женюсь.

Гости задвигались, заахали, раздались восклицания: «Ну, убил, старый чёрт!» «Давай, Букреев, давно пора!» «Это розыгрыш!» «Ой, братцы, и я хочу!».

Букреев, лопааясь от произведённого эффекта, постучал ножом по графину и продолжил:

— Рекомендую: Клара. Юное театральное дарование и моя лучшая половина.

— Горько! — крикнул перепуганный племянник.

— Наш пострел везде поспел, — задумчиво сказал Федя.

Как и ты со своими поговорками, подумал я. Звезда была в трансе. До сих пор ещё никому не удавалось её удивить. Она шепнула мне на ухо:

— Я всегда говорила, что в нём что-то есть.

— Горько! — нестройно отозвались гости.

Букреев тряхнул гривой и, сложив губы сердечком, приложился к невесте. Все заплодировали и набросились на еду.

Невесточка брезгливо вытерла ладонью рот. Я почувствовал нечто, похожее на ревность, и сосредоточился на бутылке смородиновой водки. Вера изнывала, стараясь привлечь к себе внимание. Застолье набирало темп. Посыпались глупости и анекдоты.

— Отгадайте, что это, — потребовал субъект из худфонда. — Чёрная? Нет, красная. А почему белая? Потому что зелёная.

О, этот загадочный худфонд! Там разбирались в оттенках. А я знал толк в этикетках. И поднял бутылку со смородиновой.

— Какой вы догадливый, — скривился субъект.

Он, видимо, не привык, чтобы его загадки отгадывали другие.

— На всякого мудреца довольно простоты, — резонно заметил Федя.

— Не к слову будет сказано, — нашёлся Костенко, которому надоели свары в собственном театре, — готовится постановка

одноимённого произведения. О премьере будет объявлено дополнительно.

Невесточка глядела в потолок.

— Как твоя картинка, продвигается? — спросил Федя, ожесточённо двигая челюстями. Он всему отдавался со страстью. — А у меня завал. После выставки никак не очухаюсь. Сварганил пару офортов и впал в маразм. Хоть к сексологу беги.

Я не понял, почему именно к сексологу, но посочувствовал. Невесточка цедила коньяк и не сводила с меня пугающих глаз.

— Как ты думаешь, — вновь завелась Аля, — в нём действительно что-то есть или я чего-то не понимаю?

В ней говорила женская злость. Их затянувшийся роман с Букреевым стал уже притчей во языцех. И всё же она была славной бабой.

— Думаю, что тебе страшно повезло.

Аля всплеснула руками и рассыпалась мелким нервным смехом. Вдруг Вера встрепенулась, а на веранду поднялся молодой человек в светлом костюме. Он прижимал к груди букет роз и две бутылки шампанского. Букреев кинулся к нему обниматься.

— Знакомьтесь: Дурасов, писатель милостью божьей и мой заклятый друг.

Дурасов широко улыбнулся и раскланялся. У него были редкие волчьи зубы и близко посаженные глаза. Вперёд выдавался крупный костистый нос, подбородок почти отсутствовал. Казалось, его лицо было скомпоновано с помощью фоторобота.

Вера призывно махнула платочком, и писатель направился к ней. Невесточка усмехнулась.

Вновь поздравили молодых. Я понял, что влип надолго.

— Послушайте, — включилась в разговор Тамара, — мы недавно познакомились с потрясающим экстрасенсом. Он говорит, что здоровая аура бывает голубого или синего

цвета. То есть не имеет ничего общего с пресловутыми золотыми нимбами.

— Если считать, что святые лечились у экстрасенсов, — буркнул Костенко, потроша свою бородёнку.

— Между прочим, — огорчилась Аля (она была простодушна, как дитя), — я готова поверить в любую чертовщину, которая даёт ощутимые результаты.

— Кстати, об ощутимых результатах. Предлагаю выпить за любовь, — сострил Дурасов, полуобнимая Веру.

Гости заржали, а невесточка вышла из-за стола и удалилась в покои.

Веселье на минуту смолкло и с новой силой понеслось по накатанным рельсам. Трепались о филиппинской медицине, тибетских табличках, индийском храме любви, промывали косточки общим знакомым, обсуждали метеосводки и типовые проекты летнего отдыха. То и дело мелькали словечки: «престижно», «интуитивно», «сексуально». Три кита современной обывательской болтовни.

Я крепился, сколько мог, но всё-таки глянул в дверной проём. Падший ангел манил меня пальчиком. И я сваял дурака. Встал и пошёл к ней.

— Увезите меня отсюда, — взмолилась она. — Я их всех ненавижу. Жутко ненавижу.

Я погладил её по кудрявой головке. Венок валялся на полу.

— Это пройдёт.

Она поднялась на цыпочки. Её губы почти касались моего подбородка. Взять и увезти, и будь что будет. Как она сказала? «Обойдётся».

Я сделал шаг назад и столкнулся с Букреевым.

— Да это заговор! — воскликнул он, воздевая руки. — Клара, кисанька, нам без тебя скучно. Пойдём, пойдём, не капризничай, твой грозный муж требует.

Уже спускаясь с крыльца, я услышал её свистящий шёпот:

— Не трогай меня, старый пень!

Потоптавшись у веранды для отвода глаз, я потихоньку пошёл к забору, за которым выстроились в ряд машины. Стучало в висках, к горлу подкатывала тошнота. Бежать, бежать, как можно скорей и дальше.

Я вырулил на дорогу, ведущую к нашей даче, и через несколько минут был уже в безопасности. Загнав машину во двор и закрыв ворота, я вылил себе на голову ведро воды. И тут раздался резкий металлический звук — хлопнула дверца машины. Я взгляделся в темноту. Это была Клара.

С заколотившимся сердцем, словно в тумане, я двинулся к ней. Ноги не слушались, горело лицо. Я притянул её за плечи. Она закрыла глаза и подставила мне свои полудетские губы.

Я знал многих женщин и не страдал комплексом неполноценности. Но в эту ночь мне пришлось испытать ярость загнанного в ловушку зверя. Юное дарование вывернуло меня наизнанку и продолжало дразнить с жестокостью опытного дрессировщика. Ни о какой душевной близости не могло быть и речи.

Когда она поняла, что мой интерес к цирку исчерпан, я попросил её поделиться планами на будущее.

Обрадовалась, как ребёнок, которому удалось всех обвести вокруг пальца.

— Планы такие, — залепетала она. — Ты разводишься с женой и предлагаешь мне руку и сердце. Я некоторое время раздумываю и, наконец, соглашаюсь.

Чувствовалось, что это не премьеры. Спектакль прошёл обкатку и, должно быть, хорошо запомнился зрителю. Оставалось уточнить реплики.

— Видишь ли, — сказал я осторожно, — мне хотелось бы самому разобраться в моих проблемах. А за откровенность спасибо.

Она распрямилась, как сжатая пружина.

— Спасибо? На что мне твоё спасибо! На хлеб намазать или на стенку повесить? Да я несовершеннолетняя, закон на моей стороне!

Я не хотел её обидеть, но рассмеялся. За что и схлопотал оплеуху.

— О, ненавижу тебя! Больше всех ненавижу!

Спрыгнула с дивана, включила свет и вдруг зарыдала, сгибаясь пополам.

Остальное произошло, как в кошмаре. Распахнулась дверь, и в комнату с криком ворвались букреевы, дурасовы и свора озверевших вер с голыми руками. Единственная растерянная физиономия была у Феди Николаева, вцепившегося в свой галстук.

Квартиру присудили Вере. Она вовремя вспомнила о моих стариках, «роскошествующих» на двадцати квадратах. От мебели отказался сам. Детей, слава богу, не было. На машину, накатавшую триста тысяч, и дачу, плакавшую по капитальному ремонту, истица не претендовала, что также было истолковано в её пользу.

Фарс близился к развязке. Зачитали приговор. Вера на радостях прослезилась, а я сгрёб разводные бумажки и попятился к выходу.

Моросил подмётный октябрьский дождь. Меня трясло. Я пошатался по городу, отмечаясь в попутных забегаловках, и основательно нагрузился. Возвращаться к машине не имело смысла — какой из меня ездок? Поташился домой на электричке и битый час месил ногами слякоть. И простыл.

Разламывалась голова, трещали суставы. Наверное, я бредил, потому что ко мне то и дело подходила Клара, ставила на лоб ледяные компрессы, поила с ложки какой-то гадостью и поправляла сбившиеся подушки. Измученный её заботой, я плавал в поту, отчаянно пытаюсь приблизиться к берегу.

Не знаю, сколько дней длилась эта борьба со стихией. Очнулся я не на золотом песке, а в протухшей постели, обросший щетиной и окоченевший, как труп. На стуле, придвинутом к дивану, горкой лежали яблоки. Не иначе, как звёздная чертовщина.

Теперь я был готов к новой жизни, так долго рисовавшейся мне в мечтах.

Когда я оторвался от дивана, то уже не отходил от мольберта. Картина обретала чёткие линии. Круче стали контрасты, твёрже силуэт.

Я тешился избытком нахлынувших сил и выкладывался дочиста. Горечь улетучилась, и в голове прояснилось.

То, что со мною произошло, было почти подарком судьбы. До сих пор я жил, как с закрытыми глазами, и только лобовые столкновения выводили меня из лунатического состояния. Теперь я спустился на землю, вернее, грянулся с крыши. Пелена упала с глаз, и я увидел, что до меня никому нет дела.

Конечно, я это заработал. Не пакостил, не выслуживался, ни о чём не просил и никому не мешал. Оказалось, что этому грош цена. Федя испарился, сгинули друзья-приятели, за которых я обдирал кулаки. Надеяться не на кого, разве что на себя. Вот и прекрасно. Творческий стимул в чистом виде.

Вера, по слухам, вышла замуж за Дурасова и ведёт себя так, словно они ровесники. Дурасов, мозгляк из глубинки, получил столичную прописку и няньку в придачу. Букреев ещё раз продемонстрировал своё моральное превосходство и заодно избавился от маленькой сучки.

Юное дарование повисало в воздухе. Я подобрал её в районе букреевской дачи, возможно, она и звонила, подставляя Веру, и тем самым сэкономила на такси. Но зачем ей понадобилось топить незнакомого человека?

Да, я обошёл с ней не лучшим образом, но разоблачение было моментальным, едва она зажгла свет. Нет, всё заранее было подстроено. Лёгкость, с которой она впутала меня в передрагу, многое объясняла, кроме самого главного.

И всё же я не собирался вести расследование. В ноябре открывалась моя персональная выставка, и надо было спешить.

Последняя работа замыкала цикл. Я добился размашистого мазка, и предгрозовая берёзовая роща пришла в движение. Смятение надвигающейся бури отразилось в бледном пятне одинокой женщины, сидящей на траве перед расстеленной газетой с объедками дружеской пирушки. Идея одушевлённой бури пришла ко мне внезапно, и пейзаж заиграл. Сходство женщины с Кларой было условным, но разительным. Против моей воли она выглядела трагической фигурой. Ради такой находки стоило попотеть.

Отвоевав у Веры мой скудный гардероб, я облачился в лучший, то есть единственный костюм, повязал на шею удавку и отправился на выставку, как на собственные именины.

Дорогу подморозило, и колёса вихлялись из стороны в сторону, но мимо букреевской дачи я пронёсся на всех парах. С идеализмом я покончил, как мне казалось, навсегда.

Мой затрапезный вид смутил худоюзовских чиновников. Секретарь правления без всякого энтузиазма открыл пресс-конференцию. Скупыми штрихами он обрисовал моё творчество, избегая гипербол, но не чураясь метафор, и, уточнив его скромное место в отечественной сокровищнице, неопределённо высказался насчёт его дальнейшего расцвета. В конце речи он тепло поздравил всех нас с искренней любовью к искусству.

Посетителей были считанные единицы, в основном братья по цеху, их чада и домочадцы. Похлопав для приличия, они разбрелись по залу и тут же принялись обсуждать вслух свои непосредственные впечатления.

Не зная, где приткнуться, я ходил из угла в угол, являя собой удобную мишень для нездорового любопытства.

Подошёл Федя Николаев и клюнул меня в щёку.

— Прости, старик, что я вляпался в эту кашу, — не преминул он поднять архив. — Мы с Томкой прямо извелись. Но они меня уболтали, а когда засели в кустах, я выдохся.

Всё-таки засели. И всё-таки извелись.

— Не бери в голову.

— И то верно, с кем не бывает, — он хохотнул. — Было бы болото, а черти найдутся. Но без дураков, твой березняк — просто класс. Я бы, конечно, подпустил немного масла, скажем, косой луч солнца или что-то ещё... Больно мрачно, старик. Хотя впечатляет.

И поехал по перечню. Это так, а это не так, а это ни то, ни сё. Федя был законченным профессионалом.

Тамара издали бросала на меня то виноватые, то восхищённые взгляды. В дверях мелькнула сивая грива Букреева. Засвидетельствовал широту натуры.

После трёхчасового топтанья на месте я безнадежно скис. Газетчики щёлкали вспышками и задавали умные вопросы. Позировать надоело, распинаться тоже. Если бы не Аля-Шурочка-Сашок, подоспевшая мне на помощь, я бы что-нибудь отмочил.

— Привет, извращенец, — сказала она, наматывая на палец длинную нитку деревянных бус. В розовом оперенье она была похожа на тропическую птицу. — Как поживаешь? Выставка обалденная. Ты переплюнул Модильяни.

В прошлый раз она меня сравнивала с Эль Греко.

— Благодарствую.

— Дурасова не появлялась?

Только её не хватало.

— Вроде не видел.

— Говорят, она поступала в ГИТИС, но с треском провалилась. Артистами рождаются, это тебе не хвостом вилять.

— Вера способна на всё.

— При чём тут Вера? Я о сестрице Дурасова, букреевской пассии.

Чего я ещё не знал?

— Опять женихается?

— Как бы не так! Он выпер её в тот же день, после вашей хохмы. Берегись, эта особа тебе не по зубам. И братец большой стервец.

— Давно они здесь?

— Около года. У Букреева вечно пасутся всякие, и эта... — Аля скривилась, — сразу его раскусила. Остальное — дело техники. А ведь у нас всё было на мази, увы и ах.

— Могла бы предупредить по старой дружбе.

— Я принципиально ни во что не вмешиваюсь.

— Ну и умница.

Она вдруг погрустнела, и я заметил, что у неё дряблая кожа и выпцветшие глаза. Я рассмешил её и вывел на свежий воздух.

Как и следовало ожидать, выставка не произвела сенсации, но о работах спорили, и это несколько утешало.

«Березняк» и «Натюрморт с куропатками» выпросил музей очень современного искусства, а два пейзажика пошли с молотка. Я раздал долги, набрал кучу заказов, запасся дровами и забаррикадировался.

Зима выдалась суровой, мороз доходил до тридцати пяти, и вода в вёдрах, выставленных в сенях, за ночь превращалась в лёд. Я откалывал от него куски и кипятил их в чайнике, как это делают в Антарктиде. Проснувшись, бегал на лыжах, рубил дрова, ездил в деревню за продуктами. И работал, работал...

Два раза в неделю выбирался в город на лекции или пленэр (вёл класс живописи в Строгановке), по средам приезжала натурщица Татка. Этим и ограничивались мои связи с внешним миром.

Не хватало людей. Я по ним тосковал. Раньше такого за мною не водилось. Летом часто наведывался в деревню и перерисовал там всё, что мог. Поначалу на меня косились, потом привыкли и даже зазывали в гости. Мне нравились обстоятельные разговоры с деревенскими, знающими цену жизни и копейке. Я многому у них научился, в том числе собирать грибы, сушить малину, варить целебные отвары и живо интересоваться политикой.

Зимой деревня замирала, да и руки стыли на ветру, приходилось отсиживаться дома. Поэтому, когда однажды вечером постучали в дверь, я чуть не завопил от радости.

На крыльце, утопая в овчине с чужого плеча, стояла посиневшая от холода Клара. Я захлопнул дверь прямо перед её носом и тут же услышал звук упавшего тела.

Жизнь меня ничему не научила. Подхватив артистку под мышки, я заволок её в дом. Она не притворялась: в лице ни кровинки, губы крепко сжаты. Я потрепал её по щекам, и она приоткрыла глаза.

— Я на минуточку.

От её задубевших джинсов и обледенелых кроссовок поднимался пар. Она сидела на полу, раскинув ноги, как тряпичная кукла, свесив кудлатую голову. У меня сжалось сердце. Я налил ей чаю и предложил переодеться. Она кое-как поднялась и, сбросив овчину на пол, потупилась. На ней болтался мой безвременно утраченный пуловер.

— Я из больницы, — хрипло сказала, сплетая и расплетая пальцы. — Мальчик. Мёртвый. На шестом месяце.

Я умел считать.

— Не гони меня, я не доползу до станции. Ради бога. Утром уйду.

Минуточка переросла в ночь. Но не драться же с ней. Я молча достал из шкафа шерстяное бельё.

Ночью у неё подскочила температура. Я напичкал её аспирином и растёр уксусом. К утру жар спал, и взгляд её стал осмысленным.

— Спасибо, — выдавила она. — Я знала, что ты благодарный.

Я оторопел.

— Но я же выходила тебя, когда ты свалился.

Значит, не привиделась в бреду. Я через силу улыбнулся.

— Тогда мы в расчёте.

Выздоровливала она медленнее, чем мне хотелось. Прошла неделя, а температура стойко держалась. Поехать в поликлинику Клара отказалась наотрез. Я разыскал частника и за полсотни уломал его осмотреть «жену».

Увидев доктора, она чуть не забилась в истерике. Но он успокоил её, сказав, что такие вещи случаются, и назначил ей простенькие процедуры.

Прощаясь, он снял очки в золотой оправе и картинно ими помахал.

— Главное, это положительные эмоции, калорийное питание и нежное внимание.

Я взял его под локоток и нежно выпроводил. Доктор уселся в умопомрачительный бьюик, пересчитал десятки и сделал ручкой.

К прискорбью, его болтовня произвела на Клару впечатление. Она взбила кудри и обвела губы карандашом. В лице её появилось прежнее упрямое выражение.

Пока я возился с эскизами карнавальных костюмов для детей железнодорожников, Клара посвятила меня в свою безрадостную жизнь.

Отец бросил их, а мать спилась. Михляй, как она звала брата, после школы устроился на завод чернорабочим, зарабатывал негусто, и приходилось выкручиваться.

Мать без конца клянчила деньги на выпивку и допрыгалась до белой горячки. Они сдали её в дурдом и воспряли духом.

Ни с того ни с сего у Михляя открылся писательский талант, и он сошёлся накоротке с женою редактора городской газеты. И этим путём пошёл в гору.

В четырнадцать лет Клара влюбилась в школьного врача и, еле дождавшись перемены, объяснилась ему в чувствах. Тот не был сторонником щадящего метода. Запер дверь на ключ, повалил её на кушетку и быстренько объяснил, зачем он это сделал.

В девятом классе ей устроили первый аборт. Врач переловолся и перестал с ней здороваться. Клара раздобыла две упаковки мепробамата, раздарила серёжки подругам и приготовилась умирать. Но вместо этого до смерти выспалась. И серёжки пропали зря.

Потом за Кларой ухаживал механик из автопарка. Он пристрастил её к коньяку и дорогим сигаретам, а также к автопрогулкам при луне. Короче, она пошла по рукам и люто возненавидела тех, кто её охмурял, а ещё пуще тех, кого охмуряла сама.

Михляй тоже не сидел сложа руки и загребал ими всё, что мог. Роман с женой председателя исполкома имел неожиданно громкий успех, и романист, опасаясь скандала, рванул в Москву и записался в дворники. Отвоевал себе комнатку в подвале и принялся строчить фельетоны.

Клара, с грехом пополам окончив десятилетку, переехала к братцу на жительство. Можно представить, как они совмещали свои бурные биографии.

Однажды в случайной компании она познакомилась с Букреевым и, выяснив, что тот вдовец, прониклась к нему симпатией. Букреев тоже себя обожал, их интересы скрестились, и Клара зачастила на лауреатскую дачу. Сначала он обходился с нею, как с натурщицей и проходящей девкой, потом увлёкся не на шутку.

Вскоре Михляй примкнул к их тлеющему очажку и сразу оценил преимущества букреевского гостеприимства. Вместе с Верой, навещавшей соседа по даче, они уломали старого дурака сочетаться с Кларой гражданским браком, а ей предложили поставить на меня, серую лошадку. Если бы скачки увенчались успехом, выигрыш был бы поделён на троих. И Букреев с его апломбом сел бы в лужу. Клару это устраивало. Но лошадка пришла к финишу последней.

Раскинув умишком, Клара поняла, что её шансы на светлое будущее минимальны. Букреев расплевался нею в два счёта, Вера провозилась с ней дольше, так как была слаба в математике. Её хватило на две недели.

Ночуя у случайных знакомых, перебиваясь подачками, Клара носила под сердцем бомбу, предназначенную для меня, и зубрила басни и этюды. На третьем туре, именно на этюдах, она и срезалась. Друзья, сытые по горло её неудачами, упорно не открывали ей двери и не отвечали на телефонные звонки. Втеревшись в доверие к дворничихе, сменившей Михляя, Клара перекантовалась у неё до зимы. Бомба взорвалась преждевременно и чуть не убила её.

Я рассеянно слушал Клару и даже сочувствовал ей, но уважения её сломанная судьба не вызывала.

— Не собираюсь тебя учить, — сказал я, когда она, выговорившись, откинулась на подушку, — но, по-моему, ты плохо начинаешь. Возвращайся домой, поработай, а через год приезжай поступать. И откажись от дешёвых романов, они обходятся слишком дорого. Билет я тебе куплю и денег на первое время подкину.

Как это ей не понравилось...

— А ты жил в городе, где тебя знает каждая собака и где ты до мозга костей облаян и обнюхан? — ей нравились сильные выражения. — И куда я пойду работать? Я ничего не умею. И не хочу.

Что да, то да.

— Помоги мне, дай пожить у тебя до лета.

Сначала минуточка, потом ночь, а в перспективе — целая жизнь.

— Всё буду делать, стирать, готовить, я научусь, я способная. Или найди мне работу. Или убей.

Последний вариант был оптимальным, но мне он не подходил по ряду соображений.

А она тряслась, как в лихорадке, так ей было худо. В ней проснулась душа, жалкая, раздавленная, но ещё живая. У меня вспотели ладони. Я отложил эскиз.

— Оставайся. Но до первого «нет». Встанешь на дыбы — вылетишь вон.

— Да!

Я погладил её по голове и сказал что-то мягкое. Она поймала мою руку и впилась в неё сухими горячими губами.

Приступы безотчётного доверия, воинствующей наглости и самозабвенной апатии чередовались у Клары с завидной последовательностью. Её утомляла монотонность чего бы то ни было, но амплитуда моих колебаний вызывала у неё лёгкое головокружение и действовала успокаивающе.

При всём при том я зауряден в быту, как хроник, и поэтому Клара испытывала на мне всевозможные средства самолечения. Мои милые привычки: валяться в постели до полудня, разбрасывать что попало куда попало, есть по необходимости и работать по настроению — подверглись суровой критике и подлежали искоренению. Больше всего в других нас раздражают собственные недостатки. Я понимал, что ей надо было расчистить площадку для работы над собой.

Считать себя умным проще, чем быть им. На деле это выглядело так.

— У меня к тебе просьба. Купи грибы, ситчик на занавески, весёленький, коричневую тупую (?) расчёску, сковородку с пластмассовой ручкой или ухват, носки х/б от 18 до 22 размера, рыбные консервы, утюг.

О грибах: — Почему взял одну связку?

О ситце: — Ненавижу горох, так и скачет перед глазами. Я ж говорила, бери цветастый!

О расчёске: — Mamочки, где ты выискал этот конский гребень? Вижу, что коричневая, отстань! И зубья, как у пилы.

Об утюге: — А это что за фиговина? Ах, термостат... а с центрифугой не было?

— Пошла к чёрту!

Вопросы морали обсуждались с тем же успехом.

— Скажи, что тебе не нравится во мне? Ну, чтобы до помрачения.

— Твоё «хочу». Уж если тебе приспичит, ты готова на всё. Ты шагаешь по трупам.

— Я никого не убивала. Ты шутишь?

— Я выражаюсь фигурально.

— Как это?

— Клара, или ты шевелишь мозгами, или...

— Почему ты со мной обращаешься, как с недоделанной? Я серьёзно спрашиваю.

— Ты живёшь на пределах разрешающей способности. Рефлектируешь. Объясняю на пальцах: живёшь, как вздувается, без царя в голове. Не отдаёшь себе отчёта.

— А ты зануда.

— Это всё, что ты поняла?

— Нет, кое-что ещё. Как ты со своим царём умудрился прошляпить жену? Целый год тебя водили за нос, и ты это знал, знал. И молчал в тряпочку. Небось, даже обрадовался, что она такой сволочью оказалась. А о ней ты подумал? Может, она от злости, от неуверенности в тебе сорвалась? Ты же ни рыба ни мясо, а плазма какая-то!

У меня в руках клок её платья.

Она не боялась ничего, даже самоубийственных выходов.

Запихивает в рюкзачок своё тряпье, легендарный пуловер, разбитые кроссовки. На ногах пенсионерские боты — блюдём экономию.

— Можешь не искать, не пропаду! Жила без тебя и ещё проживу. Прощай, оружие!

— Скатертью дорожка.

— А тебе мочало, Жилбылцарь!

Грохот вёдер в сенах. Удар ногой в дверь. И тишина. Блаженная тишина. Словно в доме покойник.

Чуть стемнело — обратный проход. Удар ногой в дверь, грохот вёдер в сенах, явление Христа народу. Поскуливает, виляет хвостом.

— Замёрзла-а... с подножки упала-а...

На ладонках кровь с грязью.

— Умойся, чёртова кукла.

— Да, тебе хорошо... расселся, как шах в гареме...

— Давай полью.

— Э-ю-я...

Она сама выматывала себя. У неё не хватало силёнок прыгнуть выше своей головы, а нижних отметок она не признавала. И начинался великий декаданс.

Лежит лицом к стене.

— Кларка, есть будешь?

Мотает башкой.

— Ну, встряхнись. У тебя штаны лопнули, зашей.

— А!

Мол, отцепись.

— Болит что-нибудь?

Мотает башкой.

— Съезжу в деревню, за мясом.

Еду в город. Чужое бездействие невыносимо. Заглядываю в училище. Час трёпа. Ещё полтора — документальные фильмы про йогов и майя. Бывают же чудеса.

Возвращаюсь затемно. «Всё в той же позиции».

— Эй, фон Гринвальдус, есть будешь?

Мотает башкой.

— Хоть чаю выпей.

— А!

С утра смотрит в потолок. Нос заострился, в глазах тоска.

— В кино хочешь?

— М-м...

— Спеть песенку?

— Ага, — с неожиданным интересом.

— «Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс...»

Падает лицом в подушку.

— Сама спой.

— А!

Ещё через день принимается за штаны. Уколола палец. Плачет жалобно, длинно, с упоением.

— Маленькая, ну что ты? Совсем раскисла. Поехали в Пушкинский. Была там?

— М-м...

— Одевайся, в пять минут, по-солдатски.

— А-а, я бездарная, у меня бёдер нет...

— Будут. И крылышки отрастут.

— На что мне они-и... и нос кривой...

— Видела бы твой нос Сара Бернар!

— Какая Сара?

— Бернар.

— Артистка, что ли?

— Продавщица из ГУМа.

— Фу!

— Едем или нет?

— Сегодня не могу, живот болит.

— С животом-то что?

— Есть хочу.

Попробуй не тронуться умом.

У Клары, женщины с прошлым, прошлого нет. Вернее — воспоминаний, которые согревают сердце. Помню, в детстве я упал с дерева и разбил переносицу. Боль была ужасной. Мама кричала. Просто стояла надо мной и кричала. И боль притупилась. А как-то у отца целиком пропала зарплата. Мать накинулась на меня: признавайся, ты взял. Весь год я клянчил у неё деньги на масляные краски, ничего не добился и пригрозил разбоем. Она и взвилась. А отец стукнул кулаком по столу и сказал: он не мог, это мой сын. В принципе, ничего не значащие слова. Зарплата нашлась, отец по ошибке сунул её не в тот ящик комода. Обида на мать забылась, а кровное уважение к отцу осталось.

У нас была дружная семья. Ни скандалов, ни мелких ссор. Я уже заканчивал училище, когда узнал, что отец долгие годы был связан с другой женщиной, медсестрой из фронтового госпиталя. Причём узнал случайно, увидев его в похоронной процессии под руку с широкоплечим парнем, который оказался моим сводным братом Григорием. Отец плакал, как мальчишка, и я к нему подошёл. В тот день и услышал от него эту историю.

Отец ушёл на войну, когда Аньке, моей старшей сестре, исполнилось три года. Уже тогда она была понятливой и сердобольной, и отец в ней души не чаял, в каждом письме только про «золотулю» и спрашивал.

В конце сорок четвёртого его батарея форсировала Вислу и закрепилась на западном берегу. Готовилось широко-масштабное наступление за расширение плацдарма. Орудийный расчёт отца должен был выйти на стык с первым эшелонам, резко вырвавшимся вперёд.

Переброску орудий вели ночью, увязая в подмёрзшем песке. К рассвету заняли позицию и надёжно замаскировались. Поступил приказ: оторвать немецкую пехоту от танков и подпустить её как можно ближе.

Минуты тянулись, как часы, а часы растягивались на сутки. Изморозь жгла глаза. Наконец, показали «королевские

тигры». Батя насчитал их до шестидесяти. Они на ходу группировались в ударные колонны. Одна из них, в девятнадцать стволов, двигалась прямо к бабиной точке. Вот танки рассыпались цепью, и гул перерос в скрежет.

Батя установил прицел и зафиксировал угол направления снаряда. Залп, и развороченный тигр вспыхнул пламенем. Вскоре ещё три танка намертво прикипели к земле. Цепь была разорвана, первый эшелон пошёл в атаку.

И вдруг раздался чудовищный взрыв. Снаряд врезался в их орудие, и батю на несколько метров отбросило взрывной волной. Это его и спасло.

Мать билась над похоронкой, а он лежал весь в бинтах, тяжело раненный и контуженный. Тридцать шесть извлечённых осколков, полная потеря слуха и речи. Медсестричка что-то втолковывала ему, губы её шевелились, и терпеливо ждала ответа. Круглолицая девочка с глазами махаона совершила чудо: на шестые сутки у бати из ушей и носа хлынула чёрная кровь, и он услышал и заговорил.

«Героя» ему не дали. В день выписки из госпиталя торжественно вручили орден Отечественной войны 1-й степени и Благодарность Верховного Главнокомандующего. Потом были Познань, Вена и Берлин.

Вернувшись домой, батя затосковал. Всё-таки он разыскал свою Леночку. Через год родился Григорий, и Леночка уехала с ним к тётке в Ставрополь, чтобы не разбить окончательно нашу семью. В результате появился я.

Мне было семь месяцев, когда отца арестовали по обвинению в подрывной деятельности среди комсостава во время Берлинской операции. Мать отбила Леночке телеграмму, и та примчалась в Москву. Подключив к делу двух знакомых генералов, она ещё раз сделала невозможное: отца разыскали и реабилитировали. Но на это ушло восемь лет. Отец не смог их перечеркнуть. Он замкнулся, стал раздражительным. С дипломом инженера пошёл на завод слесарить и простоял у станка до самой пенсии.

Не разобрался и в любви. Разрывался на два дома, а мать тайком глотала слёзы. Но было и хорошее.

Дипломную работу я назвал «Мой отец». Солдаты возвращаются с войны. В сером проёме теплушки: лица, лица, множество лиц. Небритые, измождённые, со взглядом вспять. Сияют только ордена.

На защите Букреев, как всегда, высказался невпопад: а уместен ли здесь собирательный образ? На него зашикали и поставили мне «отлично».

Это событие мы отпраздновали узким кругом. Из родни был только Григорий. Он учился в мореходке и рассказал много интересного про свои расписанные по минутам будни. Мать всплакнула, а отец подарил ему дедушкины часы.

Григорий служил далеко на севере, и дружбы у нас не получилось. Изредка он присылал подробные письма, а в ответ ему летели мамины посылки.

Кларе нечего было вспоминать с улыбкой. Завела котёнка, да материн дружок спяну шмякнул его о притолоку. Так и мучилась с парализованным, покуда не издох.

Училась Клара плохо, потому что в кино и книжках было сплошное враньё про честность и подвиги, а в её жизни — одна взаправдашняя мерзость. Приличным детям запрещали водиться с ней, драчуньей и двоечницей.

В пятом классе она подружилась с очкариком Вовкой. Папа — кандидат наук, мама — партийный работник. После уроков Вовка провожал Клару домой, угощал английскими галетами и газировкой. Ей было смешно, потому что он носился с нею, как с писаной торбой. Родители обеспокоились и пригласили Клару на обед.

Вовкин дом был забит всякими шикарными штучками: магнитофон, стереопроектор, маски из чёрного дерева, иконы, вазы, ковры — словом, выставка народного хозяйства.

Сначала Клару вежливо попросили снять туфли и вымыть руки. За столом, как бы между прочим, заметили, что котлеты не режут ножом, а отламывают вилкой, и в соль руками не лезят. Так и сказали: «лазят». Она и брякнула, что они сами лезут ей в душу руками и шутки у них солёные. И торбочку вышвырнули за дверь.

Всё у Клары начиналось более-менее, а кончалось хуже некуда. У меня было наоборот, поэтому я надеялся, что мы сумеем переиграть судьбу.

В очередную среду пришла Татка. Рослая, румяная, жизнерадостная, она как вихрь промчалась по комнате, гремя кастрюлями, передвигая стулья и складывая разбросанные вещи. Клара, забившись в угол, молча следила за ней.

— Работать будем? — спросила Татка, когда всё встало на места.

— Обязательно.

— Может, познакомимся? — она с любопытством повернулась к Кларе. — Ты кто?

— Никто, — недобро усмехнулась та.

— А я Татьяна. По профессии фотограф, по настроению натурщица, а по необходимости боевая подруга. Илюха, подтверди.

Я рассмеялся и кивнул. Татка была своим парнем, ей ничего не надо было объяснять.

— Тогда я Клара. По профессии тунейдка, по настроению идиотка, а по необходимости пятое колесо в телеге.

— Ну и ладно, — сказала Татка. — Сейчас сварганю солянку и нарисуемся.

Вывалила из сумки продукты, побросала в казанок куски мяса, картошку, морковку, солёную капусту, всё залила сметаной и задвинула в духовку.

Так же деловито осведомилась, как ей раздеться. Я попросил до пояса. Мы заканчивали «Полдень».

На свежескошенной траве лежит мужчина, лицом вниз. Рядом сидит девушка в расстёгнутой блузке, покусывая стебелёк. В воздухе колыхнется марево. Вот и весь сюжет. Слияние и отчуждённость, два полюса отношений.

Работалось легко. Я не заметил, как стемнело. Из печи поплыл густой аромат.

— Пора обедать, — заявила Татка, взглянув на часы, и отложила книгу.

Она всегда читала во время сеансов и вообще дорожила каждой минутой.

Клара встала и пошла к печке. Грандиозный сдвиг! Мы соорудили стол и выпили за здоровье и красоту. Клара от вина покраснелась и даже разболталась. Спрашивала, как ходить на лыжах, что читать. Говорила она с непривычным для меня остроумием и доброжелательностью. Татка расчувствовалась.

Они вместе вымыли посуду. Татка надавала советов, как вести моё невозможное хозяйство, и я отвёз её к электричке.

Вечер прошёл вполне миролюбиво. Настал час отходить ко сну.

— Я не хочу, чтобы ты спал на досках, — нерешительно сказала Клара. — Ложись со мной, я не буду к тебе приставать.

— Не выдумывай, всё в порядке.

— У тебя с ней шуры-муры?

— Этим я не занимаюсь.

— Ну, у тебя с ней было?

Бедняга, она не знала, как это называется у людей.

— Было, было, давай укладываться.

— Я сразу почувствовала. Мне стало противно.

— Клара, я хочу, чтобы ты поняла: я не твоя собственность, и у меня нет никаких прав на тебя. Но мы должны шагать в ногу.

— Я понимаю, не бойся. Но мне противно. И ничего другого.

Она говорила, путаясь в словах, взбудораженно и настойчиво.

— Я не кукла — где посадишь, там и возьмёшь, я тоже человек и хочу всего человеческого.

Что-то новенькое. Задрала подбородок, шмыгнула носом и сникла.

— Поцелуй меня, а?

Я наклонился и поцеловал её в лоб. Она обхватила меня за шею и не отпускала. Я осторожно высвободился.

— И никаких дешёвых романов.

Тряхнула головой, словно сбросила паука, и скорчила очаровательную гримаску.

Татка подсуетилась и пристроила нашу тунейдку регушёром в своё ателье. Я обрадовался свободе и с головой ушёл в работу. Клара с непривычки здорово уставала и к вечеру еле волочила ноги. Но её настроение выправилось, и она уже не срывалась по пустякам.

Получив первую зарплату, она оббежала комиссиионки и заявила домой с огромным обшарпанным диваном. Довоенный монстр выглядел устрашающе. Я одобрил покупку. Диван оказался мне не по росту, и спать на нём пришлось Кларе. Она так расстроилась, что я умилился.

В среду мы с Таткой закончили фигуру девушки. Клара не путалась под ногами, я не отвлекался, поэтому всё удалось.

Довольные собой, мы разогрели гуляш, поели и поболтали. И занялись своими взрослыми делами.

Татка ушла, а я ещё часок поторчал у мольберта, прорабатывая колера.

Едва переступив порог, Клара что-то учуяла. Дым чужого огня, как известно, самый едкий и устойчивый. Швырнула сумку на пол, звякнули разбитые бутылки, присела на корточки и заревела в голос.

— Чурбан несчастный, — выдавила наконец, — ну что ты наделал, ну зачем тебе это, ну зачем...

Я смочил растворителем ветошь, вытер руки и снял с вешалки куртку. Она вскочила и вцепилась в меня, как волчонок.

— Не пущу, не смей!

Я резко вырвался, она отлетела и ударилась головой о дверной косяк. Боль отрезвила её, а меня разобрал стыд. Я ощупал ей затылок и обнаружил шишку.

— Убить тебя мало.

— Только не уходи.

Трудно сказать, было ли это любовью, но, судя по всему, чем-то очень на то похожим. Клара осунулась и побледнела. Ходила бочком, отвечала, заикаясь. Словно невзначай прикасалась ко мне и замирала. Её выходные дни стали для нас пыткой. Не спасали ни лыжные прогулки, ни вылазки в город.

Я занервничал. Запретил ей читать по ночам и курить до хрипоты. Она безропотно подчинилась.

И всё же, несмотря на душевные недомогания, Клара удивительно похорошела. В её осанке появилось достоинство, а из глаз исчезло выражение наглой скуки. При желании можно было разглядеть в ней и женские прелести. Но я не был Букреевым, и голова моя прочно сидела на шее. И нисколько мне не мешала.

В марте сошёл снег, и полились клубничные дожди. Деревья вздулись почками, а на прогретых солнцем островках земли пробилась ярко-зелёная игольчатая травка. В воздухе гудело напряжение восстанавливающихся сил.

Татка забегала всё реже, ей осточертели мои отговорки. Клара приободрилась и часами простаивала у зеркала. Осваивала косметику и маникюр, меняла причёски, разучивала походку. Джинсы и кроссовки валялись в шкафу, в ход пошли широченные юбки, пушистые кофты,

стильные платья и щегольские полусапожки на треугольных каблучках. И шарфы, шарфы: то узлом, то бантом, то взакид. Я посмеивался, но отпуская комплименты.

Особенно радоваться было нечему. Её разболтанность, как срубленное дерево, разрасталась новыми побегами. Я подозревал, что следует что-то предпринять, но у меня начисто отсутствовали бойцовские качества.

Клара продолжала заигрывать со мной, но делала это всё небрежней. Я закипал, как лёд в чайнике.

Около полудня позвонила Татка и спросила, где Клара, уж не заболела ли. У меня всё внутри оборвалось. Утром она была как на иголках: перебирала барахло, рылась в записной книжке. И загрузилась почище египетской мумии.

Вернулась поздно и, не поднимая глаз, спела трогательную песенку о встрече со старым другом. Я ей похлопал. Надулась и улеглась в постель.

— Я устала. Погаси свет. Пожалуйста.

Что же за костолом тебе попался, подумал я в бешенстве, если ты, моя неутомимая, вдруг устала. Щёлкнул выключателем и на ощупь добрался до своего одра. Подперев рукой щеку, Клара смотрела, как я раздеваюсь.

— Этого могло не быть,— сказала с упрёком.

Вполне вероятно.

— Я не монашка.

Святая правда.

— Тебя совсем не тянет ко мне?

Будь ты неладна.

— Может, попробуем жить по-людски?

— Моя дорогая! — взорвался я. — Моя драгоценная! Я не знаю, как это делается! Но если ты бросишь работу, собачья жизнь тебе гарантирована!

Уже засыпая, я услышал её бормотанье:

— Да не было ничего, что ты, как маленький.

И с отчаянием:

— Но могло быть.

Страдальческий вздох.

— Я же люблю тебя...

Скрип зубов.

— Такого болвана.

На следующий день я напился. После лекции Федя Николаев затащил к себе домой и выставил целую батарею бутылок. Тамара принимала в поликлинике токи, и мы, воспользовавшись её отсутствием, знатно постреляли. Закуска была трофейной, одолженной у соседа: ржавая килька и варенье из черники.

— За власть пить не будем, — ухмыльнулся Федя, когда мы выпили за славу и любовь. — Хотел пробить выставку модернистов, да куда там! От каждой инстанции получил по морде.

— Мало тебя манежили, вот и брыкаешься.

Феди не было с нами на Манежной площади.

— Я не спорю, старик, тебе больше досталось, но под лежащий камень вода не течёт.

— Ничего, из крана напьёшься.

— Нет, лучше водочка. Кого помянем?

— Прекрасные порывы.

Федя хмыкнул, и мы тяпнули.

— Как у тебя с деньгами? Я кругом в долгах, поневоле станешь шёлковым. Вот «Колобка» проиллюстрировал, глядишь, «Репку» доверят. Тыкаешься туда, тыкаешься сюда — везде хреново.

— Время такое.

— «Не время, а безвременье, боярин!» Во, давай выпьем за боярынь, пока нам Электра не дала по фазе.

Мы выпили, не называя имён.

К приходу Тамары у нас уже шёл дым из ушей, и мы добровольно сдали позиции. Тамара вытолкала Федю в туалет,

а меня засадила за сковородку с глазуньей. Трёхфарая шипела на меня, и я залил её вареньем. Тут вынырнул Федя, мы обнялись и поплыли по тахте, головка к головке.

— Ты случаем не знаешь,— спросила Тамара, парализуя меня взглядом,— куда подевалась Клара? Вера звонила, интересовалась, вроде бы артистка собирается родить.

— Мать, отцепись от человека,— промямлил Федя. — Быль молодцу не в укор.

— Нет, почему же, я скажу,— мне вдруг захотелось правды. — Она живёт у меня, чур, не перебивать. Работает решу... ретюшёром и этой... домо... хозяйкой. Она меня уважает. И я к ней привык. А чтобы вы не фантазировали, спим врозь. Отсюда — потомство не намечается. А Веру, если ещё позвонит, пошли от моего имени к дерматологу, пусть пропишет ей что-нибудь от зуда.

— Правильно, старик, ты настоящий боярин! Мне нравится твоё мироо... щущение. Какое симпатичное словечко: щущение... Хотя скажу по секрету, эти эмансипе, преподлейшие кон... фигу... рантки. Тамара, без рук!

Что происходит с русским языком? Откуда в нём столько невыговариваемых слов?

Я отбил лежачего друга от несознательной подруги и покинул передовую. Топая к даче от станции, в глубоком тылу противника, я плохо ориентировался на местности и вывалялся в грязи.

Домовитая хозяйка хлопотала у печки и на меня не отреагировала. Возможно, у неё заложило уши.

— Раз, два, три, проверка слуха. Здравствуй, Клара, девочка моя! Я пришёл к тебе с приветом, потому что выпил с Фетом. Ты меня осуждаешь? Я хочу, чтобы ты мне обрадовалась.

Она обернулась и ударила меня током.

— У, змей горыныч, наклюкался. И не стыдно?

— Умираю от голода и стыда. Помоги раздеться.

Она с опаской приблизилась ко мне. Я облапил её и подтолкнул к дивану.

— Попробуем по-людски?

Она с силой разжала мне руки.

— Так — не хочу.

— А как ты хочешь?

Махнула рукой и поехала к печке, двоясь и западая.

— Хоть накорми.

— Это пожалуйста.

Я глотал недожаренную картошку и пережёвывал одну и ту же мысль: моя умная глупая детка.

Под утро я ошалел от ласковых прикосновений и спросонья не понял, чего от меня хотят, а когда начал соображать, свет уже заливал комнату.

Я неисправимый путаник. Стоит мне в чём-то уверить-ся, как я принимаю прямо противоположное решение. По-красовавшись у Николаевых целомудрием, я мгновенно преисполнился отвращением ко всему, что связано с синими чулками, орлеанскими девами и проделками трепетных голубков. И теперь кусал себе локти.

Бликие отношения не должны быть однозначными. Клара до этого ещё не доросла. Она бросила все силы на отстаиванье прав, завоёванных в нечестном бою. Начались подходы издалека, прозрачные намёки на двусмысленность её положения, социальную незащищённость и т.д. (годились любые термины).

Я, конечно, отбояривался от женитьбы: то свирепел, то отшучивался, тем и другим доводя её до исступления. Но давить на меня нельзя, я всё равно сделаю по-своему, хоть потом и пожалею.

Мы с Klarой нужны были друг другу, как чёрту свечка, а богу кочерга. Как я мог отвечать за неё, если она сама не ведала, что творила? Когда-то я уступил Вере, а уж её аргументы были убедительней: взаимное желание иметь

детей, сходные амбиции. А что вышло? Надо без конца тренировать лёгкие, чтобы в один прекрасный день вздохнуть с облегчением.

И потом я устал от неурядиц. И на счастливых мужей посмотрелся. А мать, Анька, Тамара, что они поняли от брака по любви? Клара и на жертвы не способна.

Звонит с работы.

— Нам премию отвалили. Приглашаю в кабак, на твой выбор.

— «Балчуг».

— Там духотища.

— «Славянский базар».

— Всякая пьянь собирается.

— Сама выбирай.

— ЦДЛ. Там зверская солянка и филе с грибами на вертеле.

— Нас не пустят.

— А мы втёмную.

Аферистка.

— Где и во сколько?

— В семь у входа.

— Их два.

С кем-то шушукается.

— На Герцена.

— Ты не одна?

— Целую, пока.

Семь, половина, без четверти восемь... Что за чёрт? Когда мне говорят «встретимся в семь», я прихожу ровно в семь, а не восемь и не на следующий день двадцать лет спустя. Конечно, всем чего-то не хватает: времени или денег, квартиры в центре, наконец, чешского унитаза. Чаше всего шариков, как у этой чумички. Однако на нехватку ума и совести не жалуется никто.

Я уже собрался уходить, когда меня окликнул смуглый худосочный юнец с печальными бараньими глазами.

— Илья? Ну, где вы?! Я в третий раз выбегаю! Клара внизу. Петя.

Он трепетал на ветру в своём узком бархатном пиджачке. Мы спустились вниз по красным дорожкам, где находился бар, так называемая «винница». Красные столики и креслица. Стены, обтянутые тёмно-вишнёвым сукном. Этюд в багровых тонах.

В дальнем уголке жалась Клара, эдакий общипанный воробышек из парижского предместья.

— Ресторан отменятся, — поспешила она внести поправки. — Петя считает, что именно здесь вращаются знаменитости.

«Петя считает», «вращаются», боже, до чего я докатился.

Юнец ёрзал в хвосте длинной очереди у буфета, поминутно с кем-то здороваясь и лобызаясь.

— Где ты его откопала?

— Таткин хахаль.

— Взяла напрокат?

Сморщилась. Уткнулась соломинкой в стакан с бурой жидкостью. Я подошёл к стойке и вынул бумажник. Разживаться на таткиных процентах мне не по карману.

— Ах, Илья, — доверительно шепнул Петя, — у нас даже еда возведена в культ. — И, обозвав красавицу в кружевной наколке «лапочкой», зачастил: — Бутылка вермута, три яблока в тесте, шесть с паюсной, два с балыком, меня от него мутит, один эклер, три манго, пачку БТ, три кофе и улыбочку на память.

Типичный жрец. Я расплатился. Мы начали потягивать и жевать, перекидываясь в словесного дурачка.

— Смотрите, кто пришёл, — проблеял Петя.

Я обернулся и увидел писателя, чьи рассказы стоили всей текущей литературы. Он стоял на лестнице, как гранитный утёс, грудью принимая удары бурлящего половодья. Широколицый, крутоскулый, в мятом мешковатом костюме, с папирсой, крепко зажатой в зубах.

— У него больное сердце, — трагически сказал Петя, — а курит и пьёт, каналья. Преступное легкомыслие. Великие себе не принадлежат.

Я вспомнил любимую Федину поговорку: «Эгоист это тот, кто думает только о себе, вместо того, чтобы думать только обо мне». Просматривалась аналогия.

Писатель крутанулся на каблуках и грузно пошагал наверх. Клара была торжественна, как поповна перед первым причастием. Она купалась в лучах безвозмездной славы. Петя пускал слюни. А я подумал о том, с каким грохотом рушатся неприступные утёсы и как самоуверенно шуршит податливая галька.

— Илья, вы пишете стихи? — дёргался Петя. — Нет? Даже верлибры? Странно, с такою женщиной...

— Петенька, мы из другой оперы, — интересничала Клара.

Я мешал им, а они — мне. Вермут пахивал гомеопатической аптекой.

— Скоро свадьба? — не уставал Петя.

— Скоро, скоро, — резвилась Клара.

— Не забудьте позвать.

Это уже обсуждалось.

— Не уговаривай, — канючил пожилой тюлень за соседним столиком, — ты ведь знаешь, что у меня печень.

Когда-то я увлекался анималистикой, и привычка сравнивать людей с животными сохранилась.

Обрывки чужих фраз терзали слух.

— Литературный процесс — явление многомерное, охватывающее целый комплекс проблем, в том числе исторических, экономических и, не побоюсь сказать, политических. Посему необходимо рассматривать его во всех ипостасях и, не побоюсь сказать, конструктивно.

— Кларочка, сколько вам лет?

— Восемь с половиной.

— Никогда бы не дал!

— Эпос, братцы, устарел. Он паразитирует на общественных потрясениях. Даёшь катаклизму! А в благостные времена витийствует лирика, то бишь субъективизм.

— Ненавижу женские глаза. Они всегда смотрят с укором.

— Если бы не печень...

— Прелестная пастораль, но позвольте несколько утрировать. Пастушка на фоне элеватора выглядит одиозно.

— Клэр, а у вас коварная улыбка.

— Петя, вы меня обезоруживаете.

— Кругом одни жлобы. Сидят в своих кабинетах и любят Родину.

— Глянь, как увивается толстобрюхий. А бедная Наташка приросла к корыту, по три дня не чешется.

— Ну и дура.

— Прекрасный поэт. Прекрасный русский поэт.

— Тоже мне, русский Кауфман!

— Клара, ну признайтесь, он пишет стихи?

— Замолвите за меня словечко, я талантливый, а главное, благодарный.

— Да что вы заладили: пантеизм, толстовщина! Деревенская проза не обязательно про говно.

— Ладно, только не мадеру, у меня от неё изжога.

— Дядя, уйди со своей производственной темой, не видишь, у нас серьёзный разговор.

— Пошли, — сказал я Кларе. — С меня хватит.

Всю ночь мне снились тараканьи бега.

Итак, Клара уразумела, что подбить меня на брак ей не удастся, и переменила тактику. Попросила составить список: что прочесть и посмотреть. И ударилась в самообразование. Головка у неё варила.

Постепенно я проникся к ней уважением и стал сопровождать в походах по достопримечательностям. Мы съездили в Загорск, Архангельское, Ясную Поляну, обошли все музеи

и выставки, церквушки, кладбища и другие заветные уголки. Клара выкарабкивалась из невежества. Самостоятельность её оценок поражала. Она цепко схватывала суть и не пугалась противоречий. Её смущали только каноны и общепризнанные истины, тут она была провинциалкой.

— Русское искусство — забава, — вдруг ошарашивала она. — Посмотри на церкви, это ж пряники да куличи! Вся красота снаружи, а внутри одна голая вера. И Блаженный с его голубятней. И даже Кремль — цацка с молочными зубками, не зря ведь звался детинцем. Крепостью он не в бойницах, а в площадях, что вокруг него. Стоит и лыбится: подь сюда.

— А Феофан Грек? Тоже забава?

— Грек он грек. Оттого и пасмурный, что смурной.

— Не зарывайся. Сама же говоришь, что искусство от веры.

— А то нет! Не распяли б Христа на кресте, а удушили шнурком с помпончиками, все б на помпончики и молились. Верить верь, а красотой забавляй. Это с тоски, с нищеты. Убого жили.

— Рублёв, например.

— Его не трожь, он мученик.

— Художник всегда мученик.

— Ты, например.

— В какой-то степени.

— Давай я лучше помолчу, а не то наговорю тебе гадостей.

Хоть смейся, хоть плачь.

Читает «Воскресение».

— Какой паскудный этот Нехлюдов! Медуза на сковородке. Думаешь, он за Катюшу уродуется? Себя отмыкает! Пойди она за него, затюкал бы.

— Кларка, нельзя же так примитивно!словно с соседкой цапаешься. Нехлюдов душу свою спасает, спасая Катюшу.

— Вот-вот, сперва загубил, а потом спас. Да нет такой цены, чтоб от совести откупиться! И, подумаешь, какая жертва...

Ну, поныл, в тюрьге пошивался, всех-то делов. А ей до гроба спотыкаться. Все вы такие.

Никуда не денешься. Какие есть.

Любуется церковкой. Приземистая, невидная собой, не пряник, а ржаная коврига. Зато как называется: Храм Нечаянных Радостей.

— О, я верю в нечаянные радости! Идёшь и спишь, а они как повалятся с неба! Значит, кто-то думает о тебе, не спит и любит тебя всякого, самого различтожного. Это тебе ничего особенного, ты смотришь глазами, а я печёнкой.

Мне с печёнкой не подфартило, как и со слепой кишкой.

Кивает на Врубелевского демона. Поверженного.

— Он ещё полетит! Смотри, какие у него мышцы. Разозлится и полетит. Это он так, придуривается.

У меня тоже мышцы, как у владимирского тяжеловоза, да что-то не летается.

Декламирует Лермонтова:

— «По небу полуночи ангел летел...»

Синтезирует с Пушкиным:

— «И ничего во всей природе благословить он не хотел...».

Помесь ангела с демоном. Нечто знакомое.

— «И долго на свете томилась она, желанием чудным полна...»

Бледное отрешённое лицо.

— «По небу полуночи ангел летел...» Иля, я б умерла от счастья, если б, как он, по небу, вниз животом, в серебряную дзынь...

— Куда?

— Туда. Когда струну заденешь, самую тоненькую, она: дзынь, дзы-и-нь...

— Ты лучше думай о том, что читаешь.

— «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли».

Ну что ж, как острит Федя: любишь медок — люби и холодок.

Переваривает «Макбета».

— Пузыри земли, пузыри земли, что тут непонятного? Орут, копыя ломают, а сами и есть пузыри. И Букреев твой...

— Мой?

— ...пузырь пузырём, дырка от бублика.

— А я?

— А ты синяк, все цвета радуги. Слиянешь, и шрама не останется.

— Зачем ты так?

— Обиделся?

Обнимает до хруста, слёзы из глаз.

— Не верь мне, не верь, ты лучше всех, я на тебя молюсь! Сползает к ногам. Поднимаю и качаю на руках.

— Дед плачет, баба плачет...

Ещё всхлипывает, а губы уже разъезжаются в улыбке. Спорить с ней бессмысленно. Яблоко должно покислеть, чтобы созреть, ум запутаться, чтобы проясниться. Всему своё время.

Сегодня свозил своих первокурсников на пленэр. Замокворечье — это чудо. Сразу за Кремлёвской стеной, с возвышенности, открывается такой чистый простор, такой размах, что дух захватывает. Стройные колоколенки, лепные храмины и аскетические монастыри, словно нитями, скреплены с башнями Кремля и замыкают готически острый силуэт. Громоздкие вблизи арки Каменного моста издали кажутся невесомыми и парят в воздухе. Даже стилевой разноробой застройки, сглаженный яркими пятнами скверов и садов, не разрушает композиции, а, наоборот, оживляет сложный пейзаж.

Ребята в группе подобрались толковые и быстро уловили мягкость рефлексов пленэра.

Из Замоскворечья я поехал в Сивцев Вражек, к моим старикам. Мать вязала мне свитер и хотела посоветоваться насчёт узора. Женские хитрости. Ей не терпелось выяснить подробности развода и уточнить масштабы наших потерь. Старушка крепилась полгода, зная, что я терпеть не могу «нетелефонных» разговоров, а затащить меня в гости ей не удавалось.

Отец сидел за столом, обложившись вырезками из фронтовых газет и военными реликвиями. В последнее время он целиком погрузился в воспоминания и, если бы не радио и телевизор, совсем оторвался от жизни. После смерти Леночки он заметно сдал.

— Кожа и кости,— заключила мать, осмотрев меня вдоль и поперёк.

— Самые модные материалы.

— Вот заработаешь себе язву, запоёшь, дамский угодник.

Худая молва бежит. Где ты, Федя?

— Жёнка,— вмешался отец,— собери-ка на стол.

Он тревожно взглядывал на меня сквозь толстые линзы очков.

— Что хорошего?

— Всё и ничего.

Отец приподнял очки и потёр переносицу. Этим он заполнял паузы в разговоре.

— Звонит?

— Нет.

Он повертел в руках спичечный коробок. «Берегите лес!» — взывал с этикетки мордатый детина. Сначала переводят, а потом берегут.

— Чья была идея?

— Моя.

— Переживает?

— Вышла замуж.

— Ого! — отец помассировал переносицу. — Ты как?

- Нормально.
- Работается?
- Не очень.
- Образуется.
- Само собой.

Мужской разговор. Минимум слов, максимум смысла. Без телячьих эмоций.

Обедали капитально. Первое, второе, пятое, десятое. Салаты, приправы, подливки. Мать у нас дока по части кормёжки.

- Возьми ещё котлетку, пока горячая.
- Да не пичкай, куда ему столько!
- В горб, в горб, всё одно не по-людски.

Все женщины одинаковы, когда судят мужчин. По-людски это так, как им хочется.

- Научись делать котлеты. Берёшь фарш...
- Мам, не надо.

— ...лук, соль, немного перца, шматок сала, булочку вымочи в молоке, обваляешь в сухарях и вся недолга. Одежду свою забрал?

- Угу.
- А книги?
- Угу.

— Потребуй посуду. Хотя бы немецкий сервиз, что мы с отцом подарили.

- Жёнка, завари чайку, уши вянут.
- Учи, не учи, никакого толку. В одно ухо влетает...

В третье вылетает, как говорил мой начальник. Пьём чай, наспех прощаемся. Свитер подождёт, лето на носу. Отец кричит из окна:

- Я читал про твою выставку! Так держать!

Клара случайно познакомилась с режиссёром театральной студии при каком-то Доме культуры, поведала о своих злосчастьях, и он предложил ей помочь в постановке этюдов.

Клара стала пропадать по вечерам. Иногда я заезжал за ней и ревниво вглядывался в её возбуждённое лицо. Она вела себя естественно, но я ей не доверял.

Пару раз её подбрасывал домой Лев Сергеич, великодушный наставник. Что и кому он наставлял, вот в чём вопрос. Суетливо здоровался со мной, протянув руку лодочкой, игриво прощался с Klarой и молниеносно исчезал. Он был миниатюрен и по-обезьяньи вертляв. На помятом, словно не выпавшемся лице топорщились надушенные усы, а глаза сверкали, как уголья. Но Клара была в восторге от его сценического таланта, и личная тема её не волновала. Будь у меня покрепче мозги, я бы не пустил это дело на самотёк и не нарвался на скандал.

Уже в июне, перед самыми экзаменами, Лев Сергеич срочно вызвал Klarу на репетицию. Наша воскресная поездка в театр сорвалась, и меня это разозлило. Я отвёз Klarу в ДК, а сам отправился на Цветной бульвар в надежде перехватить билетик на «Серафино». Мне как раз не доставало комедийного опыта.

Задыхаясь от духоты, я сидел в переполненном зале, не в силах сосредоточиться на проделках симпатичного негодяя. К концу фильма мне уже хотелось, чтобы кого-нибудь убили. Но всё закончилось благополучно.

На улице бушевал ливень. Пробираясь к машине, я промок насквозь и, чертыхаясь, помчался в ДК. Мы столкнулись с Klarой в дверях. Её колотила дрожь.

— Вот гад, вот гад...

— Кто?

— Да этот царь зверей, гадский потрох...

— Лев?

— Запер меня в гримёрной и...

Я не дослушал, что он там с нею сделал. В три прыжка взлетел по лестнице и ворвался в гримёрную. Лев Сергеич стоял перед зеркалом и пудрил свою расцарапанную физию. Я схватил его за шиворот и сильно встряхнул.

— Прекратите! — заверещал он, отбиваясь руками и ногами. — Я сейчас вам всё объясню!

— Только мигом.

— Это недоразумение, я думал, что она ко мне равнодушна... вы порвёте мне кожанку, ну в самом деле!

Я развернулся и двинул его в прыгающую челюсть. И по авторучкам, торчащим из кармана. За недоразумение и испорченный вечер.

Сбежался дружный коллектив. Разговор о сокровенном грозил вылиться в публичную дискуссию. Я раздвинул возмущённые лица и покинул сцену. Пусть в массовках изопряются статисты.

Ехали молча. Клара искоса поглядывала на мой разбитый кулак. Трясина её сумасбродства вновь засасывала меня, и барахтаться было опасней, чем идти ко дну.

Иногда в нашем доме воцарялся покой. Клара усаживалась на диван и, обхватив колени, это была её дежурная поза, откровенничала со мной.

— А вот было у тебя так, — спрашивала с подходом, боясь показаться смешной, — входишь в чужой дом, а тебе всё знакомо, будто сто раз видал. И где стоит шкаф, знаешь, и чем угостят. И тебе не страшно, но как-то муторно. Правда, что индусы живут по многу раз?

Я не был индусом, и метаморфозы меня пугали.

— Вот встретимся в другой жизни...

— Скажешь тоже.

Вечная любовь наводила на неё тоску.

— А разве ты не прожила несколько жизней?

Быстрый взгляд из-под ресниц, неловкая улыбка. Прикидывает: шутка или подвох? Надо подыграть.

— Люди изменчивы.

Не убедил.

— Кроме безнадёжных тупиц.

Успокоилась.

— Да, но индусы...

Штрихи ложатся ровно. Машинально срисовываю драпировку, брошенную на стол. Баловство.

— Что ты любила в детстве?

— Мороженое, качели, — и, спохватившись: — Я никогда не каталась на качелях... поведи меня в парк, поведи, когда поведёшь?

— Хоть завтра.

— Ага. И мороженое мне не покупали. И платья. Я мамкино таскала, на резинке, чтоб не волочилось. Один раз запуталась в нём и как грохнусь! — и залилась смехом. — Нет, вру, было у меня платье. Белое крепдешинное, с цветочками по кокетке. Соседка сшила на майские, из чужих лоскутов, она портнихой была. Но мамка не дала надеть, сказала, что жалко, а сама продала его своей подружке. Её дочка носила, жуткая воображала.

— Давай наберём белого крепдешина. Тебе пойдёт.

— Не-а, я не люблю старые желанья. Я чуда хочу. Чтоб ахнуть и провалиться.

— Удачная мысль. Четверть первого.

Она вставала ни свет ни заря.

— Ну, ещё немножечко...

По привычке, лишь бы настоять на своём. Поёрзала, зажмурилась и прыг с дивана. Повисла на мне, свалила на пол и уселась верхом.

— Будешь командовать?

— Сдаюсь. Мир и дружба.

— То-то.

Даже покраснела от удовольствия.

Свет не погашен, а она, свернувшись клубочком, спит на моём диване.

Были и ледовые побоища. С утра недовольное лицо, роняет вилки, ножи, натывается на стулья.

— Чёртова дыра, — шипит, как разъярённая кошка. — Ни горячей воды, ни клозета, одни вонючие краски. Убери эту дрянь!

Смахивает со стола этюдник. Он точнёхонько падает в кресло. Спокойствие.

— Куда дел мой проездной?

И ещё раз спокойствие.

— О, это выше моих сил! — упрёк в адрес обуглившихся котлет. — Где тушь? Я тебя спрашиваю, где тушь?

У меня начинается дёргаться щека.

Платье в сторону, юбку под ноги. Втискивается в комбинезон. Молнию заело.

— Зар-раза!

Рывок, другой, вся в испарине. У неё слабое сердечко. Вжик! Пронесло.

— Да не стой ты, как шкаф, ищи тушь!

Запускаю в неё тряпкой. У меня тоже нервы.

— Никуда не пойду! Я не робот! Мне осточертели эти рожи!

О фотографиях. Или о коллегах. Тушь валяется под столом. Достаяю. Чирк, чирк, вверх, вниз.

— Мясо в морозилке, сам кормись. И не смотри на меня, как на гусеницу!

Дверью трах! В окне появляется встрёпанная голова. Кричит что есть силы:

— Не злись, а? Я больше не буду! Чтоб мне с места не сойти! — и нежнейшим, сладчайшим голоском: — Подкинь к станции, будь человеком...

От Аньки письмо. Живёт на краю света, в Ужуре, со своим солдафоном и тремя толстушками, которые, как матрёшки, отличаются друг от друга величиной.

Анька выскочила замуж сразу после школы и с тех пор исколесила полстраны и дослужилась до полковничихи. С мужиком ей судьба подгадила — Лёха оказался прижимистым и хамовитым. Анька, истая русская баба, волокла на себе

семейный воз и сэкономила на спичках. Мы не виделись годами — куркуль копил деньги. Я по ней скучал, мы всегда дружили, несмотря на разницу в возрасте. Анька в курсе моих безобразий. Советует не тетешкаться с Кларой, а запрячь её в оглобли, так как полезный труд очень отвлекает от вредных мыслей. Она это испытала на собственной шкуре. Я написал ей про стариков и пообещал прислушаться к советам.

Всё же Клара добилась своего. Я думал только о ней. Даже когда о ней не думал. И даже когда не думал ни о чём.

Если я был её первой любовью, то она была моею последней. Конечно, в тридцать четыре года зарекаться глупо, но я истратил на неё слишком много сил и устал на тыщу лет вперёд.

Клара успешно прошла все три тура, сдала экзамены и стала студенткой. У неё началась новая жизнь, и она отдалялась от меня с бешеной скоростью.

Наш неустойчивый быт распался вконец, отражая набег длинноволосых юнцов и волооких барышень с обкусанными ногтями. Ночные бдения выматывали нас обоих. Днём я кое-как отсыпался, вечером насиловал себя работой, но подводило освещение, дрожали руки. Как держалась она, для меня оставалось загадкой.

К зиме я уже дышал на ладан. Пришлось отказаться от халтуры, и в бюджете образовалась дыра. Клара запсиховала.

С упорством брошенного мужа я цеплялся за всё, что ещё могло привязать её ко мне. Мотался по живописным подвалам, где устраивались нелегальные спектакли, читал сценарии постановок, в которых она собиралась играть, в общежитейских комнатухах часами выслушивал споры о проблемах театра.

Клара менялась на глазах. Из её лексикона исчезли крепкие словечки, выговор выправился, а в интонациях

появился столичный изыск. Черты стали определённой, мимика богаче. Она научилась подавать себя в зависимости от того, какое впечатление хотела произвести. Наша близость обогатилась классическими штампами и новаторскими приёмами актёрского мастерства.

Надо было быть слепым, глухим и умственно отсталым, чтобы, отстегнув привязные ремни, витать в эмпиреях. Я не был ни калекой, ни идиотом, но страх потерять Клару меня парализовал. Одурев от умозаключений, я предложил ей расписаться. Вскинула брови, сложила щепоткой пальцы и потёрла ими, намекая, что всё упирается в деньги. Но не это имелось в виду.

— Заведём ребёнка, — попробовал я развить свою мысль.

— Очередной бзик?

— Я серьёзно.

— Ну и заводи. При чём тут я?

— Не догадываешься?

Она пила чай. Мелкими глотками, морща губы. Допила, оставила чашку, провела мизинцем по лбу, изображая мозговые усилия.

— Я в эту игру не играю.

Убеждать её в преимуществах брака было унижительно, и я проглотил пилюлю.

Клара готовилась ко сну. Её пунцовый пеньюар, подсвеченный языками огня из открытой топки, пылал кострами ада. Массаж головы, лица, гимнастика для шеи и рук. Слякоти, тампоны, пилочка для ногтей. Печь, забуревшая от копоти, колченогие стулья, продавленный диван, в эмалированном тазу грязная посуда. Злой небритый истопник в драном халате и она, божественная грешница, золотая монетка в груди мусора. Жилы натянулись.

— Ни слова. Брысь с дивана. Сядь сюда. Нет, влобоборта. Набрось покрывало. Локоть на стол.

Картон. Карандаш. Уголь. Она меня больше не интересовала. Линии, словно искры, вылетали из-под руки. Закончив набросок, я отшвыривал его и принимался за следующий. Клара не дышала.

Потом мы ползали на коленях по полу, отбирая лучшие эскизы, и ей передалось моё волнение.

— Что бы ни случилось, — сказала она с дрожью в голосе, — мне никто и никогда не будет дороже тебя.

О логика любви! Из всего сказанного до меня дошло одно: «что бы ни случилось».

Спустя неделю, когда работа была в полном разгаре, и я потерял покой и сон, Клара выбросила белый флаг и заговорила о ребёнке. Точнее, о том, что мешает ему появиться на свет. Обыгрывались различные аспекты материального порядка, в частности, отсутствие нормальных жилищных условий.

Я влез в долги и записался в жилищный кооператив. Клара повеселела и пригласила меня на просмотр их курсового спектакля. Предстояло убить целый вечер, и я захандрил. Хорошо, что ей было не до меня, не то бы мы снова сцепились.

Итак, я настроился на разочарование. Во-первых, первокурсники, котята, пробуящие свои неумелые коготки, замахнулись на Чехова. Во-вторых, образ Душечки никак не соответствовал характеру и темпераменту Клары. В-третьих, уже была удивительная Касаткина с её грудным голосом и обволакивающей женственностью. И потом, я просто не мог представить Клару в главной роли чего бы то ни было. Но Душечка защebetала, и развязная актёрская публика мгновенно смолкла.

В длинном коричневом платье с буфами и белым кружевным воротничком Клара была похожа на гимназистку. Волосы мягко собраны на затылке, выбиваются трогательные кудряшки. Дебютантка держалась уверенно.

Впрочем, застенчивость была ей неведома, она никогда и ни с кем не считалась. Поэтому Душечка то каменела, то бурно жестикулировала. Она хотела показать всё сразу: безволие и нервозность, раболепие и напор. Двойственность образа раздражала, тревожила, но и захватывала, заставляя задуматься над этой новой непонятной Душечкой. Я увлёкся настолько, что забыл про свои симпатии, антипатии и невропатии.

В финальной сцене, когда Душечка ходит от портрета к портрету, поправляя покосившиеся рамки и, сдувая пылинки с бумажных роз, останавливается перед зеркалом и гладит ладонью своё отражение, было столько щемящей боли, что зал взорвался аплодисментами.

Робко, как влюблённый школьник, я ждал Клару в полутёмном вестибюле под аккомпанемент громыхающих вёдер и шаркающих швабр, которым уборщицы выражали презрение к изящному.

Она вышла в обнимку с моложавым стариком в щегольской замшевой куртке. Он припадал на ногу и вообще смахивал на подбитого селезня.

— Учитель. Илья.

Мы поприветствовали друг друга.

— Какова! — с удовлетворением воскликнул учитель.

Я развёл руками, дескать, сами понимаете. Клара пошла вперёд, отказавшись участвовать в дискуссии.

— У девочки редкостный дар быть собой, — продолжал учитель. — Уж вы её, батенька, поберегите, она создана для сцены.

Конечно, не для меня.

— Драматическая актриса, с нервом, капризом. Разумеется, речь пока идёт об авансах. Голосишко ещё никудышный и пластика... кхм, ну да это поправимо. Нутром возьмёт.

Очевидно, он был когда-то актёром и умел строить монологи. Клара прервала его репликой:

— Он вам не надоел?

Они печально расцеловались, словно прощались навеки. Я вежливо пожелал всего хорошего.

— А ты язва, — усмехнулась Клара, когда мы сели в машину. — Мог бы для разнообразия слезть с пьедестала.

— Я не верблюды.

— Неужели?

— И не отвечаю за верблюжьи грехи.

— Старикан с тобой по-дружески, а ты... ладно, не будем.

— Будем. Твоя Душечка меня перевернула.

— Смеёшься?

— Горжусь.

— Я ничего не придумала, я такой её представляю.

— Тем и хороша.

— А ты не хитришь?

— С какой стати?

— Ты не считаешь меня за человека.

— Давай договоримся в последний раз: ты человек и я человек, — чуть не ляпнул по Фединой привычке: «все мы человеки». — И мы любим и уважаем друг друга.

— Это скучно.

— А что весело?

— Два барана на мосту.

— Сшибёмся?

— Ага.

— Твой ход.

— Ты заставляешь меня плясать под твою дудку. А я петь хочу. И не под дудку, а как умею. И чтобы ты не затыкал уши.

— Я не пастух и не баран, и не верблюд, и не памятник. Я это я, а ты это ты.

— Демагогика. Ты думаешь, что я тебе всем обязана, а ты свободен, как ветер.

— Мы оба свободны. И я тебе многим обязан.

— Но не всем.

— Не всем.

— Молодец, что не врёшь. Значит, мы ровня?

— Ровня. Можешь нападать.

— Так вот. Мне мало, чтоб ты меня любил и уважал. Я хочу тебя всего, со всей твоей жизнью и смертью. Всего и навсегда. Чтоб в огонь за мною пошёл, всё бросил ради меня. Ты на это способен?

— Цыганские страсти не по мне.

— Тогда мы неровня.

— Как хочешь.

— Я это говорю для тебя, я-то давно всё поняла. Ты боишься себя потерять даже в обмен на меня. Твоя любовь — сплошная нехлюдовщина.

— Мне есть что терять.

— А мне нечего?

— Ты ещё ребёнок.

— Ты пятишься, баран!

— Мне жаль тебя сталкивать в воду.

— Вот! Жаль! Это твоё уважение! Сверху вниз! А меня только равный убьёт!

— Клара, мне надоело играть в распознавание образов. Я не желаю укладываться в твою схему. Давай помолчим.

— На разных берегах!

Выпала и задохнулась.

— Ты хочешь уйти?

— Я боюсь думать об этом.

Я остановил машину, сгрёб её в охапку и грубо поцеловал. Она заплакала. Я почувствовал себя подлецом.

— Забудь, забудь всё, что я сказал... мы с тобой родные, мы почти одно целое, нам больно срастаться, надо потерпеть, слышишь?

Я ещё что-то говорил, гладил ей волосы, плечи, целовал руки. И облился холодным потом, увидев, что она спит, приоткрыв рот, словно мёртвая. Всё было ясно и так. Я её потерял.

— Давай договорим, — сказала она, едва я продрал глаза.

Утром все женщины настроены на форс-мажор. Выпрямилась в кресле, раскачиваясь в такт, собранная и воинственная, как Жанна д'Арк перед сражением. Чёрный свитер, кожаный жилет, брюки заправлены в сапоги.

— По коням! — гаркнул я.

Она вздрогнула, но тут же справилась с собой.

— Всё-таки интересно, что ты думаешь о нашей жизни.

— Умыться можно?

— Не обязательно. Почему все живут, как могут? Никто не хочет умирать. Ни друг за друга, ни за идею. Ты разве не видишь, что кругом одно жульё?

Приехали.

— Тебя как художника это не колышет?

— Что, пора на баррикады?

— Не остри. Почему нами заправляют подонки?

— Мною никто не заправляет.

— Как бы не так! Та же Вера, Букреев, Михляй, твоя продавщица, что всем из-под полы мясо гонит. А Лев? А Петрушка? Да их видимо-невидимо! Жрущих, болтающих...

— «Обагряющих руки в крови...»

— Ты хоть одному подонку сказал, что он подонок? А, сидишь в своей берлоге и лапу сосёшь.

— Извини за выражение, но где ты оторвала эту душегрейку?

— У Женьки.

— Он? Она?

— Она, она. Её женишок фарцует.

— Замечательно. Ты ему сказала, что он подонок?

— Не ходить же мне в шушуне!

— А как насчёт того, чтобы пострадать за идею?

— За идею, пожалуйста, а не за тряпку. Я-то молчать не собираюсь. Всё переверну, а правды добыюсь.

— С чего начнёшь? С молочной диеты? С братом расплюёшься? Меня в перьях вываляешь?

— Я уже начала. С Душечки. Она у меня страшная. Смотрит жалостно, как боженька, и головкой качает: ах, какая в мире несправедливость... а все мысли о том, как бы сладко поесть да мягко поспать. И, между прочим, все это поняли, кроме тебя. В институте целый тарарам.

— А в мировом масштабе?

— И до него доберусь. Нет ничего отвратней молчания. Прекрасная питательная среда для паразитов. Ладно, я глупая, но ты ведь большой...

— Дурак, ты говорила.

— Брось. Ты сам что сделал против мерзости?

— Честная работа всегда против мерзости.

— Букреев тоже работничек. Не ворует, премии получает.

— Такой же фарцовщик. С той разницей, что не тряпками спекулирует, а чужими идеями. Случается, и подворовывает у талантливых учеников. Неудачный пример.

— А Федя? Он же за всех и ни за кого. Хоть раз он тебе помог?

— Я ни в чьей помощи не нуждаюсь. Не мешали бы.

— Будут, будут мешать! И правильно сделают! Чтоб не думал, что можно одной честностью обойтись! Свою идею надо отстаивать! Всеми правдами и неправдами!

— Все средства хороши. Умница. Читай основоположников.

— И без них тошно! Но ты прав, не идея — вера нужна.

— Тогда заруби себе на носу: на болоте храмы не строят.

— На крови?

— На благодатной устойчивой почве. Желательно на возвышенности.

— Отдохни. Меня не волнует тёмное прошлое. Мне страшно за наше светлое будущее.

— Давай поговорим с тобой лет через десять.

— Я всё равно скажу то же самое, не переделаюсь.

— А зря. Кто растёт, тот меняется.

— Тебе ничего не докажешь. Ты вот кто: примиренец. А я бы всех подонков перестреляла. Поставила к стенке и тра-та-та!

— И остались бы в мире одни ангелочки. Вроде тебя.

— А ты не думай, что я от себя в восторге. Я себя сама, первая, ненавижу. Но всю дрянь из себя выскребу. А не выйдет, к той же стенке встану. Не веришь?

— Верю. Не опоздать бы тебе.

Глянула на часы, подхватила и была такова.

Несколько дней я работал без продыху. Усталость только прибавляла сил. Это была удача, я её ощущал всей кожей. Фрагмент с кухонной утварью, отсвечивающей в полумраке, живо вписался в полукруг света, отбрасываемого лампой. Предметные зоны по смыслу противоречили друг другу, хотя были выполнены в единой манере. Сиротливый мольберт с наброшенным на него полотенцем и самодовольный диван со стопкою книг. Грязная посуда и нежное лицо ангела с мольбой во взгляде. Угрюмая печь и яркие отсветы пламени из неплотно прикрытой дверцы. Раздор вещей, разбросанность мыслей, смятение чувств. Мой дом, моя работа, моя любовь. И ангел — ступок хаоса. Спасение через наказание.

Клара ходила на цыпочках, подсовывала мне бутерброды и взащей гнала незваных гостей. Независимая по характеру, она, вопреки своей женской природе, радовалась моему освобождению от неё. Она успела побывать в чужих руках игрушкой и потому любую привязанность расценивала как произвол. Ей только казалось, что она способна на человеческое.

Говорят, что у художников особый угол зрения и структурная память. Другими словами, мы почти

нормальные люди и видим, как все, но не то и не так. В этом есть доля правды. Я помню, например, в каком ракурсе стояла мать, когда я свалился с дерева; как исподлобья, глазами василиска, смотрел на нас водопроводчик, когда отец ему вместо пятёрки сунул трёшку. Могу без труда набросать план Реймского собора, в композиции которого впервые в истории западноевропейского искусства был проделан опыт почти полного преодоления горизонталей, столь характерных для Нотр Дам де Пари. Разбудите меня ночью, и я скажу, что подсводная высота этого уникама равняется тридцати восьми метрам, но кажется более значительной благодаря заострению стрельчатых нервюр. С точностью до одной сотой перечислю детали всех виденных мною образцов художественного рукоприкладства.

Но спросите у меня, в какой комнате у Николаевых стоит пианино или как была одета Вера в день нашей свадьбы, и я проглочу язык. Если вы приверженец гипотетических построений, то поверьте: мой особый угол зрения скорректирован глазом на затылке. Я вижу либо назад, либо наперёд, смотря в каком направлении работает моя голова, но уж никак не вокруг и не сию минуту.

Поэтому я блаженствовал. Мы с Klarой зашли в тупик, и наши чувства вспыхнули с удвоенной силой. До сих пор в любовных припадках мы корчились врозь. Теперь я понимаю, что это была агония любви.

Душевное потрясение явилось следствием физического удара. Как-то вечером Клара попросила научить её водить машину. Едва она села за руль, как отказали тормоза, и мы, делая головокружительные виражи, чуть не взлетели на воздух. Хорошо, что гонки по вертикали проходили на открытой местности, вдали от человеческих жертв и объектов материального ущерба, и ничто нам не помешало врубиться в первое попавшееся дерево.

Когда мы выползли из машины и вдоволь налюбовались нашими фонарями и грудой металлолома, Клара покатила по земле, захлёбываясь от рыданий и смеха. Чтобы нейтрализовать её истерику, я сделал собачью стойку и завыл на луну. Клара перестала всхлипывать и вяло заскулила. Дальше всё пошло, как по маслу.

Я забросил работу, а Клара — учёбу. В течение недели мы тем и занимались, что клялись друг другу в бессмертной любви.

— Давай устроим гарем! — вдруг загоралась она, когда я, разнеженный и усыпленный её воркованьем, вытягивался на диване.

— Какой гарем?

— Да любой! Хоть тегеранский! Ты кем хочешь быть: евнухом или шахом?

— Конечно, евнухом, всю жизнь мечтал.

— Чудненько. Когда все уснут, ты проберёшься ко мне и омоешь меня слезами. О, моя несравненная, скажешь ты, о, свет моих очей во тьме моих ночей! И так далее. Пылая страстью, мы упадём на ковры...

— Я же евнух.

— Я помню. И тут появляется шах...

— И тут наша история подходит к концу.

— Да, он тебя зарежет. Сделаем иначе.

Сидит думает.

— Вот. Ты будешь шахом, а я буду главной женой.

— Старшей.

— Старой, что ли?

— Я буду в расцвете сил.

Схватила полотенце и обмотала мне голову.

— Пой что-нибудь восточное.

Вздыхаю, ною.

Закуталась в простыню, набросала на поднос яблоки и, вихля бёдрами, засемила ко мне.

— О, сладчайший из беспримерных, не желаешь отве-  
дать плодов из райского сада?

— Я не звал тебя, женщина. Ступай на свою половину.

— Ах, так!

Лежу весь в яблоках. Как не заржать?

— Ну, Иля...

— Эй, слуги! Хватайте её! Она посягнула на тень Алла-  
ха!

Снова сидит думает.

— Да, теперь зарежут меня. Без фантазии.

Через минуту вскакивает:

— Я одалиска! Я станцую тебе танец живота! Где мои  
голубые шальвары?

Сорвала с подрамника драпировку, завязала узлом  
на боку и закружилась, и задрожала каждой впадинкой,  
каждой дужкой. И это у неё нет пластики?

— Я передумал, — шепчу пересохшими губами, — ты  
будешь моей любимой женой.

Томно потянулась.

— А куда денем одалиску?

— Зарежем.

Счастье утомительно. Нужно иметь ослиное терпение,  
чтобы изо дня в день волочиться по одной и той же дороге.

Первым спасовал я. Нашлись срочные дела. Клара вжи-  
валась в роль бесприданницы, разумеется, по Островско-  
му, и готовилась к летней сессии. Конвульсии взаимного  
внимания постепенно сошли на нет. Уже на трезвую голо-  
ву я дописал «Ангела».

И в здравом уме я любил Клару не меньше, чем в бес-  
памятстве, но для меня гимнастика чувств имеет чисто  
спортивный интерес. Я нахожу идеальным взаимодей-  
ствие позитрона с электроном, которые, соединяясь на  
какие-то доли секунды, теряют свою массу и превраща-  
ются в энергию.

Если вы хотите избавиться от женщины, приведите ей этот пример. И не забудьте добавить, что он символизирует ваше отношение к браку. Успех гарантирован, всю жизнь меня будете благодарить.

Умные учатся на чужих ошибках, дураки на собственных. Дураки стоят ближе к жизни.

Узнав, что вещь закончена, Николаевы вместе с Костенками нанесли нам официальный визит. Клара приняла их, как полагается: не торопясь, накрыла на стол, всех рассадилла, мило отшучивалась. Женщины были поражены, мужчины заинтригованы.

— Илион, — взмолился Федя, когда мы покончили с закусками и приступили к жаркому, — не томи ты нас, сердешных, покажи шедевр.

Я вопросительно посмотрел на Клару.

— Шедевры у нас подаются к десерту, — пояснила она.

Опытный партнёр умеет бить с подачи. Все рассмеялись.

— А ведь мы с вами почти коллеги, — обратился к Кларе Костенко, театральный спец. — Если хотите, могу вас познакомить... — и назвал несколько известных имён.

— Вряд ли это будет им интересно, — скромно возразила чертовка, — я только учусь. А одалживаться не хочу.

И сделала тройное сальто, опереточный приёмчик: смущённый взгляд в сторону, сверхсмущённый вниз и нагло-невинный в упор.

Костенко сконфузился и рассыпался мелким бесом. Его жена, дородная матрона с лицом гладиатора, мать четверых детей, сердито нахмурилась. Клара тут же отвлекла её вопросами о вкусной и здоровой пище. Федя изучал Клару с недоверчивым восхищением, и та воспользовалась моментом.

— А вы, Федя, — спросила сахарным голоском, — как относитесь к северным головкам под ореховым соусом?

Федя прыснул. Старый змий, он видел её насквозь.

— Положительно. А что, имеются?

— Я выражаюсь фигурально.

Камешек в мой огород.

— Жаль, севрюжек я не едал.

— Ах, Федя, а я-то думала, что вы всё на свете перепробовали.

— Бедному Кузеньке бедная и песенка.

Тамара смяла салфетку. Её глаза подёрнулись кобальтом.

— А вы, Тамара, — Клара пошла по трупам, — чем балуете бедного Кузеньку?

— Сосисками всмятку.

Такого враждебного отпора Клара не ожидала, но не растерялась. Залилась смехом, звонким, как колокольчик, показав во всём блеске свои прелестные зубки. Федя изнемогал от удовольствия.

Выручил Костенко, он был дипломатом с солидным стажем. Принялся расписывать трогательную историю: он любил её, а она его, и всё у них было великолепно. Слушали с недоумением. В конце концов он её задушил. Пронёсся облегчённый вздох. Костенко похихикал и пригласил присутствующих на премьеру «Отелло». Так с помощью стратфордского джентльмена мы вышли из хамского положения.

Хозяйка тем временем обеспечивала смену декораций. На столе появились яблоки, пирожные из кондитерской, цейлонский чай и горький кофеёк.

— Кларочка, — схитрил Федя, — больше ждать невозможно.

И снова промахнулся. Клара сделала короткий жест в мою сторону — мол, разбирайтесь сами.

Я выволок тяжеленного «Ангела» на середину комнаты и повернул лицом к гостям. Первым, как водится, ахнул Федя. И замолчал. Вот это да.

— Классический авангард, — пробормотал Костенко.

— А мне нравится, — недовольно сказала его жена.

— Илечка... — Тамара молитвенно сложила руки. — Илечка, ты гений. Уникальная вещь.

Клара в упор смотрела на Николаева. Его мнение было решающим.

— Это ты, — и нахохлился.

Потом он, конечно, не утерпел и распустил хвост. Истеричные люди слабеют при виде благодарной аудитории.

— Мазок что надо, сочный, густой. И эти пастозные замесы охры и жёнки плотно взяты. Старик, я тебя поздравляю.

Его острое птичье лицо подрагивало от возбуждения. Клара поёжилась. Кажется, он окончательно разошёлся ей.

— А как называется? — спросила Костенко.

Она была основательной дамой.

— «Ангел летел».

— Э, брат, куда загнул! — всполошился Костенко. — Да тебя похерят ещё на предварительном отборе! Придумай что-нибудь попроще.

— «Утро нашей Родины», — подсказала Клара.

— Зачем же, — всерьёз разволновался Федя, — ангел так ангел, летел так летел, но выставлять его будем под кодовым названием, например, «В мастерской художника».

— Выставим ангела... — раздумчиво протянула Клара.

— Федя прав, — виновато улыбнулась Тамара.

— Так это же ваша мастерская! — Костенко приподнялась и начала озиаться. — Как я сразу не догадалась...

— А в серёдке я, — покуражилась Клара.

— Ну да, прямо копия!

Федя гипнотизировал меня, будто спрашивал: старик, ты в порядке? Интуиция не подводила его.

Мы ещё немного посидели, но всем почему-то расхотелось болтать. Я решил, что это добрый знак.

На очередной выставке работ молодых художников «Мастерская» наделала шуму. Меня поздравил даже Букреев, лично, как он выразился. И Вера, кивком из-за плеча. Она слегка расплнела и в коротком платье походила на переростка. Дурасова я не заметил.

Аля выходила замуж и посвятила меня во все подробности своего необыкновенного счастья.

— Представляешь, — захлёбывалась она, — не муж, а находка! И готовит, и стирает, и вышивает болгарским крестом! И маман, бойкая старушонка, обожает азартные игры. Я сводила её на ипподром, так она, с ума сойти, вот, кольцо подарила. Натуральный рубин!

Я готов был её расцеловать, такая она была довольная. Но в трёх шагах от нас стоял её «болгарин», запечатанный в чесучовый костюм, и я ограничился пылким рукопожатием.

Клара ждала меня дома. Вокруг вертелись незнакомые люди. И это слава, с грустью подумал я.

Общественное признание имеет свои плюсы и минусы. К плюсам я бы отнёс премию Ленинского Комсомола (как ни странно, удостоился «Полдень» и другие работы, «наполненные глубоким лирико-философским содержанием»); поездку в Париж, где экспонировался «Ангел»; почётный заказ (Дорогой товарищ в молодые годы); месяц, проведённый в Доме творчества, и мастерская в центре города.

К минусам — то же самое. На лауреатский банкет Клара не пришла, была занята в курсовом спектакле. Во Франции я имел неосторожность пропасть на три дня. Художник Алан Бегар предложил скататься в Монте-Карло, и бдительные искусствоведы, опекавшие меня, подняли на ноги полицию. Так что в Москву я вернулся досрочно. До персонального дела не дошло, но мозги мне промыли основательно. Почётный заказ был препровождён

неограниченным числом ограничений и безоговорочных поправок. Пока я уродовался с ним в Доме творчества, Клара перебралась в общежитие. И в мастерскую пришла уже как гостя.

— Я тебе не нужна,— убеждённо сказала она, когда я бросился перед ней на колени. — Нам было слишком хорошо, чтобы могло быть лучше.

— У тебя кто-то есть? — потеряв всякую гордость, допытывался я.

— Это не имеет значения. Я люблю только тебя.

Такая дичь. Я лез на стенку, напивался вдрызг, подышал от обиды и ревности, но не делал попыток что-либо изменить.

Почётный заказ, разумеется, я провалил и затянул пояс потуже. Благо, Федя выдвинулся в художондовские секретари и не дал умереть мне с голоду.

Клара всё же появлялась, раз в месяц или в два, всегда свежая и зачарованная своей театральной жизнью. Иногда оставалась на ночь, и потом я долго приходил в себя.

Прошло несколько лет, прежде чем я смирился с её отсутствием и, крепко поразмыслив, женился на женщине без особых претензий. Что не помешало ей настоять на продаже драндулета и покупке кооперативной квартиры. Она пробовала отучить меня и от других причуд: пристрастие к определённым спектаклям, меланхолия над некоторыми набросками, телефонные разговорчики с придыханием. Но я доходчиво объяснил, где кончается её территория и что на границе стреляют без предупреждения.

У нас родились близнецы. Я был от них без ума, но пацаны росли горлодёрами, и, чтобы не свихнуться окончательно, я запирался в моей роскошной мастерской. Писалось всё трудней, несмотря на обилие красок, холстов и кое-какого опыта.

Нечаянные радости так и не посыпались. Жена всей душой прикипела к хозяйству и воспитанию детей с устойчивой психикой, а я оброс богемой. Подучился играть в шахматы и давать полезные советы.

Вскоре в мастерскую хлынули приятели приятелей, поклонники поклонниц и сподвижники моих ретивых учеников. И я снова удрал на дачу.

Знал бы кто, с какой лёгкостью я променял бы всё на мою прежнюю жизнь. С той, что снится мне каждую ночь.

Клара сменила несколько театров и покровителей и остановилась на кинематографе. Она погибла во время съёмок в горах, отказавшись от страховки, что так на неё похоже. Её изуродованное тело привезли в закрытом ящике и похоронили без затей.

Чаще всего я вспоминаю одно зимнее утро, когда мы, встав вдвоём на мои лыжи, катились с невысокой горки и Клара, размахивая шапкой, кричала за моей спиной:

— Ангел летел! Ангел летел!

Я обернулся и запомнил её навсегда.

1986 г.

# Содержание

## Рассказы

Чистая радость .....	4
Московские страсти .....	12
Русский заяц .....	16
Чики-брики .....	19
Брызги шипучки .....	24
Голова .....	30
Сиропчик .....	39
Что днесь пред нами .....	45
Свой .....	50
Гроб с музыкой .....	53
Кремень .....	55
Манюня .....	56
На сон грядущий .....	69
Он её любил .....	81
Ослиное счастье .....	83
Сказочка .....	86
Золотая рыба .....	88
Реквием по начальнику .....	92
Спящая красавица .....	95
Шутка .....	99
Семейное счастье командира Петрухина <i>(быль)</i> .....	100

Аспид.....	112
Странные люди.....	117
Урок политграмоты.....	118
В белом платье голубом.....	122
Единорог.....	127
Чёрная перчатка.....	135
Женская логика.....	139
Итак, пишу.....	141
Мишич.....	145
Октябрь.....	153
Брюхо.....	156
Профессорская дочка.....	158
Прочтите и сожгите.....	161
Куа-куа?.....	167
Пупа.....	170
Куриная печёнка.....	173
Был у меня друг.....	176
«Сказала Когелет...».....	195

### **Повести**

Дорога к мельнице.....	210
Ангел летел.....	266

*Литературно-художественное издание*

Надежда Кремнёва

## **Дорога к мельнице**

Редактор — *Александр Шерстюк*

Обложка — *Маргарита Кабанова*

Сдано в набор 05.04.2015.

Гарнитура «Greta Text Pro».

Формат 60x84/16. Бумага офсетная.

Тираж 300 экземпляров. Заказ Заказ.

Отпечатано в ООО «ИПЦ „Маска“»

Москва, Научный проезд, 20.

Тел. 8 495 510-32-98

[www.maska.su](http://www.maska.su), [info@maska.su](mailto:info@maska.su)